

В. О. ПЕЧАТНОВ

ГАМИЛЬТОН
И
ДЖЕФФЕРСОН







В.О. ПЕЧАТНОВ

*ГАМИЛЬТОН
И
ДЖЕФФЕРСОН*





ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора

5

Глава первая

МОЛОДОЙ ГАМИЛЬТОН:
ПУТЬ НАВЕРХ

7

Глава вторая

ВИРДЖИНЕЦ ПОД ЗНАМЕНЕМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

86

Глава третья

ПАРТИЯ ГАМИЛЬТОНА
В НАСТУПЛЕНИИ

155

Глава четвертая

СХВАТКА У РУЛЯ

219

Глава пятая

ТРИУМФ И ПОРАЖЕНИЕ

283

Вместо эпилога

ОТШЕЛЬНИК МОНТИЧЕЛЛО

321

Основные источники и литература

В. О. ПЕЧАТНОВ



*ГАМИЛЬТОН
И
ДЖЕФФЕРСОН*

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1984

Рецензенты:

Иванян Э. А.

Линник В. А.

П $\frac{0504030000-008}{003(01)-84}$ 50-84

Современному американцу, привыкшему смотреть на политику как на дело грязное, трудно поверить, что и в Америке когда-то были свои выдающиеся государственные деятели. После Уотергейта и других политических скандалов последних лет фигуры «отцов-основателей» американского государства кажутся просто исполинскими, а одновременное появление столь блестящей плеяды политических лидеров — явлением почти непостижимым. Страна с населением меньшим, чем в нынешней Филадельфии, смогла дать миру Вашингтона, Франклина, Джефферсона, Мэдисона, Гамильтона, Самуэля и Джона Адамсов, не считая десятков деятелей меньшего калибра.

Немудрено, что, вступив в свое третье столетие разобщенными и разочарованными, Соединенные Штаты охвачены приступом ностальгии по славному прошлому, тоски по великим именам. «Что случилось с политическим гением, основавшим Америку?» — вопрошает патриарх американских историков Генри Стил Коммейджер. «Куда девались неистощимая изобретательность и творческая сила, создавшие в течение жизни одного поколения все те великие политические институты, за счет которых мы живем до сих пор?» В попытках рассеять подобные настроения еженедельник «Тайм» тшится доказать, что и сейчас Америка полна великими, просто искать их нужно в других сферах: «Современный Гамильтон — это глава крупной корпорации, а Джефферсон — президент большого университета».

Досужие журналисты не хотят признать очевидного: устоявшаяся рутина американской политической жизни ныне бессильна породить то, что породила революционная пора слома колониального режима и создания независимого американского государства. «...Как ни мало героично буржуазное общество, — писал Карл Маркс, — для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование...» Так и американская революция — далеко не самая героическая из всех буржуазных революций, все же потребовала и взрастила своих собственных героев. Пусть многие из них, говоря словами Маркса, «сидели за конторскими столами», но это были люди недюжинных дарований, в вихре сложных событий сумевшие заложить фундамент буржуазного государства со старейшей в западном мире конституцией.

Особое место среди них принадлежит Томасу Джефферсону и Александру Гамильтону. Пожалуй, никто, за исключением Вашингтона, не сделал так много для создания и прокладывания курса американского государственного корабля, как эти двое. В то же время на заре истории США не было больших врагов, чем Джефферсон и Гамильтон, и не было вражды политически более значимой, чем эта. Становление Соединенных Штатов — когда решался вопрос о том, каким быть молодому государству, — проходило в острой политической борьбе не только между трудящимися и власть имущими, но и внутри самого класса буржуазии. История основательна, она придала ей драматическую форму столкновения двух колоритных личностей.

За каждым из них стояли могущественные силы, тянувшие юную республику в разные стороны. В этом давнем споре у колыбели страны были поставлены коренные вопросы общественного устройства: о форме и пределах государственной власти, отношениях между государством и народом, демократических свободах и правах личности, методах проведения внутренней и внешней политики, о будущем США и их месте в мире. История дала свой ответ, и развитие Соединенных Штатов в конечном счете пошло по гамильтоновскому пути, но отзвуки этого исторического спора слышны и по сей день. Борьба либерального, демократического и консервативного начал в США продолжается, и интеллектуальное наследие двух антагонистов во всевозможных толкованиях по-прежнему служит идейным оружием противоборствующих сил.

Оттого не гаснет интерес к этим двум монументальным фигурам американской истории. Ныне они канонизированы в США и стали неотъемлемой частью национальной мифологии, в которой Джефферсону традиционно отводится почетная роль «отца американской демократии», а Гамильтону, имевшему неосторожность публично нарушить не одно табу официальной демократической риторики, гораздо более скромное место «поборника представительного правления и национальной целостности», как гласит надпись на памятнике ему у здания министерства финансов США. Соответственно в Вашингтоне высится мраморная громада джефферсоновского мемориала, а лик Гамильтона украшает только десятидолларовые ассигнации. Но когда-то это были живые люди из плоти и крови, составившие цвет своего молодого поднимавшегося класса. О них — эта книга.

Глава первая

МОЛОДОЙ
ГАМИЛЬТОН:
ПУТЬ НАВЕРХ

...Жажда славы — главенствующая страсть благороднейших умов, которая заставляет человека во имя общественного блага замышлять и осуществлять огромные и многотрудные дела...

Народ, сэз, — это большой зверь.

(А. Гамильтон)

Фигура Александра Гамильтона стоит особняком в колоритной когорте «отцов-основателей».

Так было при его жизни, так осталось и в истории. Все в нем — происхождение, молодость, романтика судьбы, крайность взглядов и откровенность суждений, наконец, трагический финал его яркой и короткой жизни, оставивший ощущение нереализованных еще возможностей, — делает Гамильтона самым нетипичным из всех «отцов-основателей».

Этот ярый националист, человек континентального размаха, строго говоря, даже не был американцем, ибо родился он на крохотном островке Нэвис, относившемся в ту пору к Британской Вест-Индии, а ныне — к Вирджинским островам, протянувшимся узкой грядой в северо-восточной части Карибского моря. Расположенные в точке пересечения морских торговых путей между Европой и Америкой, наделенные благодатным климатом, эти острова давно притягивали к себе людей, по разным причинам не ужившихся в Старом Свете. Там в 1752 году и встретились Джеймс Гамильтон — непутевый отпрыск старинного шотландского дворянского рода, покинувший родной дом в Эйршире в поисках славы и приключений,

и дочь французского врача-гугенота Джона Фусэ, превратившегося на островах в состоятельного плантатора. Рашель Фусэ не повезло в жизни. Совсем юной она вышла замуж за торговца солидного достатка Джона Лэвьена и, судя по всему, не осталась безразличной к ухаживаниям своих сверстников. Степенный коммерсант терпеливо наставлял годившуюся ему в дочери жену на путь истинный, как-то раз даже довел дело до заключения ее в тюрьму за неверность, но добился лишь того, что Рашель после пяти лет семейной жизни сбежала от него и поселилась со своей матерью на острове Китс, где и познакомилась с юным шотландцем.

Молодые люди полюбили друг друга, не помышляя о церковном благословении, так как по английскому праву получить развод в Вест-Индии было практически невозможно. 11 января 1757 г. у них родился первенец Александр, а еще через несколько лет второй сын — Джеймс. Оба ребенка считались незаконнорожденными, поскольку брак родителей не был оформлен. Это впоследствии тешило врагов Гамильтона, злейший из которых — Джон Адамс за глаза называл его «выродком шотландского разносчика». Только гораздо позже, когда сошли в могилу современники Гамильтона, его почитатели и потомки попытались как-то возвысить своего кумира над сомнительными обстоятельствами его появления на свет. Возникли версии о законнорожденности, а одна легенда даже «утверждала в правах отцовства» самого Джорджа Вашингтона, который в конце 1751 — начале 1752 годов попал на Барбадос, где в то время предположительно гостила и Рашель.

Впрочем, при тогдашних нравах Вест-Индии такое положение считалось достаточно заурядным и не превращало людей в отверженных. Хуже было то, что хотя отец Гамильтона и не опустился до разносчика, удачливого авантюриста из него тоже не вышло. Неуживчивый и безвольный, он бросал одно место за другим, а семью постепенно настигала нужда. Наконец, в 1765 году он сбежал и от семьи, навсегда исчезнув в неизвестности. К тому времени Рашель с детьми обосновались на острове Сен-Круа (ныне — Санта-Крус), находившемся под датским флагом. Чтобы как-то прокормиться, она открыла мелочную лавку, торгуя продуктами и предметами домашнего обихода. Мальчики помогали, и энергичной женщине удавалось кое-как сводить концы с концами. При этом Рашель не оставляла многочисленных и безуспешных попыток устроить свою личную жизнь, не особенно считаясь с детьми. Через три года она умерла от тропической лихорадки, оставив их без гроша, так как все ее уцелевшее после уплаты долгов скудное имущество перешло по суду к единственному законному сыну Джона Лэвьена.

Характерно, что впоследствии Гамильтон никогда не рассказывал о матери; о своем же бесталанном отце-дезертире всегда говорил охотно и с большим почтением, а когда тот дал о себе знать процветавшему уже сыну — помогал ему деньгами и звал к себе в Нью-Йорк. И дело здесь вовсе не в каких-то таинственных психологических комплексах. Просто имя отца — как-никак дворянина с 400-летним генеалогическим древом — служило для безвестного пришельца своего рода пропуском в высшее общество. «Моя кровь, — с гордостью говорил он, — ничуть не хуже крови тех, кто кичится своими предками». Но болезненно-ревностное отношение к своей чести и репутации сохранилось у него на всю жизнь, равно как и мрачный взгляд на людей — ведь самые близкие из них оказались способными на предательство. Непомерное самолюбие усугубляло природное чувство обособленности и стремление к независимости. «Ты знаешь мое мнение о роде людском, — напишет тридцатилетний Гамильтон своему близкому другу, — равно как и мое твердое намерение оберегать себя от привязанности и сохранять свое счастье независимым от капризов других».

После смерти матери дети перешли на попечение ее брата, который, однако, тоже недолго прожил на этом свете, успев лишь пристроить племянников в ученики: сметливого Александра в торговый дом Крюгера, а Джеймса — к плотнику.

Нелегким был жизненный старт Александра Гамильтона. Уже с 11 лет он мог полагаться только на себя, на собственные силы и способности. В том, что они у него были, не сомневался никто, в том числе и он сам: мальчик далеко превосходил своих сверстников умом и расторопностью. Но как примирить рано проснувшееся честолюбие с жалкими условиями существования? Сохранилось письмо четырнадцатилетнего Гамильтона своему другу Эдварду Стивенсу, сыну торговца, отправившемуся на учебу в колонию: «...Честолюбие заставляет меня презирать то пресмыкательское положение клерка или чего-нибудь в этом же духе, на которое обрекла меня судьба. Я охотно рискнул бы жизнью, но не убеждениями, чтобы вознести себя. ...Может показаться, что я строю воздушные замки; стыжусь своего безрассудства, Нэдд, но мы знаем, что все планы удаются, если в них верить. В заключение скажу, что мечтаю о войне». Его кумиром в те годы был английский генерал Джеймс Вольф, в 34 года сложивший голову во славу Британской империи. Мечты о военных подвигах не покидали Гамильтона всю жизнь.

Ближайшее будущее не сулило чудесных поворотов судьбы; оставалось ждать, надеяться и использовать имеющиеся возможности. В детские годы Александр не смог получить

сколько-нибудь упорядоченного образования, лишь урывками занимался с домашним учителем. Подлинной же школой для него стала контора Николаса Крюгера.

Торговля была осью, вокруг которой вращалась вся жизнь Вест-Индии, а Крюгер — одним из крупнейших торговцев на Сен-Круа. Смелый и предприимчивый, выходец из богатого купеческого рода Крюгеров в Нью-Йорке, Николас Крюгер вел дела по обе стороны Атлантики. Его капитаны везли в Европу неочищенный тростниковый сахар, ром, патоку; а оттуда в Вест-Индию и колонии — все необходимые фабричные товары, промышляли контрабандой, не брезговали и каперством.

Гамильтон быстро нашел свое место в этом отлаженном механизме. Не по годам толковый и усердный конторщик, схватывающий на лету тонкости сложного коммерческого дела, понравился хозяину. К 1771 году он был уже, по всей видимости, старшим клерком: вел учет, оформлял деловые документы, поддерживал связь с капитанами кораблей и партнерами фирмы. Как-то Крюгер заболел и отправился на лечение в Нью-Йорк, передав дела своему 14-летнему помощнику. В течение трех месяцев паренек управлял фирмой не хуже матерого коммерсанта: продавал и покупал партии товаров, рассылал суда, проводил рискованные операции, о чем регулярно отчитывался в письмах хозяину. Удивляют доскональное знание предмета и уверенный тон распоряжений юного управляющего. Вот он задумал доставить контрабандным путем в обход испанской береговой охраны партию мулов из Венесуэлы для местных плантаторов и инструктирует капитана судна: «...Прошу вас быть очень осмотрительным в выборе мулов и взять на борт максимальное их количество; непременно запасите побольше фуража. Помните, что вы должны сделать три рейса за сезон и если не будете достаточно усердны, то не успеете, так как урожай нынче ранний. Позаботьтесь, — предупреждает безусый управляющий бывалого морского волка, — о том, чтобы разминуться с береговой охраной». Капитан исполнил все, но морской вояж пришелся явно не по нутру бедным животным. «Третьего дня, — с пригорбией докладывал хозяину Гамильтон, — капитан Ньютон доставил 41 мула в таком состоянии, что я был вынужден сразу отправить их на пастбище, тем не менее треть наверняка сохнет». Следующий рейс прошел более удачно, и юный коммерсанта остался с прибылью.

Служба у Крюгера стала хорошей школой для Гамильтона. Она рано освободила его от праздномыслия, поставив на твердую почву цифр и фактов, приучила к усердной, целенаправленной деятельности, помогла познакомиться с финансами и торговлей, а главное — укрепила способность само-

стоятельного мышления и принятия ответственных решений.

Однако отнюдь не только мулы и бухгалтерия интересовали этого хрупкого на вид клерка, чьи ноги не доставали пола, когда он сидел за своей конторкой. Мысль его рвалась далеко за пределы богом забытого городка Кристианстеда с тремя тысячами жителей, большую часть которых составляли цветные рабы. При этом Александр не был просто драйзеровским Каупервудом, бредившим одними финансовыми проектами. В редкие часы досуга он много читает, пишет сентиментальные стихи о неведомой капризной прелестнице, залитых солнцем лужайках и даже печатает их в местной газете. Но все больше им овладевает вовсе несвойственная его возрасту страсть к политике. Глубоко за полночь он засиживается над увесистыми фолиантами; Макиавелли и Гоббс становятся его любимцами. Удивительна не только рано выявившаяся определенность интересов Гамильтона, но и сама направленность его взглядов. Уже в апреле 1771 года в местной «Королевской датско-американской газете» появляется анонимная статья «Правила для государственных деятелей», в авторстве которой никто, конечно, не догадался заподозрить конторщика от Крюгеров. В подражание Макиавелли автор поучает — власть должна быть твердой. Он хвалит британскую систему правления, возвышающую премьер-министра, «наподобие главнокомандующего», считает это «мудрым установлением, полезным для обуздания народа, чья непокорность временами... требует диктатора». Откуда этот дух преклонения перед сильной властью у 14-летнего клерка? Эти слова можно было бы счесть наивной бравадой юнца, плодом незрелого подражания — если не знать, что Гамильтон навсегда остался верен духу своего первого политического эссе.

Как ни преуспевал Гамильтон в конторе Крюгера, это преуспевание казалось ему улиточьим продвижением к успеху, а честолюбивый юноша, почувствовавший «зов судьбы», стремился выйти на широкие жизненные просторы. Вырваться из тесного мирка Сен-Круа ему помог... шторм. Шторм необычной силы, налетевший на острова в августе 1772 года и унесший тридцать человеческих жизней, «вынес Гамильтона в историю», пишет его биограф Г. Атертон. Очевидец катастрофы, Гамильтон в романтически взволнованной манере описал происшедшее и послал свое произведение в газету. Очерк был вскоре опубликован и произвел большое впечатление на островитян, еще не оправившихся от ужасов пережитого. Имя автора попало на глаза местным богатым, и, по инициативе городского священника Хью Нокса, в течение некоторого времени покровительствовавшего литературным опытам Гамильтона, они вызвались помочь молодому дарованию. При

активном участии Крюгера был организован сбор средств для продолжения его обучения. Нельзя сказать, чтобы меценаты действовали исключительно из благотворительных целей. Городу нужен был врач, и они рассчитывали, что после окончания учебы Гамильтон вернется домой.

Осенью 1772 года он навсегда покинул родной остров. Путь его лежал в Нью-Йорк. Впереди, за тысячемильной полосой моря, простирался континент необозримых просторов и возможностей. Фигура, ставшая типичной в XVIII веке, когда зашаталась вековая устои общественной жизни: юный честолюбец, без связей и состояния, бросающий вызов враждебному миру и завоевывающий свое место под солнцем. Через десять лет с другого острова на другой континент отправится другой безвестный юноша, чтобы вскоре потрясти весь мир...



В 1772 году Нью-Йорк был третьим по величине городом колоний: на занимаемой им прибрежной кромке острова Манхэттен площадью чуть больше квадратной мили проживало около 20 тысяч человек. Его большей частью небогатые улицы были грязны и кривы, не хватало питьевой воды, часто вспыхивали эпидемии. Филадельфия и Бостон были больше, чище и цивилизованней. Но 15-летнему провинциалу Нью-Йорк, должно быть, казался столицей мира.

Жизнь здесь была ключом, но Гамильтон понимал, что одного желанья преуспеть недостаточно, нужно еще многому научиться. Самой ценной частью его скромного багажа были рекомендательные письма партнерам Крюгеров, состоятельному юристу Э. Бодино и губернатору Нью-Джерси У. Ливингстону — товарищам Х. Нокса по Принстонскому колледжу. Все они приняли участие в судьбе Гамильтона и, посоветовавшись, направили его в школу города Елизабеттауна (Нью-Джерси) для подготовки в колледж. Там он изучал математику, географию, древние языки, литературу, рьяно наверстывая упущенное.

Врожденные обаяние и благородство открывали перед Гамильтоном многие двери. Его приветил Уильям Ливингстон из влиятельнейшего нью-йоркского клана крупных землевладельцев, который и ввел Гамильтона в круг друзей дома; то были солидные молодые люди из лучших семей центральных колоний: У. Александер — будущий генерал, Дж. Джей, Д. Дюан и др. Все они впоследствии заняли видное место в его жизни.

В колониях назревали большие события, но в «добропорядочном» консервативном обществе Елизабеттауна, стояв-

шего в стороне от политических страстей больших городов, все было сравнительно спокойно: его члены верили в мудрость и благосклонность короны и надеялись, что смутным временам скоро придет конец.

После года напряженной учебы Гамильтон подал документы в лучший тогда Принстонский колледж, но тамошние опекуны не согласились с требованием абитуриента принять его сразу на старший курс. Пришлось искать заведение поговорчивей — таковым оказался Королевский колледж Нью-Йорка (позднее переименованный из патриотических соображений в Колумбийский), который принял Гамильтона на его условиях.

В колледже он много и усердно работал; именно там был заложен фундамент его основательного образования. Среди настольных книг Гамильтона — классические сочинения Горация, Локка, Монтескье, Юма, Блэкстоуна, Пуффендорфа. Он верховодил в студенческом ораторском клубе, много писал в газету колледжа. Всеобщим увлечением быстро становилась политика, и на традиционных студенческих диспутах все чаще раздавались тирады о тирании парламента и неотъемлемых правах колоний. Хотя президент колледжа доктор Купер строго придерживался проанглийского направления, ветры времени проникали и сквозь толстые стены Королевского колледжа. В двух шагах от него находились так называемые «поля», где у «столба свободы» собирались толпы горожан и звучали зажигательные речи.

В нью-йоркском обществе, как в зеркале, отражалась общая расстановка политических сил в ходе освободительной борьбы колоний.

Важный торговый и промышленный центр Нью-Йорк отличался от крупных городов колоний большей степенью социального и имущественного неравенства. На одном полюсе — консервативная элита, состоящая из нескольких сплетенных родственными узами семейных кланов — Ливингстонов, Скайлеров, Ранселяров, Ван Шааков и захватившая в свои руки львиную долю торговли и землевладения провинции. На другом — городская беднота: наемные рабочие, ремесленники, матросы, практически лишенные экономических и политических прав. Это резкое расслоение и в прошлом порождало острые классовые столкновения, начало же открытой борьбы колоний с метрополией еще больше стимулировало активность низов.

Уже в 1765 году в Нью-Йорке, как и в других городах колоний, было создано нелегальное общество «Сыны свободы», которое стало организатором всей кампании по бойкоту импорта английских товаров, развернутой в ответ на закон о гербовом сборе. Возглавляемые радикально настроен-

ными мелкими торговцами, нью-йоркские «Сыны свободы» выступали не только за наиболее энергичные методы сопротивления имперской политике, но и требовали больших политических прав для себя, угрожая власти местной элиты. Грозные народные выступления осени 1765 года в Бостоне и Нью-Йорке с их насильственными действиями: разрушением собственности английских чиновников и сотрудничавших с ними местных богатеев, — вышли за рамки чисто антиколониального протеста, вызвав тревогу лидеров буржуазии. Вспыхнувшая освободительная борьба поставила их перед серьезной проблемой: как отстоять руками народа свои экономические и политические привилегии от посягательств короны извне и в то же время уберечь их от напора разбухших народных масс изнутри?

После отмены в 1771 году закона о гербовом сборе и законов Тауншенда о введении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых колониями из Англии, в портовых городах установилось временное затишье. «Все состоятельные люди, — докладывал в Лондон вице-губернатор Нью-Йорка У. Колден, — слишком хорошо сознают опасность бунтов и волнений, чтобы бросаться в комбинации, которые могут привести к беспорядкам в будущем». Но местные радикалы не теряли времени даром. По инициативе Самуэля Адамса из Бостона с конца 1772 года в городах начали создаваться «комитеты связи» — зародыши органов революционной власти, которые к 1774 году наладили связь между всеми колониями. Однако в Лондоне не желали отказываться от курса на установление более жесткого контроля над экономикой колоний. В мае 1773 года был принят злополучный «чайный закон», разрешавший английской Ост-Индской компании прямой беспошлинный экспорт чая в колонии.

Поскольку чай являлся тем единственным товаром, на ввоз которого после отмены законов Тауншенда был сохранен английский налог, закон этот не только ударил по карманам американских торговцев чаем и контрабандистов, но и создал опасный прецедент узаконивания налогообложения колоний и угрозу распространения торговой монополии Англии на другие виды товаров. Таким образом, сословная солидарность торговцев была разбужена. Радикалы тоже не преминули воспользоваться обстановкой: операция бостонских «Сынов свободы» по уничтожению первой партии чая в декабре 1773 года, вошедшая в историю под названием «бостонского чаепития», всколыхнула все колонии. Правительство Норта ответило огнем. В марте 1774 года были приняты так называемые «нестерпимые законы»: порт Бостона блокирован, в городе размещены войска, Массачусетс фактически лишен

самоуправления. Самый «нестерпимый» квебекский акт присоединял к Британской Канаде земли северо-западнее Аллеган и запрещал колонистам всякую хозяйственную деятельность в этом огромном районе. То была последняя капля, переполнившая чашу терпения американцев.

В Нью-Йорке «Сыны свободы» и возглавляемый их лидерами Исааком Сайером и Александром Макдугаллом «комитет связи» вопреки предостережениям консерваторов постановили не допустить разгрузки кораблей с чаем, идущих к Нью-Йорку, и объявили всех, кто участвовал в продаже мерзостного напитка, «врагами родины». В апреле 1774 года два английских судна с чаем подошли к городу. Капитан одного из них, получив тревожную записку от губернатора, благоразумно повернул назад. Но второй попытался провести бдительных нью-йоркцев, за что был едва не растерзан толпой в порту, а дорогой груз отправился на дно. Так 22 апреля произошло «нью-йоркское чаепитие». «Сыны свободы» праздновали победу, а радость местных богачей вновь была отравлена зрелищем народного самоуправления. Тем не менее они не собирались уступать черни политического лидерства. Нью-йоркская буржуазия, тесно связанная деловыми узами с метрополией, породила много ярых лоялистов — противников разрыва с Англией. Но нашлись и там более здравомыслящие деятели.

13 мая 1774 г. из воспаленного нерва колоний — оккупированного Бостона в Нью-Йорк пришло послание с просьбой о помощи и призывом прервать все торговые отношения с Англией. На митинг, созванный по этому поводу 19 мая, явились представители не только радикальных организаций — «Сынов свободы» и организованного накануне «Общества ремесленников», но и умеренного буржуазного крыла торговцев и юристов во главе с Джоном Джеем и Джеймсом Дюаном. Следуя принципу «не можешь одолеть — присоединяйся», они вознамерились оседлать стремительно нарастающую волну антиколониального протеста. В острой борьбе этих группировок родился новый «комитет связи» — «комитет 51», в котором умеренные имели 27 голосов.

Смысл возросшей активности Джея и его сторонников не укрылся ни от одной из сторон. «Богатые и изобретательные люди, — предупреждал автор одного демократического памфлета, — в последнее время проползают в комитеты, произнося праведные речи и присоединяясь к нашему делу, дабы не дать ему развиваться слишком быстро и опасно... Они скоро подчинят вас тирании Британии или своей собственной, немногим лучшей». А вот как выглядела та же картина глазами другого очевидца — богатого нью-йоркского землевладельца и

юриста Гавернира Морриса, который присутствовал на митинге 19 мая: «Справа от меня выстроились состоятельные люди; слева — ремесленники и им подобные, которые считают себя вправе бросать свою ежедневную работу во имя блага страны... Чернь начинает думать и размышлять. Бедные рептилии! Для них наступило весеннее утро; они стремятся сбросить свою зимнюю шкуру, нежатся на солнышке, а к полудню начнут кусаться. Обуздать их невозможно». «Но хитрость иногда сильнее силы, — раскрывает Моррис предысторию создания «комитета 51», — и для того, чтобы хорошенько надуть их, избирается комитет патрициев, которому вручается мандат на величайшее доверие его величества народа... Они будут обманывать народ, терять его доверие. И если эти случаи политиканства, с одной стороны, и вероломства, с другой — будут учащаться, тогда прощай, аристократия! Я предвижу со страхом и трепетом, что если наши ссоры с Британией будут продолжаться, мы окажемся под самым худшим из всех владычеств — владычеством мятежной черни. Поэтому в наших общих интересах стремиться к воссоединению с родительским государством».

Иронизирующий над ударившимися в демагогию собратьями, Моррис скоро и сам присоединится к ним и впоследствии станет одним из «отцов-основателей», но пока и умеренные не помышляли о разрыве с «родительским государством». Новый комитет, доносил в Лондон вице-губернатор Нью-Йорка, составлен из «наиболее здравомыслящих торговцев и разумных людей, которые будут стремиться избегать крайних мер».

В ответ на призыв бостонцев «здравомыслящие люди» в Нью-Йорке развели руками, предоставив право принятия решения намечавшемуся съезду представителей колоний. Но первый континентальный конгресс, собравшийся в сентябре 1774 года в Филадельфии, не оправдал их надежд. Поддержанный Джеймсом и Дюаном план Галлоуэя о восстановлении союза с Англией был провален, хотя и минимальным большинством. Под давлением решительно настроенных народных масс большинство делегатов потребовало отмены всех репрессивных законов и учредило ассоциацию для осуществления полного бойкота торговли с Англией. И хотя в заключение была принята верноподданническая петиция королю, решения конгресса фактически поставили противников решительных мер вне закона. В стремившемся надвигающемся конфликте брод все сужался, лагерь буржуазии расслаивался на вигов и тори: первые были вынуждены смыкаться с радикальными силами, вторые вставали на позиции открытой борьбы с патриотами. Так расходились пути вчерашних друзей, единомышленников, а порой — и близких родственников.

Какую же роль в этой стремительно разыгравшейся драме событий играл юный Гамильтон? С самого начала он проявил себя убежденным вигом. По преданию, уже 6 июля 1774 г. он произнес свою первую горячую речь на митинге «Сынов свободы». Бесспорных доказательств тому не сохранилось, но этот эпизод вполне согласуется с дальнейшим поведением Гамильтона. Не прекращая занятий в колледже, он с жаром бросается в памфлетную войну, которая велась тогда в колониях. Юный студент ввязался в схватку с одним из самых искушенных идеологов из лагеря тори — английским священником Самуэлем Сибири, оспаривавшим решения первого континентального конгресса. В конце 1774 — начале 1775 годов он публикует два больших памфлета — «Полное оправдание мер конгресса» и «Опровержение Фермера» (под маской «Фермера» скрывался Сибири).

В этих первых значительных выступлениях Гамильтона уже проглядывают те мастерство аргументации и дар убеждения, которые впоследствии превратили его в одного из лучших полемистов своего времени. Он свободно пользуется естественноправовой теорией и толкованием английских законов для доказательства правомочности борьбы колоний за свои права; выступает за решительный торговый бойкот Англии как единственное средство, кроме войны, способное вынудить ее к отступлению: «безотлагательность ситуации требует решительных и надежных мер». Подобно другим идеологам виков, Гамильтон еще не помышляет о независимости, считая идеальным исходом воссоединение с короной на основе восстановления прав и привилегий колоний. Все эти рассуждения опираются на доводы, уже разработанные к тому времени в работах ведущих идеологов колоний, — «Обзоре прав британской Америки» Т. Джефферсона, «Рассуждении о власти парламента» Дж. Вильсона, «Массачусетских письмах» Дж. Адамса. Более оригинален гамильтоновский анализ соотношения сил двух сторон.

С цифрами в руках он доказывает, что главная сила колоний — в уже достигнутой степени экономической самостоятельности, а также в огромных потенциальных ресурсах для будущего развития. Даже полное прекращение торговли с Англией в результате обострения отношений не пугает его. «Мы можем прожить и вовсе без торговли. Одеждой и продовольствием мы обеспечены, климатические условия дают нам хлопок, шерсть, лен, коноплю... Руки, освободившиеся в результате прекращения торговли, могут быть заняты в различных отраслях промышленности и других внутренних усовершенствованиях». Больше того, вынужденная экономическая изоляция может стать благом: «Если в случае необходи-

мости у нас образуется и укрепится фабричное производство, то оно проложит путь к еще большей славе и величию Америки и, сокращая потребность во внешней торговле, сделает страну менее уязвимой для посягательств тирании». Уже тогда Гамильтон связывал грядущее величие Америки с индустриальным развитием.

Даже если Англия рискнет пойти на большую войну, то и в этом случае все преимущества будут на стороне колоний: удаленность метрополии, обширность театра военных действий, способность колоний выставить численно превосходящую армию, которая, избегая решительных сражений, измотает английские войска. Что касается ресурсов для обеспечения армии, то «мы обладаем ими в избытке». К тому же автор предвидит и большие внешнеполитические возможности, связанные с использованием против Англии ее соперников в Европе: «Франция, Испания и Голландия найдут способы снабдить нас всем необходимым».

Восемнадцатилетний Гамильтон лучше многих своих старших собратьев по перу видит разгорающийся конфликт в его материальном измерении, никогда не забывая о том, что в войнах и революциях побеждают не только идеи, но и финансы, дипломатия, снабжение. В этих его первых работах еще встречаются пылкие риторические восклицания о «священных правах человечества», «начертанных, как солнечным лучом, рукой всевышнего в книге человеческой природы», но это уже островки в море хладнокровного анализа, порой граничащего с откровенным цинизмом. Приведя афоризм Юма о том, что в каждом человеке должно подразумевать подлеца, он распространяет эту формулу и на поведение государств. Когда Сибири напоминает о жертвах метрополии и призывает учесть ее интересы, Гамильтон, в отличие от большинства памфлетистов колоний, не вдаётся в рассуждения о степени добродетельности обеих сторон, а апеллирует к их естественному эгоизму. «Гуманность не требует от нас жертвовать своей безопасностью и благополучием для удобства или интересов других. Самосохранение — вот главный закон человеческой природы. Когда на карту поставлены наши жизни и собственность, было бы глупо и неестественно воздерживаться от мер, способных сохранить их, только по той причине, что они могут причинить ущерб другим». Таков был неподдельный голос молодой американской буржуазии, кровно задетой притязаниями короны на свой карман.

Памфлеты Гамильтона, включая и третий, направленный против квебекского акта, получили значительный резонанс в колониях. Имя его стало известно лидерам вигистской буржуазии. «Надеюсь, что мистер Гамильтон продолжит свою дея-

тельность», — писал после публикации первого памфлета Джей.

Почему же, в отличие от Джея и ему подобных, которых революция влекла за собой помимо их желания, Гамильтон сам пришел к ней? Его консервативные проанглийские убеждения, окружение в Елизабеттауне и Нью-Йорке, из которого вышло много лоялистов, — все, казалось, было против этого. Сам Гамильтон позднее объяснил, что отказался от своих «крепких лоялистских предрассудков» ввиду «превосходящей силы аргументов в пользу американских требований». Самый основательный из современных американских биографов Гамильтона — Б. Митчелл считает, что причина была в «энтузиазме молодости, любви к законности и свободе». Но можно найти и более весомое объяснение.

Что могло дать ему, безвестному провинциалу, колониальное общество? В самом лучшем случае — положение преуспевающего юриста. Революция размывала старый порядок: власть империи рушилась, влияние прежней колониальной аристократии падало, возникал какой-то видоизмененный строй жизни, дело создания которого открывало для людей таланта и энергии новые, невиданные доселе возможности. Гамильтон, несомненно, ощущал их дразнящий запах: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!». Революция могла дать ему все; терять же, в отличие от Джея, Ливингстонов и пр., ему было нечего. Мог ли он, сжигаемый страстью «вознести себя», упустить такой шанс?

Примыкание Гамильтона к освободительному движению колоний вовсе не означало безоговорочного принятия его во всей полноте. В «Опровержении Фермера» он теоретически признает право народа на восстание — это было необходимо для оправдания неповиновения колоний. Но такое право, по его мнению, могло быть использовано в исключительно редких случаях, определение которых, равно как и само его осуществление, является привилегией просвещенных руководителей, а отнюдь не слепой черни. Стихия народного возмущения ненавистна ему, опасность выхода взбудораженных масс за пределы дозволенного слишком очевидна. Он видел это воочию, когда 10 мая 1775 г. разъяренная толпа патриотов собралась у Королевского колледжа, чтобы проучить, как водится, дегтем и перьями его президента — Купера, заядлого тори. Джентльмен в руках черни — возможно ли это? Гамильтон бросается им навстречу, произносит горячую речь о святом деле свободы и ...дает Куперу возможность благополучно улизнуть. До глубины души возмутил Гамильтона и другой случай народного самоуправства — учиненный осенью 1775 года «Сынами свободы» разгром типографии лютого

врага патриотов, крупнейшего издателя-тори Джеймса Ривингтона. «Не могу не осудить этот акт, — пишет он в Филадельфию Джею. — В такие тревожные времена, как нынешние, когда страсти народа разгорячены сверх обыкновенного, существует большая опасность фатальных крайностей. То же самое возбужденное состояние большинства, не наделенного здравомыслием и знанием, необходимыми для самоконтроля, которое направлено против империи и угнетения, вполне естественно приводит его к презрению и пренебрежению ко всякой власти. Такие бурные времена требуют от политических кормчих величайшего искусства для того, чтобы держать людей в нужных рамках...» Весьма удивительное «здравомыслие» для 18-летнего юноши, охваченного революционным энтузиазмом.

Однако, невзирая на опасения осторожных, развитие событий неумолимо вело к углублению разрыва с Англией и вооруженной борьбе за независимость. 23 апреля зазвонили все нью-йоркские колокола — в город пришла весть о первых выстрелах под Лексингтоном и Конкордом. «Сыны свободы» захватили таможню и арсенал, аристократы расползлись по своим имениям, реальная власть в городе перешла к преемнику «комитета 51» — «комитету 100», большинство в котором с трудом удерживали умеренные.

Решения второго континентального конгресса, собравшегося 10 мая 1775 г. в Филадельфии, о создании континентальной армии под командованием Вашингтона, первое настоящее крещение патриотов в бою при Бенкер-Хилле ставили в повестку дня вооруженную борьбу, хотя надежды на примирение с короной, как видно из одновременно принятой петиции «оливковой ветви», адресованной королю, еще сохранялись. Даже после августовской королевской прокламации о состоянии бунта в колониях и создания в конце года «комитета тайных сношений» по делам обеспечения иностранной помощи до полного разрыва с метрополией оставался еще один шаг — провозглашение независимости. Сделать его можно было, лишь окончательно низвергнув авторитет самой короны. Это блестяще проделал Томас Пейн в своем знаменитом памфлете «Здравый смысл», появившемся в начале января 1776 года. „«Здравый смысл», — отметил тогда Вашингтон, — производит сильные изменения в умах людей”. Одна из ведущих газет колоний писала: «...Все прежние предрассудки и расчеты в пользу примирения рассеиваются, как утренний туман...». Борьба колоний вступала в новую фазу.

Для Гамильтона выбор был ясен. Первые выстрелы сразу же разбудили юношеские мечты о ратных подвигах, по сравнению с которыми учеба казалась скучной бессмыслицей.

В январе 1776 года конгресс провинции Нью-Йорк постановил создать артиллерийскую роту для защиты города. 14 марта Гамильтон после настойчивых прошений и блестящей сдачи экзаменов получил командование ротой и капитанские эполеты.



С упоением отдался вчерашний студент новому для него военному ремеслу. Остатки сбережений пошли на экипировку доморощенных артиллеристов. Палкой и личным примером он превратил свою роту в образцовую по стандартам ополчения часть, сам прослыл способным и дельным офицером. Но до настоящих боев дело пока не доходило — войска континентальной армии и ополчения осенью 1776 года отступали от Нью-Йорка. Гамильтону удалось блеснуть только в декабре при Трентоне, когда его пушки рассеяли полк гессенцев, готовившийся к контратаке. Вскоре он снова отличился в бою при Принстоне, прямым попаданием разрушив стену колледжа, где засели англичане. Согласно легенде, ядро пробило портрет его величества короля Георга III. В Принстон он вступил уже бывалым солдатом. «Юноша, даже подросток, небольшого роста, стройный, хрупкого сложения, в надвинутой на самые глаза треуголке, — вспоминал очевидец, — шагал погруженный в свои мысли рядом с орудием, задумчиво поглаживая его ладонью, как любимую лошадь или игрушку».

Вероятно, Гамильтон уже тогда попал в поле зрения командующего армией Вашингтона, который получил о нем хвалебные отзывы от генералов Н. Грина и У. Александра — старого знакомца Гамильтона по Елизабеттауну. После того как армия стала на зимние квартиры в Морристауне, Вашингтон вызвал молодого капитана и предложил ему пост своего адъютанта в звании подполковника. Гамильтон колебался: успев вкусить пьянящее чувство боя, он и не помышлял о штабной работе. Однако отказывать командующему не так просто, и вот 1 марта 1777 г. был оглашен приказ по армии: «Александр Гамильтон, эсквайр, назначен адъютантом главнокомандующего; его следует уважать и слушаться в этом качестве».

Судьба еще раз улыбнулась Гамильтону. Новое назначение одним махом вырывало его из сотен безвестных младших офицеров и приближало к командованию всей армией, вводя в когорту молодых блестящих офицеров из окружения Вашингтона. Заслуженный военачальник был завален бумажной работой и нуждался в хороших помощниках. Его требования к ним были просты и определены: прежде всего — они должны быть выходцами из хороших семей, «что же касается военных познаний, то я не рассчитываю найти джентльменов, очень

в них искушенных, — писал Вашингтон — Если они могут составить хорошее письмо, быстро писать, быть усердными и аккуратными, то это все, чего я от них жду...»

Гамильтон мог много больше того и скоро сделался для Вашингтона необходимым. Ясная голова, лаконичный, отточенный слог, быстрое неумолимое перо и исполнительность — это был идеальный адъютант. Гамильтон не только составлял приказы главнокомандующему и другие документы по войскам, но и вел его официальную переписку с конгрессом. Сближение с Вашингтоном — самой влиятельной фигурой колоний имело огромное значение для всей последующей политической деятельности Гамильтона, а штаб главнокомандующего с его атмосферой боевого товарищества, окружавшей Вашингтона, и питавшими к нему сыновью привязанность адъютантами заменил ему так не достававшие с детства семью и дом.

Новая роль Гамильтона не осталась незамеченной в Нью-Йорке. Члены «комитета связи» штата Г. Моррис и Р. Ливингстон сразу же предложили адъютанту главнокомандующего роль доверенного информатора. Местные деятели в Нью-Йорке, как и в других штатах, настороженно следили за деятельностью конгресса и положением в армии. Гамильтон с удовольствием ухватился за это предложение: нью-йоркские воротилы были нужны ему не меньше, чем он им. Доверительное знакомство с этими людьми открывало доступ в узкий круг элиты штата.

Начав с освещения чисто военных вопросов, Гамильтон с присущим ему апломбом вскоре перешел к изложению своих рецептов по другим проблемам, и нью-йоркский конвент не одернул выскочку — говорил сведущий и разумный человек, к его мнению стоило прислушаться. В мае 1777 года Гавернир Моррис даже прислал ему на отзыв проект конституции Нью-Йорка, один из самых консервативных в стране. Гамильтон одобрил «мудрую и превосходную систему», но высказал ряд замечаний, в частности возражения против всеобщих выборов губернатора и ограниченности его полномочий. «Я чрезвычайно рад, — почтительно отвечал Моррис, — что наша форма правления получила ваше одобрение». На начальном этапе развития освободительной борьбы Гамильтон сохранил еще и некоторые ортодоксально-республиканские взгляды; так, он осуждал деление легислатуры на две палаты — ассамблею и сенат, который «будет тяготеть к превращению в чисто аристократический орган». Однако очень скоро он окончательно избавился от остатков демократических увлечений юности — решающую роль в этом сыграли личные впечатления от войны.

Летние (1777 г.) донесения Гамильтона в Нью-Йорк полны оптимизма, веры в скорую победу. В июне он сообщает о том, что, ввиду растущего численного перевеса американских войск, к концу лета, видимо, наступит решительный перелом — «затягивание войны погубит противника». Хотя в конечном счете он оказался прав, ошибившись лишь в сроках, на рубеже 1777—1778 годов ситуация складывалась совсем иначе: затягивание войны губило не англичан, а континентальную армию. После победы под Саратогой в октябре 1777 года последовала печально известная зимовка в Велли-Фордж, обескровившая армию сильнее, чем самые крупные сражения войны: около двух с половиной тысяч человек умерло от голода и болезней, что составило более трети боевых потерь за всю войну, почти столько же дезертировало. А в те же дни неподалеку от расположения агонизирующей армии, в городке Ланкастер, как сообщали местные газеты, был устроен бал. «Более сотни изысканно одетых леди и джентльменов собрались насладиться холодным ужином с вином, пуншем, тортами. Музыка, пение и танцы продолжались до рассвета». Благодействовали не только в Ланкастере, но и почти повсюду. Ресурсы страны были действительно огромны, как доказывал Гамильтон в своих памфлетах, дело заключалось в неспособности мобилизовать их.

Конгресс, лишенный необходимых финансовых и политических полномочий, не мог обеспечить сколько-нибудь сносного снабжения армии. Отданное на откуп крупным торговцам, оно тонуло в лихорадке спекуляции и наживы. Зимовка в Велли-Фордж заставила Гамильтона, и не только его, по-новому взглянуть на положение дел, былой оптимизм сменился отчаянием. «Слабые, нерешительные и неблагоприятные действия конгресса, — пишет Гамильтон в феврале губернатору штата Нью-Йорк Дж. Клинтону, — низвели нас до положения более ужасного, чем вы можете себе представить... Налицо постоянная нехватка всего самого необходимого и опасность распада от абсолютного голода». Поначалу корень зла Гамильтон усматривает в деградации конгресса. «Где они, великие люди, составлявшие наш первый совет, — умерли, бежали?» Нет, отвечает он, лучшие умы ушли в армию и разбрелись по штатам, центральная власть оказалась оголенной. «Представьте себе, каковы могут быть последствия в условиях, когда конгресс остается презираемым внутри страны и за рубежом. Как можно использовать все имеющиеся силы, если это зверено хилым, глупым и дрожащим рукам?»

В заключение Гамильтон призывает — «настало время для людей, обладающих авторитетом и пониманием, трубить

тревогу и искать надлежащее противоядие... Перемены необходимы, сэр, иначе Америка содрогнется до самого основания».

Дальше общих призывов дело пока не пошло, да и ситуация вскоре потеряла остроту. К лету Вашингтону удалось укрепить армию, а главное — заметно упрочилось международное положение колоний. Их лидеры хорошо понимали, что в одиночку им не выстоять в борьбе с могущественной Англией. Поэтому главные усилия молодой американской дипломатии были направлены на получение иностранной помощи и внешнеполитическую изоляцию «владычицы морей», взявшей курс на подавление освободительного движения колоний. Естественными объектами этих дипломатических усилий были основные противники Англии в Европе — Испания и Франция, стремившаяся к реваншу за сокрушительное поражение в Семилетней войне с англичанами.

Наиболее дальновидные лидеры колоний сделали ставку на союз с Францией уже в 1775 году. Джон Адамс, отвечая на сомнения в том, что монархическая Франция станет воевать за интересы еще не появившейся на свет заокеанской республики, упрекал скептиков в конгрессе в непонимании «отношений между Францией и Англией. Несомненный интерес Франции состоит в том, что британские колонии на континенте должны быть независимыми; Британия в результате завоевания Канады, побед на море в последней войне и огромных территориальных приобретений в Америке и Индии оказалась вознесенной на высоту мощи и влияния, нестерпимую для Франции». Опираясь на ресурсы американских колоний и свое преобладание на море, Англия, добавлял Адамс, прямо угрожает остаткам французских владений в Западном полушарии, в первую очередь — Вест-Индии. Следовательно, «интерес Франции (к отделению колоний. — В. П.) настолько очевиден, а побудительные мотивы столь сильны, что только утрата здравого смысла в ее верхах сможет удержать Францию от соединения с нами».

Проблема, по Адамсу, заключалась не столько в нехватке, сколько в избытке заинтересованности Франции, поэтому, предупреждал он, «переговоры с ней должны вестись с большой осторожностью и всей возможной предусмотрительностью: нам не следует заключать с ней союз, способный вовлечь нас в будущие европейские войны. Нашим первым принципом и неизменным правилом должно быть сохранение полного нейтралитета во всех предстоящих европейских войнах; не в наших интересах объединяться с Францией для разрушения или чрезмерного унижения Англии — наша подлинная, если и не всегда номинальная, независимость будет состоять в нейтралитете». Дабы избежать незавидной роли

«марионеток, которых дергают за ниточки из кабинетов Европы», колонии должны идти только на заключение торговых договоров, которые будут, в частности для Франции, «достаточной компенсацией за всю требуемую от нее помощь», не говоря уже о том, что «само расчленение Британской империи явится для нее неоспоримым благом и укрепит ее безопасность. Это с лихвой окупит все усилия, которых мы от нее потребуем, даже если ей придется втянуться в очередную восьми- или десятилетнюю войну».

Хотя Адамс, как и другие его соотечественники, явно переоценивал значение торговли с североамериканскими колониями для Европы, эти его рассуждения предвосхитили генеральное направление американской внешней политики не только на период борьбы за независимость, но и на многие последующие десятилетия. Однако в глазах многих американских лидеров, которые не заглядывали столь далеко, как Адамс, опасности втягивания в европейские союзы перекрывались экстренной необходимостью получения помощи любым путем. О последствиях предпочитали не задумываться. «Для меня ясно, — писал Джею один из «отцов-основателей» Роберт Моррис в сентябре 1776 года, — что, умело используя очевидное расположение французского двора, мы вскоре сможем втянуть всю Европу в войну; ужасно, конечно, что ради своей собственной безопасности нам приходится вовлекать другие народы в бедствия войны. Справедливо ли это с точки зрения морали? Или же мораль и политика не имеют между собой ничего общего? Видимо, в настоящее время было бы неполитично углубляться в этот вопрос».

Никто и не углублялся. Соблазн собственного освобождения чужими руками, пусть даже за счет развязывания новой европейской войны, был слишком велик, и «втягивание Европы в войну» стало путеводной звездой американской дипломатии.

В ответ на просьбы американцев Франция начала помогать им оружием и деньгами уже с 1776 года, а к февралю 1778 года дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Париже, умело используя угрозу сепаратных переговоров с Англией, добилась заключения договоров с Францией о дружбе и торговле и о военном «оборонительном союзе». Тем самым Франция не только первой признала независимость колоний, но и обязалась, как гласил текст договора о союзе, «не складывать оружия, пока независимость Соединенных Штатов не будет официально или негласно обеспечена договором, который прекратит войну». Союз с крупнейшей европейской державой радикально изменил соотношение сил в войне за независимость в пользу колоний, тем более что вслед за Францией на их стороне в войну вступили Испания и Нидерланды, имевшие

свои счета с Англией. Американской дипломатии удалось натравить европейские монархии друг на друга, с блеском использовать в своих интересах отмеченную В. И. Лениным «рознь между французами, испанцами и англичанами». То обстоятельство, что американская республика смогла появиться на свет только благодаря умелому использованию международной обстановки в духе политики «баланса сил», признавалось и самими «отцами-основателями». На конституционном конвенте 1787 года Дж. Мэдисон, говоря о причинах достижения колониями независимости, поставил на первое место отнюдь не энтузиазм американцев в борьбе с тиранией, а соперничество между Англией и Францией, которому «мы, по всей видимости, обязаны нашей свободой».

Немаловажную роль в борьбе колоний за независимость сыграла и позиция другого гиганта мировой политики — далекой России. На берегах Невы были неплохо информированы о разгоревшемся за океаном конфликте и оценивали его ход и перспективы более трезво, чем при дворе Георга III. Екатерина II, скептически относившаяся к способностям своего августейшего английского собрата, в том числе и к его колониальной политике («в дурных руках все становится дурным»), считала «отпадение Америки от Европы» делом неизбежным. Более того, независимость колоний, как докладывала императрице коллегия иностранных дел летом 1779 года, отвечает интересам России, поскольку она будет способствовать расширению русской торговли с Англией и самой Америкой, а также ослабит доминирование Англии над торговлей в бассейне Балтийского моря. Это расхождение интересов двух великих держав учитывалось и деятелями самих колоний в их внешнеполитических расчетах. Неприязнь к английской гегемонии, писал Гамильтон Р. Ливингстону летом 1777 года, помешает России прийти на помощь Англии в ее войне с повстанцами.

В то же время поддержание отношений с Англией было важнейшим условием эффективности тогдашней внешнеполитической стратегии России в Европе, направленной на создание «северной системы»: объединение усилий России, Англии и Скандинавских стран для противодействия росту влияния Франции и Австрии. Именно эти соображения реальной политики и собственных интересов Российского государства, а вовсе не сочувствие Екатерины II борьбе колоний определили суть позиции России, сводившейся к тому, что она «явно вспомоществовать Англии противу колоний не станет». Еще в 1775 году Екатерина решительно отвергла просьбу Георга III о посылке русского экспедиционного корпуса для усмирения североамериканских «бунтовщиков». В 1778—1779 годах, когда вступление в войну Франции и

Испании еще более обострило для англичан проблему поиска союзников, Россия вновь ответила отказом на настойчивые предложения англичан о заключении «оборонительного союза», твердо следуя своему курсу строгого нейтралитета. В сложившейся тогда обстановке такой курс был явно в пользу американцев, которые, по словам Дж. Вашингтона, были «немало обрадованы, узнав.., что просьбы и предложения Великобритании русской императрице с презрением отвергнуты».

Значение России в борьбе колоний за независимость еще более возросло в связи с провозглашением ею в феврале 1780 года знаменитой декларации «О вооруженном нейтралитете» и образованием вслед за этим Лиги нейтральных стран во главе с Россией. Предназначенная для защиты торговых интересов нейтральных государств и ослабления господства Англии на морях, лига в немалой степени содействовала дипломатической изоляции последней и улучшению международного положения молодой заокеанской республики. Не даром ее лидеры высоко оценили эту инициативу России, а континентальный конгресс принял специальное постановление, полностью одобрявшее декларацию «О вооруженном нейтралитете» и уполномочивавшее американских представителей за границей поддержать провозглашенные Россией принципы нейтрального мореплавания, полностью отвечавшие интересам американской торговли.

Хотя в 1778—1779 годах военная обстановка стабилизировалась и соотношение сил постепенно менялось в пользу американцев, финансово-экономическое положение конфедерации становилось все более плачевным. Не имея самостоятельных источников дохода в виде федеральных налогов или пошлин, конгресс для финансирования войны наращивал эмиссию бумажных денег. Предполагалось, что штаты введут достаточно высокие налоги и смогут вывести из обращения избыточное количество денег, выплачивая конгрессу установленную для каждого штата сумму ежегодного взноса. Но штатам это оказалось не под силу: в 1777—1779 годах вместо востребованных 95 миллионов долларов они смогли уплатить лишь половину, при этом они сами начали выпуск бумажных денег. В результате доллар катастрофически быстро обесценивался: в 1778 году — в 7 раз, к концу 1779 года — в 42 раза. Цены соответственно взлетали, и инфляционная спираль неумолимо раскручивалась — с тех пор в Америке прижилась поговорка: «Не стоит и континентального доллара». Чтобы не голодать, армия была вынуждена реквизировать продовольствие у населения в обмен на сертификаты, а часто и просто под расписку. Только квартирмейстерская служба и ведомство

продовольственных закупок выдали таких сертификатов на сумму в 95 млн. долл. Армия оставляла после себя груды ничего не стоящих бумажек, вызывая озлобление населения. «Мы начинаем ненавидеть страну за пренебрежение к нам, а она начинает ненавидеть нас за наши притеснения», — с горечью резюмировал Гамильтон.

Между тем количество бумажных денег в обращении вплотную приближалось к роковой цифре — 200 миллионов долларов — пределу, установленному конгрессом в 1779 году. Над ним нависла угроза банкротства, и если бы не иностранная, в первую очередь французская, военная и финансовая помощь (2,1 миллиона долларов золотом в одном только 1779 г.), которая обеспечила закупки вооружения и выплату процентов крупным держателям займов, исход освободительной войны мог бы быть иным.

Всецело уповая на помощь союзников, скованный инфляцией конгресс начал резко сокращать военные расходы; Вашингтон в 1779 году уже не планировал крупных операций — война превращалась в топтание на месте.

Это раздражало людей действия типа Гамильтона. Он бросается от одного прожекта к другому. В начале 1779 года вместе со своим другом Джоном Лоуренсом, тоже адъютантом Вашингтона, он выдвигает идею усилить отступающие на Юге части негритянскими батальонами, набранными в тех же районах. В восточных штатах и Новой Англии набор негров в армию был уже узаконенным делом. Рабам обычно предоставлялась свобода, а их владельцам — денежная или земельная компенсация. Черные солдаты показали себя с самой лучшей стороны, их боевые качества высоко оценивались самим Вашингтоном. Лоуренс и Гамильтон решили распространить эту практику и на южные штаты. В специальном письме тогдашнему президенту конгресса Джею Гамильтон со своеобразной смесью расовой «терпимости» и аристократического апломба обосновывал свой проект: «Презрение, которому мы научены в отношении черных, порождает нелепые мнения, не подтверждаемые ни рассудком, ни опытом». Между тем «их природные способности ничуть не хуже наших», а «недостаток развития в сочетании с приобретенной в неволе привычкой к подчинению позволит сделать из них солдат быстрее, чем из наших белых соотечественников. Пусть офицеры будут людьми ума и чувства, солдаты же чем больше походят на машины, тем лучше».

Лоуренс отправился в родную Южную Каролину воплощать идею в жизнь, вооруженный рекомендацией конгресса о наборе 3 тысяч черных солдат с денежной компенсацией владельцам в размере тысячи долларов за человека. По вполне понятным

причинам, его миссия не дала результатов: рабовладельцы отнюдь не горели желанием подставлять под огонь свою живую собственность, стоимость которой, в отличие от денег конгресса, всегда оставалась стабильной, тем более их вовсе не привлекала идея вооружать рабов. Великий проект двух энтузиастов лопнул, что лишний раз подтвердило правильность их оценки сложившегося положения в целом и «бескорыстия» своих соотечественников в частности. «Эти надежды — пустые мечты, мой друг, — писал Гамильтон Лоуренсу, — все убеждает нас в том, что в Америке нет добродетели, что торгашество, освятившее рождение и становление этих штатов, держит их обитателей на цепи и единственное их желание — чтобы она была золотой».

Однако Гамильтон не из тех, кто способен долго пребывать в оцепенении отчаяния. Служба в штабе армии и положение доверенного секретаря главнокомандующего представляли великолепные возможности для ознакомления с военными, экономическими и политическими проблемами страны. При этом все изъяны конфедерации, как бы сфокусированные в ее военной беспомощности и бедствиях армии, представали перед Гамильтоном со всей очевидностью. Офицерство единодушно кляло конгресс и засевших в тылу политиканов, но лишь единицы, посвященные, подобно Гамильтону, во все детали происходящего, всерьез задумывались о путях выхода из создавшегося положения, и, пожалуй, никто не искал их с таким рвением, как он. Роль пассивного наблюдателя серьезных событий никогда не устраивала Гамильтона. Именно в эти дни он выписывает в свою походную тетрадь примечательные строки из Демосфена, ставшие его девизом: «Как генерал идет впереди своих войск, так и мудрые политики должны идти во главе всех дел... Им не следует дожидаться событий, чтобы решить, какие принять меры; напротив, принимаемые ими меры сами должны производить эти события».

Мозг Гамильтона лихорадочно работает. Коль скоро проблемы страны конкретны и материальны, то и средства их решения должны быть такими же. Абстрактные рассуждения о «естественных правах» и прекраснородушные упования на «природный энтузиазм республиканцев» не помогут там, где все дело в финансах, снабжении, управлении. Недаром он возит с собой небольшую библиотечку по коммерции, финансовому и банковскому делу.

После долгих размышлений во время голодной зимовки 1779—1780 годов в Морристауне — втором Велли-Фордже у Гамильтона созревает новый амбициозный план. Он излагает его в письме к члену конгресса, имя которого точно не установлено. Это замечательный документ, по существу,

экономический манифест Гамильтона, изложенный сухим языком расчетов и цифр. Обращаясь к одному из сильных мира сего, он отбросил всякую риторику, изъясняясь с предельной откровенностью. Вместе с тем тон письма таков, будто на плечах его автора уже лежит тяжесть принятия важнейших для страны решений.

Главная проблема, считает Гамильтон, — это «состояние денежной системы». Деньги — нерв войны, но где их взять? Конгресс не полномочен вводить налоги, да и насколько они окажутся эффективными? «Налоги ограничиваются не только богатством государства, но и характером, привычками и настроениями населения, которые в этой стране не позволяют поднимать их высоко; что же касается займов, то людей не заставишь ссужать деньги обществу, когда налицо нехватки и они могут найти более прибыльные способы их использования, что мы и наблюдаем у себя».

Для преодоления нехватки капитала оставалось, следовательно, два пути: иностранные займы и какой-то новый способ мобилизации внутренних денежных ресурсов, осевших в карманах имущих. Последняя задача становилась все более насущной: до поры до времени войну «финансировала» сама инфляция, бумажные деньги, но долго так продолжаться не могло — кто-то, наконец, должен был оплатить. Необходимость привлечения капиталов богачей осознавалась не одним Гамильтоном. В этом сходились такие разные люди, как Т. Пейн и президент конгресса Дж. Рид, который в июне 1780 года писал Вашингтону: «В наших трудностях повинны не бедные, а богатые. До тех пор пока война велась при помощи эмиссии денег, содействие первых было не столь обязательным, участие же бедных было необходимо и необходимо сейчас, но при условии оплаты за их труды...» Словом, пусть бедняки воюют, а богачи должны хотя бы платить. Однако «помощь богатых» могла быть получена разными путями, и сложившаяся обстановка, казалось бы, подсказывала логичность принудительных мер. Ничто не может быть дальше от намерений Гамильтона: единственный, по его мнению, приемлемый способ укрепить финансы — это восстановить доверие толстосумов к центральной власти. «Только тот план может спасти денежную систему, — отчеканивает он, — который делает состоятельных людей непосредственно заинтересованными в сотрудничестве с государством для его осуществления».

Вот он, краеугольный камень всей философии правления Гамильтона, принцип простой и вместе с тем фундаментальный: чтобы государство было прочным, а финансовая система устойчивой, необходимо предоставить «состоятельным лю-

ням» контрольный пакет акций в управлении государством, неразрывно связав тем самым их корыстный интерес с необходимостью поддержания государственной стабильности.

В какой же форме лучше всего осуществить эту унию государства и денежных мешков? Для Гамильтона это вопрос вопросов, он явно захвачен «величием» стоящей перед ним задачи («Я чувствую, как распаляется воображение в проектах такого рода!»). Здесь-то и появляется у Гамильтона идея Национального банка как синтеза частнокапиталистических интересов и государства.

Он набрасывает схему создания банка: уставный капитал составляется из иностранного займа в 2 миллиона фунтов стерлингов и взносов вкладчиков на 200 миллионов континентальных долларов («сумма подписки должна быть достаточно велика, чтобы привлечь значительное число наиболее богатых людей»). Банк будет предоставлять кредиты конгрессу и частным лицам; одна половина капитала и прибылей принадлежит государству, другая — частным пайщикам. Управление банком передается комитету частных попечителей под контролем государственных органов; банк, таким образом, является смешанным частногосударственным предприятием. Он учреждается на десятилетний срок, хотя, как полагает автор проекта, «вряд ли будет когда-либо ликвидирован, так как основывается на принципах, которые во все времена действуют безотказно».

Идея банка как панацеи от всех бед не была собственным изобретением Гамильтона. Он опирался на хорошо ему знакомый европейский опыт финансового и банковского дела. Основной моделью служил знаменитый Банк Англии, созданный еще в 1694 году для кредитования государства и ставший в XVIII веке эталоном надежности для всего мира. Создание банка стало излюбленной и неотвязной идеей Гамильтона.

Молодость, однако, брала свое, и даже среди тягот армейской жизни и размышлений о нуждах государства находились время и силы для занятий и увлечений, свойственных возрасту. Тесная дружба связала в годы войны Гамильтона с другими молодыми офицерами из окружения Вашингтона — уже упомянутым Джоном Лоуренсом, Дж. Макгенри, маркизом Лафайетом. Все они были одинаково молоды, одинаково одержимы романтикой войны и любовных похождений, подражали «кодексу чести» античных героев, смотрели на мир насмешливыми глазами 25-летних, но уже бывалых солдат и наслаждались, пока возможно, свободой и холостяцкой беззаботностью. «Что же касается проблемы жены, — шутливо наказывал Гамильтон Лоуренсу, отправившемуся за черными солдатами, — то уполномочиваю и приказываю достать мне такую в

Каролине... Вот ее портрет: она должна быть молода, красива (основной упор я делаю на хорошей фигуре), разумна (достаточно небольшого образования), хорошо воспитанна., целомудренна и нежна, наделена хорошим характером и щедростью (я одинаково ненавижу сварливых и прижимистых), политические взгляды не имеют значения, думаю, что легко обращаю ее к своим собственным. В вопросах веры удовлетворюсь умеренным рвением: она должна верить в бога и ненавидеть святош. Что же касается состояния, то чем оно больше, тем лучше. Ты знаешь мою натуру и обстоятельства и потому будешь особенно внимателен к этому пункту».

Шутки — шутками, но требования эти, особенно по последнему пункту, имели для него и вполне серьезный смысл. В глубине души он отчетливо сознавал, что при всех своих способностях и удачливости он все же не относится к числу «избранных» — родовитых и богатых, к которым всегда тяготел. Война на время нивелировала социальные градации в офицерской среде. Все они — и французский аристократ Лафайет, снарядивший в Америку целый корабль на свои средства, и сын богатейшего плантатора, президента конгресса — Лоуренс, и бездомный пришелец Гамильтон были детьми войны, товарищами по оружию; ну, а что будет потом? Избавиться от этих мыслей было невозможно, иногда горечь прорывалась наружу. В начале 1780 года конгресс отклонил его кандидатуру на пост секретаря дипломатической миссии в Париже. Гамильтон пишет в ответ на утешения Лоуренса: «...Но ведь я чужой в этой стране. У меня нет ни собственности, ни связей. Если я наделен, как ты утверждаешь, талантами и цельностью, то в наш просвещенный век они справедливо считаются пустыми достоинствами, если не обеспечены чем-то более существенным».

И вот летом того же года друзья узнают о помолвке «маленького льва», как они прозвали своего товарища за небольшой рост и рыжеватую шевелюру, с Элизабет Скайлер. Его нареченная была весьма недурна собой и без ума от голубоглазого подполковника, но слишком богата, чтобы не дать повод усомниться в искренности чувства своего жениха. Если же сомнения эти безосновательны, то ему, следовательно, чрезвычайно повезло: женись Гамильтон по дьявольскому расчету, он не мог бы сделать лучшего выбора. Отец Элизы — генерал Филипп Скайлер, ведущий свой род от первых голландских поселенцев, был не только одним из богатейших, но и одним из наиболее влиятельных людей Нью-Йорка. Он запомнил Гамильтона еще по его корреспонденциям и с удовольствием принял этого, правда, бедного, но происходящего из хорошего шотландского рода и столь многообещающего молодого

человека. Это был последний и решающий шаг по пути превращения в полноправного члена нью-йоркской элиты.

Но matrimониальные хлопоты не ослабили озабоченности Гамильтона положением дел в стране. Меньше всего он был способен замкнуться в лично-семейном благополучии. Война по-прежнему вела в никуда. В мае 1780 года капитулировал 5-тысячный гарнизон Чарльстона, в августе лорд Корнваллис разгромил войска генерала Гейтса в Южной Каролине. Но еще хуже обстояло дело с финансами. В марте конгресс, признав свое банкротство, провел ревальвацию бумажных денег в отношении 40 к 1, что отнюдь не остановило инфляции. Снабжение армии было передано властям штатов, и это еще больше усилило неразбериху. Измученная армия, голодающая в сытой стране; бессилие и безучастность конгресса в вопросах, решающих судьбу республики; вынужденное бездействие и поражения на фронте — неудивительно, что многим ее участникам война казалась нескончаемой эскалацией абсурда. «Полки, как правило, не достигают и половины своего состава, — писал Вашингтон конгрессу в конце 1780 года, — но и они испытывают острый недостаток во всем... У нас нет ни денег, ни кредита даже на покупку досок для дверей наших хибар... Если бы солдаты могли, подобно хамелеонам, питаться воздухом или, как медведи, сосать лапу и так перебиться в суровые дни наступающей зимы...» Не кто иной как Вашингтон называл тогда «историю войны историей обманутых надежд».

Но если такова была реакция уравновешенного, скупого на слова главнокомандующего, то его адъютант с максимализмом молодости доходил до крайности. Описывая Лоуренсу в октябре 1780 года бедствия армии, Гамильтон мрачно предрекает: «Если не принять срочных мер, больной умрет». Ему не занимать сарказма: «Наши соотечественники щедро наделены глупостью ослов и вялостью овец. Они твердо решились не быть свободными. Если что нас и может спасти, так это Франция и Испания... Политика нашего государства способна свести нормального человека с ума, я теряю голову, мой друг .., и всем высказываю свое мнение в сильных выражениях». В порыве ожесточения он проклинает все на свете: «Я ненавижу конгресс, ненавижу армию, ненавижу мир, ненавижу себя. Сплошная масса дураков и негодяев».

Искренность Гамильтона несомненна, его письма — живые свидетельства, раскрывающие подлинный характер войны, в которой руководители молодого государства сделали ставку на победу чужими руками — руками союзной Франции и Испании. Расчет оказался верным: помимо сильного флота Франция направила в Америку около 9 тысяч человек, американцы

воевали в основном французским оружием, только в виде займов, субсидий и расходов на содержание своих войск в США Франция, Испания и Голландия потратили около 16 миллионов долларов в исчислении тех лет, тогда как военные расходы самих американцев составили, по разным подсчетам, от 100 до 125 миллионов долларов. Иностранная помощь, по мнению большинства серьезных историков, сыграла важнейшую роль в победе патриотов. Такой способ ведения войны прельщал лидеров американской буржуазии не только своей дешевизной; он был гораздо более безопасным с точки зрения поддержания своего политического господства, поскольку сокращал потребность обращения за поддержкой к народу и широкого его вооружения.

То, что стало спасением для американцев, обернулось подлинным бедствием для правления Людовика XVI. Союз с молодой, но не по возрасту предприимчивой республикой дорого обошелся одряхлевшему французскому абсолютизму. Банкротство королевской казны, усугубленное помощью союзнику, до крайности обострило ситуацию в стране. Специальный симпозиум американских и французских историков, посвященный 200-летию памятного союза, дал ему основательную, но запоздалую оценку, назвав «ошибкой для Франции, просчетом трагических масштабов». Его плоды, как отмечалось на симпозиуме, «были для Франции иллюзорными, победы — пустопорожними, а достижения — бессмысленными».

Но вернемся к Гамильтону. Чем больше он проклинаяет, тем глубже погружается в анализ ситуации и поиск новых путей. В те самые дни, когда он пишет это отчаянное письмо Лоуренсу, среди лагерной суеты Гамильтон заканчивает и другое послание — Джеймсу Дюану, в котором развивает свой предыдущий план.

На этот раз он не ограничивается рассмотрением чисто финансовых вопросов — он уже понял, что без укрепления политической власти не может быть речи о других реформах. Конфедерация продолжала оставаться разрозненным конгломератом бывших 13 колоний, почти не связанных друг с другом. Большинство членов конгресса жило исключительно интересами своих штатов. Гамильтону местничество было чуждо вдвойне: война, за ходом которой он следил с высоты главного штаба, приучала мыслить масштабами страны в целом, а сам он как иммигрант не имел глубоких корней нигде. Поэтому он так легко становится поборником «континентальных» взглядов и одним из первых и самых энергичных сторонников централизации власти. «Главнейший изъян — недостаток власти у конгресса .., — начинает он письмо к

Дюану. — Сама конфедерация порочна и должна быть изменена, она не годится ни для войны, ни для мира». Гамильтон подробно останавливается на слабостях конфедерации и предлагает конкретные способы их устранения. Финансирование и комплектование армии следует передать конгрессу, который должен быть наделен собственными финансовыми ресурсами, ибо «без источников дохода государство не может иметь никакой власти, она принадлежит тому, кто держит кошелек». Поэтому нужно ввести федеральные налоги — на землю, участие в выборах и др. В целом конгрессу должен быть предоставлен полный суверенитет в вопросах торговли, финансов и внешних сношений. На долю штатов остается защита собственности и благополучия их граждан, а также внутреннее налогообложение.

Усиление центральной власти, оговаривает Гамильтон, должно идти за счет создания новых министерств — военного, финансов, иностранных дел и военно-морского флота, во главе которых следует поставить «первых по способностям, собственности и принципам людей страны», а именно, расшифровал Гамильтон: соответственно Ф. Скайлера, Р. Морриса и А. Макдугалла. Мощная постоянная армия, целиком зависящая от конгресса, станет наряду с имущим классом главной спорной сильной политической власти: «Конгресс будет иметь надежный фундамент власти со всеми последствиями. Для меня аксиома, что при нашей конституции армия необходима для союза».

Эту реорганизацию предлагалось осуществить путем созыва конституционного съезда для образования новой конфедерации. Но не будет ли противоречить такая власть республиканским понятиям свободы личности? «Ничто не представляется мне более очевидным, — невозмутимо отвечает Гамильтон, — чем то, что мы рискуем гораздо больше со слабым и раздробленным федеральным правительством, чем с тем, которому окажется под силу узурпировать права народа». Система приоритетов ясна — права народа не в счет.

Приведа уже знакомые нам проекты финансовой реформы, автор подводит к сути дела, конечной цели всех этих планов: «Богатые американцы — разве они достаточно доверяют государству? Пусть же оно стремится вселить это доверие принятием предлагаемых мною мер или других, им равнозначных; пусть стремится создать прочную конфедерацию, необходимую структуру исполнительной власти, постоянную армию, заручится иностранными займами. Если все это будет делаться последовательно и решительно, то придаст новый импульс нашим делам: государство обретет авторитет, а люди — уверенность».

Так, к 23 годам у Гамильтона оформилась система взглядов на государство не только в теоретической, но и в практической плоскости. До конца дней он будет проводить ее в жизнь, приспособлявая к задачам дня. Но пока... Хотя Дюан и другие нью-йоркские покровители Гамильтона втихомолку одобряли планы их молодого протеже, обстановка для столь крупного поворота дел еще не созрела, центробежные тенденции в конфедерации были еще слишком сильны.



Заканчивался шестой год войны, четвертый год адъютантской службы, «а что сделано на поприще славы?» — спрашивал себя Гамильтон. «Сидение в адъютантах», не сулившее уже ничего нового и героического, начинало всерьез тяготить его. Честолюбие и возросшее за эти годы ощущение собственных возможностей восставали против режима беспрекословного подчинения Вашингтону, хотя и облеченного в безупречно джентльменскую форму. Гамильтон рвался на простор самостоятельности, неоднократно просился в бой, но каждый раз встречал непреклонный отказ главнокомандующего, которому он был гораздо нужнее в штабе.

В декабре 1780 года кандидатура Гамильтона была предложена на пост американского дипломатического представителя в Санкт-Петербурге, только что утвержденный конгрессом для налаживания отношений с Россией, и в первую очередь для присоединения США к «вооруженному нейтралитету» и заключения договора о дружбе и торговле между двумя странами. Посланником, однако, стал не Гамильтон, а массачусетский юрист Ф. Дейна, что в конечном счете обернулось благом для карьеры молодого адъютанта, ибо миссия Дейны оказалась весьма неблагодарной: участие США как воюющей страны в «вооруженном нейтралитете» было невозможно уже по формальным основаниям, равно как и подписание договора с нейтральной Россией, — к концу же войны и сами американцы стали опасаться принятия на себя дополнительных обязательств в отношении европейских государств. В итоге после двух бесплодных лет в Санкт-Петербурге Дейна был отозван назад.

Наконец, в начале 1781 года некоторые влиятельные знакомые, в том числе генерал Грин, решили продвинуть Гамильтона на недавно учрежденный пост суперинтенданта — главы финансового управления конгресса. Дж. Вашингтон, не предполагавший в своем адъютанте столь специфических талантов, ответил отказом: «Не могу сказать, как далеко он зашел в изучении этих вопросов, поскольку никогда не обсуждал их с ним».

Постепенно у Гамильтона накапливалось раздражение против своего начальника, блокировавшего, как ему казалось, все пути к его продвижению. Немалую роль в ухудшении их отношений сыграла и история английского майора Андрэ, осужденного осенью 1780 года на смертную казнь за шпионскую связь с предателем Бенедиктом Арнольдом. Гамильтон, всегда ставивший сословную солидарность превыше всего, был пленен манерами, образованностью и мужеством аристократа Андрэ — своего сверстника и умолял Вашингтона отменить приговор или хотя бы заменить позорную виселицу на расстрел. Вашингтон не без колебаний отказал — важнее всего было дать урок многочисленным шпионам и изменникам. Казнь Андрэ потрясла Гамильтона. С неподдельным возмущением он пишет невесте о «некоторых лицах», «чувствительных только к политическим соображениям», подразумевая Вашингтона.

Женитьба на Элизабет Скайлер укрепила положение Гамильтона и, по-видимому, придала ему решимости. После состоявшейся в декабре 1780 года свадьбы он ждал только повода для того, чтобы покинуть штаб Вашингтона. Как-то в феврале следующего года в ответ на замечание главнокомандующего, которое показалось бы иным рубакам приторной учтивостью — «Сэр, вы заставили меня ждать целых десять минут. Должен заметить, что вы обращаетесь со мной неуважительно». Гамильтон вспыхнул: «Я этого не считаю, но если вы так думаете, то нам лучше расстаться». Последовавшая вскоре попытка к примирению со стороны великодушного генерала не имела успеха и «не в силу возмущения, — объяснял Гамильтон своему тестю, — а по причине сознательного соблюдения правил, давно выработанных мною для собственного поведения. Я никогда не любил должность адъютанта».

Разрыв этот не имел серьезных последствий для их взаимоотношений в будущем. Вашингтон по-прежнему высоко ценил своего бывшего адъютанта, с годами доверял ему все больше. Тот в свою очередь очень дорожил этим расположением и сохранял полнейшую лояльность.

Временно оказавшись не у дел, Гамильтон не терял времени даром. Чувствуя себя человеком, которому открылась истина, он активно пропагандирует свои идеи среди посвященных. Одним из них был Роберт Моррис, богатый филадельфийский торговец, назначенный в марте 1781 года суперинтендантом. Именно на это ключевое место метил сам Гамильтон, и вот теперь он пробует оккупировать его хотя бы идейно. 30 апреля он отправляет Моррису внушительное послание, в котором суммирует все свои предложения. Оно подводит итог его исканиям военных лет.

«В современной обстановке, — пишет он, — здоровье государства, в особенности торгового, зависит от достаточного количества и регулярного обращения денежных средств, так же как состояние любого животного зависит от количества и обращения крови». Другая важнейшая проблема — необходимость восстановления государственного кредита. Этим, «а не победами в сражениях достигнем мы своей цели», — заявляет Гамильтон. Решить эти проблемы может только банк в сочетании с иностранными займами. Пусть иностранные и банковские кредиты раздуют государственный долг — он будет выплачен. Залогом тому — само развитие страны. «Наше население, — считает Гамильтон, — в ближайшие тридцать лет по крайней мере удвоится, нам гарантирован приток иммигрантов со всего света; соответственно будут расти торговля, богатство страны и ее доходы».

Более того, Гамильтон поворачивает проблему государственного долга с неожиданной, функциональной ее стороны. Он предвидит политические последствия государственного долга, который породит мощную центростремительную силу в виде материальной зависимости разбросанных по штатам кредиторов от центральной власти и прочно свяжет процветание денежных людей с судьбой их должника — государства. Словом, государственный долг явится благословением для страны, «прочнейшим цементом союза».

Благотворными, с точки зрения гамильтоновского технократического цинизма, будут и другие последствия государственного долга: «Он также вызовет необходимость поддержания налогов на уровне достаточно высоком, чтобы, не угнетая чрезмерно, они тем не менее служили шпорами к большому трудолюбию... Мы трудимся меньше, чем любая цивилизованная страна Европы, а привычка народа к труду столь же необходима для его физического здоровья, сколь и для благосостояния государства». В заключение Гамильтон возвращается к необходимости проведения политической реформы путем созыва «съезда всех штатов, полномочного окончательно и бесповоротно переделать существующую бесполезную и бессмысленную конфедерацию».

Письмо Гамильтона искренне порадовало Морриса. Это было блестящее подтверждение его собственных мыслей. Гамильтон при всех своих способностях вовсе не был одиноким провидцем. С конца 70-х годов по мере обострения финансово-экономического кризиса конфедерации в стране складывалась группировка так называемых «националистов» — тех слоев имущих классов, которые объективно были заинтересованы в укреплении централизованной государственной власти. Ее костяк составили представители крупной торговой и финансо-

вой буржуазии северо-восточных и центральных штатов, которые более всего нуждались в протекционизме государства и устойчивой финансовой системе. Ударной силой «националистов» стала многочисленная, порожденная войной прослойка держателей государственных бумаг, скупавших их по дешевке в надежде на последующую выплату государственного долга. Алчность делала их агрессивными — уже в конце 1780 года хартфордский съезд кредиторов Новой Англии потребовал ни много ни мало, как наделения Вашингтона диктаторскими полномочиями и введения федерального налогообложения. Видную роль на этом съезде играл и будущий тесть Гамильтона.

Влияние «националистов» значительно возросло в 1781 году. Они укрепились в конгрессе и захватили ключевые посты в реорганизованных под их же нажимом управлениях: заместителем Роберта Морриса на посту суперинтенданта стал Гавернир Моррис, секретарем по иностранным делам — У. Ливингстон, а военным министром — генерал Б. Линкольн.

Планы этих-то людей и предугадал в своих проектах Гамильтон, но был при этом решительнее и дальновиднее большинства из них. Ближе всех к Гамильтону по размаху замыслов стоял Роберт Моррис. Опытнейший коммерсант, волевой администратор и убежденный консерватор в политике, он на время стал одним из главных деятелей государства. Закрепившееся за Моррисом прозвище «финансиста революции» в какой-то степени отражало масштабы его деятельности: он распоряжался всеми иностранными займами, контролировал государственную внешнюю торговлю, а также военно-морское управление; руководил снабжением армии и финансовой политикой. При этом он, как и другие призванные на службу коммерсанты, умудрялся сочетать государственные дела с ведением собственного бизнеса, разумеется, не в ущерб последнему. «Я буду продолжать исполнять свои общественные обязанности, — заверял он своего партнера С. Дина, американского торгового представителя в Европе, — и одновременно обеспечивать собственное состояние теми честными и достойными методами, какие позволяет наше время; думаю, что и вы поступите так же». Так они и поступали. Что же касается методов, то время, а главное — высокие государственные посты позволяли им удивительно многое. Еще в 1776—1777 годах, когда Моррис ведал снабжением армии из-за рубежа, а Дин был его представителем в Париже, они создали подпольный международный торговый синдикат с участием английских, французских и голландских купцов и вели бойкую торговлю, в первую очередь с заклятым врагом — Англией. Зафрахтованные конгрессом американские суда бесплатно

везли в Америку дефицитные английские товары для собственной наживы, а армия задыхалась от нехватки вооружения и обмундирования. Когда же случалось, что суда приходили «впустую», то есть без контрабанды, с одним государственным грузом, Моррис просто выходил из себя. «...Вам придется раскаяться в том, что упустили такую прекрасную возможность составить себе состояние, — отчитывал он Дина. — Цены всех импортных товаров держатся на самом высоком уровне; я бы смог продать любое их количество с прибылью 500—700%». С помощью таких «честных» и «достойных» методов Моррис за годы войны стал одним из богатейших людей штатов: он финансировал революцию, а революция финансировала его.

Моррис и его группа, однако, не были просто барышниками. Не ограничиваясь набиванием карманов, они думали о завтрашнем дне — о создании крепкого буржуазного государства с прочной финансовой и политической системой под эгидой коммерческого капитала. Революция расчистила для них площадку, освободив от тяжелой руки метрополии; теперь надлежало возвести надежную государственную надстройку, перейти, как говорил сам Моррис, от «конвульсивных усилий энтузиазма к нормальному и здоровому функционированию государства и законности». «Требуются только решительность, организация и быстрота, чтобы превратить страну в настоящую империю», — вторил ему Г. Моррис.

В стратегии «националистов» первостепенное значение отводилось финансовым вопросам. «Финансы, мой друг, финансы, — писал в конце войны Р. Моррис Джею, — в них заключается все, что осталось от революции». Что касается политики, то наиболее нетерпеливые вроде Н. Грина ратовали за установление диктатуры, большинство же во главе с суперинтендантом предпочитало пока действовать через конгресс. Их планы во многом совпадали с гамильтоновскими: наделить конгресс правом налогообложения, что даст государству постоянный источник дохода и обеспечит выплату процентов по государственному долгу; учредить банк для создания национальной денежной и кредитной системы.

Уже через несколько недель после получения апрельского (1781 г.) послания Гамильтона Моррис пробил в конгрессе своей проект банка Северной Америки — урезанный вариант гамильтоновского. Суперинтендант сократил управленческий аппарат, реорганизовал систему снабжения армии, поставив ее на конкурентную основу. Кроме того, была централизована система реквизиций, которые теперь осуществлялись сборщиками налогов — агентами Морриса. Все это увеличило ежегодные поступления в казну от штатов до 2 миллионов

золотом в 1782—1784 годах вместо 1,2 миллиона в 1781 году. Недостаток доверия к государственному кредиту Моррис пытался компенсировать весьма своеобразно: выпуская новый вид бумажных денег — «банкноты Морриса», выписанные лично на него.

Но главные усилия «националистов» были направлены на обеспечение постоянного источника доходов для государства. Начало этому должна была положить 5-процентная пошлина на все ввозимые в страну товары — так называемый импост, предложенный Моррисом в начале 1781 года и подлежавший одобрению штатов. «Политическое существование Америки зависит от выполнения этого плана», — предупреждал конгресс Моррис, не слишком, по-видимому, преувеличивая, поскольку введение этого налога как косвенного и наиболее приемлемого рассматривалось как прецедент для введения всей последующей системы налогообложения.

Этим вопросам был посвящен специальный доклад суперинтенданта конгрессу 29 июля 1782 г. В нем он изложил свой план закрепления государственного долга. Прежние обесценившиеся обязательства предлагалось обменять по их нарицательной стоимости на новые долговременные, по которым государство гарантировало бы выплату процентов звонкой монетой на сумму около 2 миллионов долларов ежегодно. Для этого надлежало ввести четыре вида налогов: импост, поземельный, избирательный и налог на спиртные напитки. «Государственный заем, — внушал Моррис конгрессу в заимствованных у Гамильтона выражениях, — придаст государству стабильность, усиливая заинтересованность денежных людей в его поддержке... Государственный долг, обеспеченный государственным доходом, будет цементом, скрепляющим нашу конфедерацию».

План Морриса был сорван: конгресс отказал во всех налогах, кроме импоста, да и тот нужно было еще выпрашивать у штатов. Таково было положение дел у «националистов», когда к ним непосредственно присоединился Гамильтон.

Впрочем, мы несколько забежали вперед. Наш герой недолго наслаждался тихим семейным счастьем. Так и не дождавшись назначения в действующую армию, в июне 1781 года он сбежал из родового поместья Скайлеров — сонного Олбани в Добс-Ферри, где находился лагерь Вашингтона. Главнокомандующий, наконец, смягчился и дал ему батальон. В августе возник план совместного американо-французского окружения частей Корнваллиса, неосмотрительно занявшего очень невыгодную позицию у Йорктауна. Это сражение могло оказаться решающим, и Гамильтон с трудом выпросил у

Вашингтона опасное и почетное задание — взять английский редут, прикрывавший продвижение к главным силам Корнваллиса. В ночь с 14 на 15 октября в штыковой атаке — командир впереди — батальон Гамильтона овладел редутом. Это позволило продвинуть артиллерию вперед и после двух дней жестокого обстрела Корнваллис вынужден был капитулировать. Последний бой Гамильтона и последнее большое сражение континентальной армии! Исход войны был теперь предрешен.



Гамильтон, отшпигнувший под занавес от лаврового венка воинской славы и несколько успокоившийся, покидает армию. Он решил прежде всего найти для себя и семьи источник независимого существования. Полковник вновь берется за учебники и штурмом завершает свое юридическое образование. Уже в июле 1782 года, после сдачи экзаменов, он допускается к юридической практике в Нью-Йорке. Но даже и в этот напряженный для него период Гамильтон не покидает полностью политической арены. С июля 1781 по июль 1782 года в газете «Нью-Йорк пакет» выходит шесть больших статей под многозначительной подписью — «Континенталист». Все они пронизаны одной главной мыслью, сформулированной еще в упомянутом письме Дюану: больше власти континентальному конгрессу! В них Гамильтон детально разрабатывает всю свою аргументацию о слабостях конфедерации и необходимости укрепления центральной власти. Рассуждения «Континенталиста» обнажают тактику господствующего класса на неизбежной для всякой буржуазной революции фазе перехода от «конвульсий народного энтузиазма» к «закону и порядку».

Проблема в том, как вернуть «разгоряченные» освободительной войной и разрушением власти метрополии массы в безопасное для буржуазии законопослушное состояние. Самое надежное средство — твердая рука новой власти и закона. «Крайняя подозрительность по отношению к власти свойственна всем народным революциям и редко не оборачивается злом ... — подходит Гамильтон к сути вопроса. — История полна примеров того, как в борьбе за свободу такая подозрительность народа либо срывает попытки добиться свободы, либо впоследствии подрывает ее, опутывая государство чрезмерными ограничениями и оставляя слишком широкий простор для бунта и народных волнений. Для обеспечения длительной свободы в государстве не меньше внимания, чем охране прав общества, должно быть уделено приданию государству надле-

жащей степени власти для твердого осуществления законов. Так же как излишек власти ведет к деспотизму, ее недостаток приводит к анархии...» В этой серии статей Гамильтон первым выступил с развернутым обоснованием активной роли государства в развитии отечественной торговли и мануфактурного производства и их защиты от иностранной конкуренции — тема, которая станет одним из лейтмотивов в его последующей деятельности.

Гамильтон, разумеется, не стал посвящать широкую публику в наиболее сокровенные свои планы, он изложил лишь программу-минимум: передача конгрессу права регулирования торговли и налогообложения. Но и при этом «Континенталист» стал пропагандистским знаменем «националистов», чьи идеалы он так вдохновенно обрисовал в своем заключительном пассаже: «Есть что-то благородное и величественное в великой федеральной республике штатов, тесно сплоченных общей целью, умиротворенной и процветающей изнутри, уважаемой за пределами. Столь же ничтожно и презренно зрелище кучки небольших штатов, объединенных лишь видимостью союза, ссорящихся, капризных и подозрительных, лишенных определенного направления, несчастных дома, слабых и ничтожных в глазах других народов».

Не успел Гамильтон начать юридическую практику, как Р. Моррис навязал ему весьма неблагоприятную работу сборщика налогов в штате Нью-Йорк. Как ни усердствовал, как ни использовал Гамильтон все влияние семьи Скайлеров, легислатура штата не стала вводить предложенные им дополнительные налоги, а без них ему удалось собрать всего около 2% положенной квоты. Впрочем, в других штатах положение было не лучше. Единственное, что ему удалось достигнуть, — это провести через легислатуру резолюцию с предложением созыва специального съезда штатов для пересмотра статей конфедерации. Это был первый призыв такого рода, исходящий от штатов, первый небольшой шаг к принятию конституции 1787 года.

При всех неудачах и разочарованиях опыт этой работы не прошел для Гамильтона бесследно: он ближе познакомился с финансовым механизмом государства и окончательно убедился в бессмысленности попыток усовершенствования снизу. Поэтому он легко расстался с треклятой должностью, как только представилась первая возможность: в августе 1782 года нью-йоркская легислатура, не без стараний Ф. Скайлера, избрала его делегатом конгресса. Авторитет этого органа был уже так подорван, что это еще не давало особых видов на большую карьеру. Не случайно многие приятели Гамильтона бросили политику и занялись более многообещающими делами.

Один из них — Джеймс Макгенри писал ему тогда: «Сейчас нет ничего достойного вас. Делегация на мирные переговоры назначена, правительственные управления заполнены. Наши посланники за границей крепко засели в своих креслах... В конгрессе вы потеряете год драгоценного, как никогда, времени и с отвращением сбежите оттуда, чтобы возобновить свои занятия... Мы уже довольно пожертвовали на алтарь свободы; страна ныне не нуждается в наших услугах».

Подобные настроения посещали и самого Гамильтона, что видно из его письма Лафайету, написанного вскоре после избрания в конгресс. «Я собираюсь убить еще несколько месяцев на общественную жизнь, — пишет он, — после чего ухожу в отставку скромным гражданином и почтенным отцом семейства... Вы пожизненно обречены на погоню за славой. Я же сыт карьерой по горло и хочу просто жить». Но и сам Гамильтон был обречен на эту погоню не меньше, чем маркиз Лафайет. Нет, этот мир еще не устоялся, настоящее государство еще не создано, а уж он-то знает, каким ему быть. Впереди ждут великие свершения. «Грядет мир, мой друг, а с ним — новые дела, — пишет он Лоуренсу. — Цель в том, чтобы превратить нашу независимость в благословение. (Интересно, что эту же фразу через несколько месяцев дословно повторит Вашингтон в своем наказе штатам по случаю ухода в отставку. — В. П.) Для этого мы должны поставить наш союз на прочную основу — геркулесов труд, придется сравнять горы предубеждений! Он требует всех добродетелей и способностей страны. Оставь меч, дружище, надень тогу, явись в конгресс!» Он еще не знал, что Лоуренс убит в случайной перестрелке на юге. Никто и никогда уже не займет в сердце Гамильтона место, принадлежавшее другу военных лет.



В ноябре 1782 года Гамильтон прибыл в Филадельфию. Он застал конгресс в плачевном состоянии. Кворум собирался далеко не каждый день; когда же это случалось и после долгих препирательств принималось какое-нибудь решение, оно чаще всего повисало в вакууме безразличия штатов. Лидеры «националистов» в конгрессе — Г. Моррис, Дж. Вильсон, Дж. Мэдисон — вели ожесточенные арьергардные бои. Судьба всей их программы теперь целиком зависела от успеха импоста, который с большим скрипом продирался через легислатуры штатов. К осени 1782 года победа казалась близкой — оставалось получить санкцию всего двух штатов: самого маленько-

го — Род-Айленда и самого большого — Вирджинии. Но вдруг «моська» подняла голос — 30 ноября легислатура Род-Айленда ответила отказом. Этот торговый штат наживался на перепродаже товаров в соседний Коннектикут, не имевший собственного порта, и прижимистые родайлендцы не собирались поступать даже малой толикой своих прибылей. Для Гамильтона — новичка в конгрессе это был подходящий повод показать себя. Он незамедлительно возглавил кампанию по обузданию строптивного штата: предложил послать туда делегацию конгресса и составил ответ родайлендцам, в котором не оставил камня на камне от их оправданий. Но не успела делегация добраться до места, как в пути ее настигла весть — могущественная Вирджиния последовала примеру Род-Айленда, «импост-1782» приказал долго жить.

У «националистов» оставался еще один, последний источник надежды — голодная неоплаченная армия, состояние которой к исходу 1782 года достигло критической точки. Вздурораженные приближением конца войны офицеры требовали от конгресса обещанного им еще в 1780 году назначения пожизненной пенсии в размере половинного жалования; роптали и нижние чины, годами не получавшие денег, но конгресс оставался безучастным. «Терпение и долгие страдания армии достигли предела, — писал в октябре военному министру Б. Линкольну Вашингтон, специально оставшийся с частями на тревожную зимовку в Ньюбурге. — Дух недовольства еще никогда не был так силен, как сейчас».

29 декабря в Филадельфию прибыла делегация офицеров во главе с генералом Макдугаллом. Она представила конгрессу петицию с требованиями денежного расчета, в которой сквозь общий сдержанный тон пробивалась глухая угроза — «любые дальнейшие эксперименты по испытанию нашего терпения могут иметь фатальные последствия». «Националистов» осенила дерзкая мысль: превратить алчность крупных кредиторов и недовольство армии в таран для сокрушения сопротивления конгресса. «Армия держит в своих руках меч, — писал Г. Моррис Джею 1 января 1783 г., — и вы достаточно знакомы с историей человечества, чтобы знать больше, чем я сказал, и, возможно, больше, чем думает она сама». Гамильтон, сообщая в те же дни Клинтону о прибытии делегации Макдугалла и требованиях армии, обронил: «...Если взяться за дело должным образом, то эти требования можно повернуть на пользу дела».

Далее стали плестись нити сложной интриги, вошедшей в историю под названием «ньюбургского заговора». Г. Моррис и Гамильтон стали душой всего предприятия, проявляя редкое коварство и дерзость. Их ближайшая задача заключалась в том, чтобы, хорошенько напугав конгресс бунтом армии,

добиться утверждения уже намеченной программы. О дальнейших планах «националистов» нет прямых свидетельств; видимо, на том этапе эти планы и не были сформулированы. Но вряд ли заговорщики, заполучив в свои руки «меч армии», ограничились бы простым запугиванием конгресса, глубоко презираемого ими как ничтожный беспомощный орган. Да и ситуация в случае столь резкого поворота событий могла выйти из-под контроля и вынудить пойти по пути узурпации власти гораздо дальше, чем они намеревались. Впрочем, на грани краха они и так были готовы почти на все. Г. Моррис по крайней мере «утратил всякую надежду на то, что наш союз, — писал он в декабре 1782 года генералу Н. Грину, — может существовать в какой-либо иной форме, кроме абсолютной монархии, а она, судя по всему, решительно расходится со вкусами и настроениями народа. Неизбежным следствием этого может быть, если я не ошибаюсь, только одно — раскол, а потом и война». Началась обработка армейских делегатов. В переговорах Р. и Г. Моррисы склоняли их к мысли о необходимости объединения требований армии и частных кредиторов с целью установления прямого налогообложения как единственной гарантии удовлетворения требований офицеров. Делегаты вступили в письменные консультации по этим вопросам с генералом Г. Ноксом, сочувствующим «националистам».

24 января на сцену вышел сам «финансист революции». В закрытом обращении к конгрессу он пригрозил отставкой в случае непринятия системы налогообложения, установив срок до 1 мая. Через три дня Дж. Вильсон, поддержанный Гамильтоном, вновь передал программу «националистов» на рассмотрение конгресса. Опять начались словопрения, а тем временем 4 февраля конгресс наотрез отказал офицерам в пожизненной пенсии. Страсти накалялись; пора было подключать армию. Приятель Гамильтона Брукс срочно отправляется в Ньюбург с двумя посланиями Ноксу. В первом делегаты сообщали о роковом решении конгресса, во втором Г. Моррис просил Нокса выступить в поддержку гражданских кредиторов: «Пользуясь вашей терминологией, вы захватите форт, а кредиторы оккупируют его для вас». В обоих посланиях предлагалось потребовать от конгресса учреждения постоянных федеральных налогов.

Но Моррисы и К° прекрасно понимали, что даже при поддержке Нокса решающее слово в армии останется за Вашингтоном. Знали они и то, что шепетильный в отношениях с гражданской властью главнокомандующий не пойдет на сознательное участие в столь сомнительном предприятии. Следовательно, нужно заполучить его хитростью, искусно и предельно осторожно. И вот через несколько дней, когда вести

Брукса, по расчетам конспираторов, должны были возбудить армию, Вашингтон получает многозначительное письмо Гамильтона от 13 февраля.

Запугивая Вашингтона «небывало критическим состоянием финансов» и сетуя на «слабоумие» и «нерешительность» конгресса, он напоминал о «главной задаче дня — учреждении федеральных фондов», в решении которой «может помочь правильно направляемое влияние армии». Как бывший адъютант главнокомандующего Гамильтон отлично знал, что в аналогичных ситуациях Вашингтон всегда усмирлял армию, сам спорил с конгрессом и выжидал. Поэтому он стремился подать роль, предназначенную Вашингтону, в привычной тому упаковке. «Трудность будет состоять в том, — писал он, — чтобы удержать страдающую и стонущую армию в рамках умеренности. Здесь должно помочь влияние вашей светлости. Для этого было бы желательно не подавлять ее стремление добиться удовлетворения, а скорее через вмешательство доверенных и предусмотрительных людей направить это стремление». В постскриптуме, словно невзначай, Гамильтон рекомендовал Нокса как одного из «доверенных и предусмотрительных людей», видимо, на тот случай, если Вашингтон не захочет действовать сам.

Но заговорщики неверно оценили главнокомандующего. Он согласился с Гамильтоном в общей оценке ситуации, но при всей солидарности с целями «националистов» предлагаемое средство казалось ему страшнее самой болезни. Лучшие политиков зная, что армия — это опасный инструмент, он разглядел во внешне безобидном намеке Гамильтона «фатальные последствия»: открытое противоборство армии с конгрессом «приведет к гражданским волнениям и закончится кровопролитием. Что за ужасающая перспектива! Спаси нас бог от нее!» То, что в обозначившемся тупике гражданской войны ему маячила корона монарха или власть диктатора, не меняло дела. Принцип верховенства гражданской власти и невмешательства армии в ее дела всегда оставался для Вашингтона незыблемым: «Я буду следовать той линии поведения, которой придерживался всю жизнь... — писал он, — было бы неполитично вмешивать армию в эти дела, это может возбудить подозрения и иметь обратный эффект». Конгресс, считал Вашингтон, и так будет вынужден пойти на уступки.

Конспираторы, однако, не теряли надежды и продолжали агитацию в армии. Расчет делался на то, что волнения в ней не оставят Вашингтону иного выхода, кроме как солидаризироваться с требованиями армии. Одновременно шло запугивание конгресса — темные угрожающие слухи ползли отовсюду.

20 февраля Мэдисон заносит в дневник разговор группы конгрессменов с участием Гамильтона и его единомышленника Р. Питерса. «Гамильтон и Питерс информировали собравшихся о том, что армия наверняка тайно решила не складывать оружия до тех пор, пока не выяснится ситуация с ее оплатой». Ярый противник группировки Р. Морриса Артур Ли сообщал из Филадельфии Самуэлю Адамсу: «Запущены все двигатели для того, чтобы добиться постоянных налогов. Ужас перед взбунтовавшейся армией обыгрывается весьма эффективно».

«Националисты» очень спешили. Время работало против них, ибо со дня на день ожидалось сообщение из Парижа о подписании мирного договора с Англией и тогда — прощай, призрак внешней угрозы, столь необходимый для осуществления их планов. Роберт Моррис откровенно делился со своими коллегами: «Как патриот я желал бы продолжения войны до тех пор, пока центральное правительство не получит больше власти». Его однофамилец и заместитель называл войну не иначе, как «большим другом суверенной власти».

Поэтому Р. Моррис пошел на крайний шаг. 28 февраля он обнародовал свой ультиматум конгрессу в зетах, 8 марта дополнив его предложением установить крайний срок выплаты штатами своих квот государственного долга, а в случае неисполнения (как он прекрасно знал, абсолютно неизбежного) — перевести всю сумму долга на счета конгресса и ввести федеральные налоги. Противники легко разгадали ход Морриса и не собирались попадаться на крючок. «Здесь, конечно, кроется маневр с целью навязать штатам систему консолидации долга, в которой м-р Моррис и его друзья так глубоко заинтересованы», — писал Ли Самуэлю Адамсу.

Поскольку генерал Нокс по здравом размышлении отказался от предложенной ему роли, то заговорщики решили выставить в качестве сеятеля смуты генерала Гейтса. Он давно ненавидел Вашингтона и, не ведая о двойной игре хитроумных политиков, усмотрел в планах заговорщиков возможность сместить его. Эмиссар «националистов», бывший адъютант Гейтса полковник Стюарт прибыл в Ньюбург 8 марта, а 10-го по лагерю были распространены анонимные листовки, в сильных и доходчивых выражениях рисовавшие плачевное будущее ветеранов и призывавшие армию бойкотировать конгресс до полной его капитуляции. Их автором, как выяснилось позднее, был майор Джон Армстронг, 24-летний адъютант Гейтса. Через день последовало обращение к офицерам, в котором предлагалось созвать общий сбор для обсуждения плана действий. Возбуждение офицерства дошло до крайности.

Вашингтон был предельно встревожен: армия грозила выйти из-под контроля. 12 марта, описав в письме Гамильтону развитие событий, он требует, чтобы конгресс сделал «хотя бы что-нибудь», иначе возможны «разрушительные последствия». Вашингтон уже начал угадывать общие контуры заговора. «Во всем этом есть что-то очень таинственное.. — продолжал генерал. — Многие убеждены, что весь план зародился и оформился в Филадельфии... Все было устроено с большим искусством: когда умы офицеров были, как считалось, подготовлены к действиям, появились анонимные подстрекательства...» Подтверждались худшие опасения главнокомандующего: филадельфийские интриганы явно собирались использовать его любимое детище — армию «в качестве простой марионетки для учреждения континентальных фондов». Поэтому, оценив обстановку, он стал действовать решительно, но вовсе не в том направлении, на какое рассчитывали Моррисы и Гамильтон.

Неожиданно явившись на сбор офицеров, где председательствовал Гейтс, он чудом сумел усмирить их, и дело закончилось принятием мирной петиции конгрессу с выражением лояльности армии. Пузырь заговора лопнул; окончательно сразила «националистов» весть о мире, достигшая Филадельфии в середине марта.

13 июня Вашингтон по настоянию конгресса распустил армию, при этом офицеры получили пятилетнее, а солдаты — трехмесячное жалование.

Конгресс остался глух к прощальной просьбе главнокомандующего, поддержанной Гамильтоном и другими «националистами»: сохранить хотя бы ядро армии в 2,6 тысячи человек и ввести военную подготовку для гражданских лиц, заявив, что «регулярная армия в мирное время несовместима с принципами республиканского правления». Было оставлено лишь около сотни солдат для охраны военных складов в Вест-Пойнте и Спрингфилде.

Теснимые в конгрессе «националисты» откатывались на исходные позиции. В апреле были приняты крохи их обширной программы: введен импост и утверждены его сборщики по штатам. В отличие от большинства единомышленников, Гамильтон голосовал против импоста. «Дух компромисса еще более усугубит положение», — поясняет он Клинтону. На него нахлынуло прежнее отвращение к конгрессу и политике вообще; он просит срочно прислать замену: «Не имея никаких видов на общественную деятельность в будущем, я обязан перед самим собой всецело и безотлагательно заняться своими личными делами». Другие «континенталисты» тоже спешили покинуть тонущий корабль. Ушли в отставку Р. Ливингстон и Б. Лин-

колья, фактически отстранился от дел Роберт Моррис, отказался проллить свое пребывание в конгрессе Дж. Мэдисон.

Но их ожидало еще одно, последнее унижение: 80 взбунтовавшихся нижних чинов, проникших из Ланкастера в филаделфийские казармы, увлекли за собой еще несколько сот солдат и 20 июня осадили здание Стейт-Хауз, в котором заседал конгресс. Три часа озлобленные солдаты продержали «избранников народа» в душном зале. Можно представить, с каким чувством смотрел Гамильтон на просунутые в окна штыки и грызущихся между собой конгрессменов — это был гротескный шарж на его собственные планы использования армии.

Вдоволь насладившись зрелищем перепуганных законодателей, солдаты отпустили их на все четыре стороны под улюлюканье горожан. Дабы избежать «новых оскорблений достоинства и авторитета Соединенных Штатов», конгресс постановил перебраться в Принстон. В бумагах Гамильтона сохранился проект резолюции о созыве конституционного съезда с пометкой: «Планировалась к выдвижению в конгрессе (Принстон, 1783 г.), но отложена ввиду отсутствия поддержки». Да, игра была проиграна, и с этим нужно было мириться. Негодование сменяется фатализмом. «Каждый день доказывает никчемность нынешней конфедерации, — пишет Гамильтон Джею в июле, — и все же мы с исчезновением общей угрозы не усиливаем, а утрачиваем решимость устранить ее дефекты... Остается надеяться, что, когда глупость и предрассудки исчерпают себя, мы вспомним о здравом смысле и исправим наши ошибки. После службы в армии в годы войны я прошел недолгое ученичество в конгрессе, но теперь, когда приближается освобождение Нью-Йорка, собираюсь оставить общественную жизнь и заняться юридической практикой». Гамильтон сменил тогу на судейскую мантию.



Нью-Йорк в то время был раем для юристов. Прежняя судейская каста, состоявшая в основном из тори, сильно поредела, а за время войны накопилось множество дел. На этом послевоенном буме уже делали карьеру А. Бэрр, Р. Трауп, Дж. Джей, Р. Кинг. Гамильтон пустился вдогонку.

В годы войны Нью-Йорк — главная база англичан — стал пристанищем лоялистов всех штатов. Они благоденствовали под английским флагом, а изгнанные из города патриоты вынашивали планы мести предателям. Губернатор Клинтон

покаялся, что «скорее будет вечно жариться в аду, чем пощадит проклятых тори». Уже в 1779 году легислатура штата приняла закон о конфискации имущества лоялистов. За этим законом в 1782—1783 годах последовали другие: об отмене долговых обязательств по отношению к лицам, находящимся «в стане врага», и о «нарушении границ», в соответствии с которым лицо, чья собственность в зоне английской оккупации была захвачена или использована другими, имело право привлечения их к суду.

Эвакуация англичан в ноябре 1783 года развязала руки патриотам, и оставшиеся в городе лоялисты скоро испытали недавнюю участь своих противников. Большая их часть бежала, опасаясь преследований; только в 1783 году через Нью-Йорк выехало 29 тысяч человек — люди, как правило, состоятельные. «Мы уже потеряли слишком много ценных граждан», — с тревогой писал Гамильтон Дюану. Происходящее было противно ему вдвойне: преследовались не просто вчерашние друзья по Королевскому колледжу, а «ценные» в прямом смысле слова люди, богатства и убеждения которых, по мнению Гамильтона, составляли опору общества. Действия патриотов казались ему совершенно бессмысленными и вредными с экономической точки зрения, ведь каждый из эмигрирующих торговцев «может увезти с собой восемь-десять тысяч гиней». «Наш штат, — негодовал Гамильтон, — еще лет двадцать по крайней мере будет ощущать последствия этого народного сумасшествия».

На борьбу с этим «народным сумасшествием» и бросился Гамильтон, как писал его биограф Г. К. Лодж, со всем свойственным ему «пренебрежением к настроениям народа». Он не только энергично отстаивает имущественные интересы тори в суде, но и поднимает в печати кампанию против принятия новых репрессивных законов, в частности против закона о лишении лоялистов избирательных прав. В январе 1784 года в газетах появилась серия «Писем» под псевдонимом «Фосион» — по имени афинского деятеля, который за свое милосердие к побежденным был приговорен мстительными согражданами к смерти. «Фосион»-Гамильтон проявляет немалую изобретательность, доказывая необходимость всячески ублажать лоялистов: «Самая надежная опора любого правления — личные интересы людей. Все политические посылки, чтобы оставаться справедливыми, должны исходить из этого принципа человеческой природы. Сделайте так, чтобы гражданам, которые в революцию были нашими врагами, стало выгодно быть друзьями нового государства. Предоставьте им не только защиту, но и возможность участия в его жизни и привилегиях, и они, несомненно, станут таковыми».

В главном Гамильтон всегда был на редкость последователен: государство держится на корыстной заинтересованности состоятельных людей в его существовании, а значит они неприкосновенны.

Но широкой нью-йоркской публике внезапное превращение храброго «солдата революции», патриота с безупречной репутацией в ярого защитника тори казалось необъяснимым. «Нью-Йорк джорнэл» напечатал «Письмо Лисандру» (полковнику Гамильтону), в котором вопрошалось:

Неужто ты, Лисандр, стоявший так высоко,
Забудешь честь свою и прежние заслуги,
Опустишься до козней и уверток правосудия
В делах, роняющих твое бывшее имя?*

Венцом добровольной миссии по защите лоялистов стало прогремевшее на всю страну дело «Рутгерс vs Вадингтон». В феврале 1784 года вдова Элизабет Рутгерс подала в муниципальный суд Нью-Йорка на Дж. Вадингтона — совладельца английской фирмы «Вадингтон и Пьерпонт». Суть дела сводилась к следующему: в 1776 году она как истинная патриотка покинула город и свою пивоварню, которую заняла и стала эксплуатировать фирма Вадингтона с одобрения английского военного командования. К концу войны пивоварня сгорела, а вернувшаяся хозяйка потребовала в качестве компенсации 8 тысяч долларов — в назначенную ею сумму входила стоимость самого предприятия, а также произведенной на нем за эти годы продукции.

Это было первое крупное дело, проходящее по закону о нарушении границ, которое должно было установить прецедент для решения сотен других, ему подобных. Весь Нью-Йорк с волнением ожидал процесса: бедная вдова против мерзких толстосумов-узурпаторов, да еще англичан. Стоит ли говорить, что симпатии большинства принадлежали миссис Рутгерс; представляли ее лучшие адвокаты — Р. Трауп, У. Вилкокс. Страсти накалились еще больше, когда стало известно, что в роли «адвоката дьявола» выступит Гамильтон.

В это, казалось бы, безнадежное дело он вложил всю силу своего интеллекта и талант юриста. Как бы намереваясь превратить процесс в референдум по вопросу о преследовании тори и законности вообще, он подкреплял свои выступления в суде публикациями в прессе — новыми «Письмами Фосиона». Гамильтон построил свою защиту на двух основных доводах. Во-первых, по нормам международного права захват

* Здесь и далее стихи в переводе автора.

собственности для нужд армии в военное время не считался противозаконным. Во-вторых, мирный договор между США и Англией в статье 6 предусматривал взаимный отказ от имущественных претензий, возникших во время или в результате войны. Поскольку адвокаты Рутгерс ссылались на суверенитет штата в вопросах внутреннего законодательства, все дело уперлось в соотношение законов штата и конфедерации в целом.

Для Гамильтона это был лишь юридический аспект давно решенного им вопроса о верховенстве центральной власти. Условия мирного договора, убеждал он, являются обязательными для штатов потому, что, делегировав, согласно «статьям конфедерации», конгрессу права на заключение международных договоров, они тем самым автоматически делегировали ему и полномочия по обеспечению их соблюдения.

Соблюдение договора — вопрос национальной чести, писал Гамильтон во втором «Письме Фосиона»; его нарушение даст Англии повод к ответным действиям, которые будут иметь пагубные последствия для торговли и безопасности страны: «важнейшие интересы будут принесены в жертву низким эгоистическим чувствам мести немногих». Ему нельзя было отказать в логике, но нетрудно заметить, что в данном случае обостренный легализм и шепетильность в вопросе национальной чести были направлены на восстановление незыблемого «закона и порядка» — в противовес справедливому возмущению патриотов. Ссылки на чрезвычайные времена неоправданны, утверждал Гамильтон, так как «сейчас мы не в стремительной революции, но, напротив, благополучно привели ее к счастливому завершению; у нас есть конституция, и мы обязаны следовать ей».

Из посылки о верховенстве федерального закона над законом штата вытекало как следствие признание за судом права отмены законов штата в случае их противоречия конституции — в данном случае закона о нарушении границ.

Умелая защита сделала свое дело. Мэру Дюану пришлось проявить уйму изобретательности, чтобы придать решению суда характер компромисса. Миссис Рутгерс получила компенсацию только за начальный период использования злополучной пивоварни, дальнейшая же ее эксплуатация была признана законной в соответствии с нормами международного права. Но скрытый юридический смысл решения был тем не менее ясен: закон штата не всесилен и суд имеет право изменить его. В историю юридической практики США дело «Рутгерс vs Вадингтон» вошло как один из первых и важных прецедентов судебного конституционного контроля. Еще более важным был исход дела в политическом смысле: «увлекшихся» патрио-

тов поставили на место, заставив их, по выражению историка Дж. Миллера, «задуматься над вопросом о том, кто же победил в этой революции». Во всяком случае тори не проиграли.

В результате этого процесса преследование лоялистов осложнялось, а через несколько лет репрессивные законы были отменены полностью.

Гамильтон, осыпавший проклятиями простолюдинов (городское общество ремесленников публично окрестило этого «маленького напыщенного юнца» лисой, «а не Фосионом»), принимал поздравления от Вашингтона, Джея и др., новые заказы благодарных тори. С тех пор и начала складываться публичная репутация Гамильтона — защитника богатей, врага простонародья.

Занятый обширной судебной практикой, Гамильтон окунулся и в давно привлекавшее его банковское дело. Еще в конце 1783 года богатейшие торговцы страны — И. Уотсворт и шурин Гамильтона — Джон Чёрч попросили его содействия в организации банка в Нью-Йорке. Он с энтузиазмом принялся за дело, составил устав и стал одним из организаторов банка Нью-Йорка, который открылся в июне 1784 года. Не обладая собственным капиталом, он лишь представлял в нем интересы Уотсворта и Чёрча. Ярый патриот генерал Макдугалл стал директором, а столь же рьяный экс-лоялист У. Сэттон — главным кассиром. Деньги выше убеждений! Созданный богачами для нужд богачей банк Нью-Йорка процветал долгое время, наживаясь на краткосрочных кредитах торговцам и промышленникам.

Поглощенный судебными и банковскими делами, Гамильтон устранился от активной политической жизни. Вся его общественная деятельность теперь исчерпывалась председательствованием в нью-йоркском отделении Общества Цинцинната, в которое входили бывшие офицеры континентальной армии, стремившиеся поддержать корпоративный дух военной аристократии.

Только раз — весной 1785 года, перед очередными выборами в легислатуру штата, которые давали надежду на ослабление влияния сторонников губернатора Клинтонна, Гамильтон оторвался от дел и вспомнил о политике. В письме Роберту Ливингстону, обращаясь ко всем, «кто озабочен безопасностью собственности или процветанием государства», он призывает «провести в легислатуру людей, чьи принципы не имеют уравнительного свойства».

И хотя эти выборы остались за консерваторами («Объединив интересы Ранселяров, Скайлеров и нашей семьи.., — общал Ливингстон, — мы протащили всех наших до единого»),

вопрос о том, кому править в стране, да и в самом Нью-Йорке был далек от окончательного разрешения.

Окончание освободительной войны вовсе не означало завершения революции, как бы того ни хотелось ее официальным лидерам. Освободительное движение вызвало резкий подъем демократических настроений в массах. Народ, вынесший всю тяжесть борьбы, не собирался мириться со своим прежним несправедливым положением. Один из пленных английских офицеров описывает в своих мемуарах следующую картину, характерную для тех времен. В особняк вирджинского плантатора полковника Рэндольфа, у которого квартировал англичанин, вваливаются трое простых фермеров. Они спокойно подсаживаются к отдыхающим у камина джентльменам, «сморкаются, обстукивают свои деревянные башмаки и только потом приступают к разговору о деле». Когда «нахалы» ушли, хозяин извиняющимся тоном откомментировал: «Дух независимости неизбежно обратился в дух равенства, и каждый, кто носил оружие, считает себя ничуть не хуже любого другого... Без сомнения, любой из этих людей чувствует себя равным мне во всех отношениях».

Таковы были неизбежные для буржуазии издержки той единственной, как писал К. Маркс, узурпации, которую буржуазия позволяет трудящимся, — «узурпации борьбы». Лозунги прав человека, народного суверенитета, права на революцию и т. п., поднятые на щит для борьбы с Англией, теперь бумерангом ударили по самим власть имущим. «Народ, — сетовал один из консервативных политиков Массачусетса Фишер Эймс, — повернул против своих учителей доктрины, внедренные для осуществления революции». Принципы, сформулированные в Декларации независимости, и в первую очередь принцип народного суверенитета, стали для простого люда не философской абстракцией, а практическим руководством к действию. Памфлеты Томаса Пейна, который переложил отвлеченные философские понятия на простой и яркий язык, лучше всего отражали эти радикально-демократические настроения. В их основе лежала простая и великая истина: только народ способен и должен решать судьбы государства.

Конституционное творчество первых военных лет испытало на себе сильное влияние этого эгалитарно-демократического духа. Лучший тому пример — конституция Пенсильвании 1776 года, в составлении которой участвовали Б. Франклин и Т. Пейн.

Ее преамбула почти дословно повторяла слова Декларации независимости о праве народа на смену правления. Билль о правах предоставлял гарантии соблюдения неотъемлемых человеческих прав: голосования, права на справедливый суд,

свободу вероисповедания, прессы и слова, права собрания, петиций и т. п. Однопалатная легислатура избиралась всеми налогоплательщиками старше 21 года. Вместо поста губернатора учреждался коллективный орган исполнительной власти, обновляемый ежегодно на треть и избираемый на тех же основаниях.

Пенсильванская конституция была лишь крайним выражением общей тенденции. Конституции большинства штатов содержали билль о правах; везде, кроме Делавэра, Нью-Джерси и Южной Каролины, губернатор подлежал ежегодному избранию, а его право вето резко ограничивалось; во всех штатах, кроме Южной Каролины, нижние палаты ежегодно переизбирались. Вместе с Пенсильванией Джорджия, Северная Каролина и Нью-Гемпшир ликвидировали имущественные избирательные цензы.

В результате состав легислатур штатов за годы войны значительно демократизировался, новые конституции открыли их двери для среднего и даже мелкого фермерства. В легислатурах Нью-Йорка и Нью-Гемпшира, например, доля богатейших землевладельцев (с состоянием свыше 5 тысяч фунтов стерлингов) упала с 43 до 15%, а удельный вес среднего фермерства вырос с 15% до 50%.

Не удивительно, что легислатуры многих штатов проводили политику, отвечающую интересам фермерства. Они выпускали бумажные деньги, облегчавшие участь должников-фермеров, и принуждали кредиторов принимать эти обесцененные бумаги в уплату за долги; облагали повышенными налогами торговцев и предпринимателей, регулировали цены, преследовали лоялистов, демонстрируя, на взгляд имущих классов, нехватку «мудрости и устойчивости», которая, по словам Мэдисона, стала «предметом возмущения во всех наших республиках».

Состоятельному меньшинству зачастую было не к кому апеллировать: полномочия губернаторов были резко ослаблены, а суды, подчиненные легислатурам, фактически бездействовали. В 1779 году Джон Адамс занес в дневник описание встречи со знакомым фермером, который радостно сообщил ему, что местный суд распушен. «Половину, если не больше, населения страны составляют должники, — размышлял над последствиями Адамс, — и если власть в стране попадет им в руки, а такая опасность очень реальна, то во имя чего мы принесли в жертву наше время, здоровье и все прочее? Мы непременно должны защищать себя от такого духа и принципов, иначе нам придется полагаться о содеянном».

Устами Адамса говорила осторожная американская буржуазия, стремившаяся обеспечить независимость страны с

минимальными внутренними потрясениями и изменениями. Даже многие убежденные республиканцы были озабочены результатами «демократического эксперимента». Исповедуя культ народа как единого органического целого, кроткого и добродетельного, в годы революции они увидели реальность — народ, вышедший на историческую авансцену, увидели и отшатнулись. Б. Франклин — и тот был встревожен опасностью слева: «До сих пор мы боролись со злом, более присущим старым государствам, — чрезмерной властью правителей, но сейчас опасность заключается в отсутствии повиновения у подданных».

Перед лицом действующей демократии таяли остатки демократических иллюзий буржуазии. Не успели просохнуть чернила на Декларации независимости, как началась ревизия ортодоксального республиканизма в сторону усиления исполнительной и судебной власти, укрепления механизма «сдержек и противовесов», ограничения избирательных прав и т. п., которая позже завершилась принятием конституции США.

Эта ревизия выдавалась за «развитие» революционных принципов — права народа оставались по-прежнему «священными», но теперь их нужно было охранять от «деспотизма легислатур» и «анархии демократии», то есть от самого народа, который оказался недостаточно благонамеренным. Возникавшие при этом определенные логические затруднения преодолевались в духе поучений известного в Новой Англии священника Белнапа: «Установим в качестве принципа, что правительство исходит от народа; но будем учить его, что он неспособен управлять собой».

Помимо чисто политических существовали и другие факторы активизации движения за централизацию государственной власти. Торговля после окончания войны начала развиваться довольно быстро, но ее дальнейший рост наткнулся на ряд препятствий. Англия, по-прежнему главный торговый партнер США, запретила им прямую торговлю с Вест-Индией и наращивала свой экспорт, умело используя чересполосицу штатных тарифов. Дефицит торгового баланса с Англией в 1784—1785 годах составил 3,5 миллиона долларов. Переговоры о торговом договоре с Испанией зашли в тупик, когда та выставила условием получение прав судоходства по Миссисипи. Это вызвало секционный раскол: южные штаты высказались против, а торговые восточные — за.

Существование многочисленных штатных тарифов и отсутствие у конгресса полномочий по регулированию торговли исключали возможность проведения единой государственной внешнеторговой политики для организованного противодействия протекционизму других стран. Многочисленные петиции

торговцев и другие попытки наделить конгресс такими полномочиями не имели эффекта.

Промышленное производство Америки, освобожденное от английских ограничений и подстегнутое нуждами войны, также быстро развивалось. Главной проблемой первых американских промышленников была конкуренция английских товаров на внутреннем рынке, которая, учитывая низкое качество и высокую себестоимость местной продукции, могла быть ослаблена только протекционистскими мерами. В этом их поддерживали рабочие и ремесленники, чье существование всецело зависело от развития отечественного фабричного производства. В 1785 году собрания промышленников и ремесленников ведущих промышленных центров — Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона потребовали введения единого протекционистского тарифа на английский импорт и принятия ограничительного закона о судоходстве, который покровительствовал бы американским судам. Но попытки конгресса провести эти меры провалились, встретив сопротивление Род-Айленда и Северной Каролины.

У конфедерации не было ни средств для обеспечения соблюдения заключенных договоров, ни полномочий для создания постоянной армии.

В пользу централизации власти говорила и внешнеполитическая слабость конфедерации, правительство которой пользовалось весьма скромным авторитетом даже у союзников США, не говоря уже об Англии. Эта же слабость препятствовала осуществлению дальнейшей территориальной экспансии США, проведению устойчивой целенаправленной внешней политики.

Но в самом незавидном положении находились государственные финансы. В 1784—1785 годах реквизиции по штатам в твердой валюте дали лишь 0,5 миллиона долларов, в 1786 — менее 200 тысяч долларов. Спасением оказался голландский заем 1784 года в 1 миллион долларов, но и этих средств не хватало на содержание государственного аппарата и выплату процентов по иностранному долгу. В 1786 году конгресс был вынужден приостановить выплату процентов по французскому займу, хотя в следующем году надлежало перейти к выплате его основной суммы. В 1786 году у конгресса не нашлось даже 1 тысячи долларов для укрепления важнейших форпостов в Огайо. Дело усугублялось расстройством денежной системы. Утечка золота за границу как следствие дефицита торгового баланса и требования должников заставили некоторые штаты вновь прибегнуть к выпуску бумажных денег в качестве законного платежного средства — к 1785 году таких штатов было уже семь.

При всем этом общее состояние экономики не вызывало серьезных опасений. Рост сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства, развитие междуштатной торговли, быстрый прирост населения, обилие ресурсов — все это закладывало основу для успешного экономического развития в будущем. Так были ли годы конфедерации «критическим периодом» для страны, как их стали именовать с легкой руки историка конца XIX века Джона Фиске? Безусловно — если взглянуть на них глазами «националистов». «Наши дела, видимо, идут к какому-то кризису, революции, чему-то, чего я не могу предвидеть или угадать, — писал в июне 1786 года Вашингтону Джей. — Я встревожен сейчас даже больше, чем во время войны».

О каком кризисе упоминал Джей? Никакого качественного ухудшения ситуации в это время не наблюдалось. И тем не менее, с точки зрения «националистов», кризис, действительно, надвигался. Именно к лету 1786 года под ударом оказались остатки их планов — государственный долг и импост, до последнего времени питавшие их надежду на перестройку конфедерации.

Государственный долг был закреплен за конгрессом, но он не имел возможности выплачивать его. После краха попыток Морриса консолидировать долг кредиторы обратились к властям штатов. Те стали принимать федеральные долговые обязательства в уплату за налоги и землю, то есть фактически выкупать их. Другой способ заключался в обмене этих обязательств на аналогичные бумаги штатов; тем самым государственный долг, дробясь, превращался в долги штатов.

Так в 1784—1786 годах поступили legislatures Пенсильвании, Мэриленда и Нью-Йорка. Их примеру собирались последовать и другие штаты. Государственный долг — «цемент союза» — таял, как снег весной. К лету 1786 года штаты выкупили федеральных бумаг на 8 миллионов долларов — почти треть всего долга.

Растворение государственного долга подрывало правомочность импоста, предназначенного по идее для его погашения. Очередной импост, рекомендованный еще в 1783 году, совершая свой тернистый путь по штатам, весной 1786 года застрял в Нью-Йорке. Таможенные поступления составляли половину доходов штата, и пожертвование части их конгрессу повлекло бы за собой необходимость повышения других налогов, в первую очередь — на землю. Поэтому аграрное крыло Клинтона вопреки агитации Гамильтона и Скайлера в мае 1786 года выставило, по существу, неприемлемые для конгресса условия ратификации импоста. К тому же выяснилось, что его ратификация Пенсильванией и Делавэром также содержала неприемлемые оговорки. Импост был погребен окончательно. В августе конгресс уже обсуждал планы распределения федераль-

ного долга по штатам — исчезало последнее оправдание укрепления центральной власти. Время «националистов» истекло.

Между тем никаких средств координации их усилий в национальном масштабе выработано еще не было. В 1785 году в Маунт-Верноне — поместье Вашингтона — встретились представители Вирджинии и Мэриленда для обсуждения вопросов навигации по Потوماку. Там было решено устраивать подобные конференции с привлечением других штатов для утряски торговых разногласий между ними. Мэрилендцы вскоре пригласили представителей Делавэра и Пенсильвании, а Вирджиния предложила созвать для этих целей конференцию всех штатов в Аннаполисе в сентябре 1786 года. «Националисты» с радостью ухватились за эту затею, рассчитывая наполнить ее политическим содержанием. От Нью-Йорка было избрано шесть их представителей, включая Гамильтона. Другие, разделяя их намерения, не питали особых надежд. За месяц до конференции Мэдисон писал Т. Джефферсону: «Многие в конгрессе и вне его хотят превратить эту встречу в подготовительную для созыва полномочного конгресса с целью изменения «статей конфедерации». Хотя и я желаю того же, но в нынешних кризисных условиях настолько сомневаюсь в возможностях осуществления этого, что не заглядываю дальше торговой реформы». Отказался приехать в Аннаполис Вашингтон, пояснив — время не настало: «Люди еще не доведены до такого состояния, чтобы взяться за преодоление своих ошибок».

Пессимизм этот оказался обоснованным. В Аннаполис прибыло лишь 12 человек из пяти штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэра и Вирджинии. Серьезного разговора не получилось, делегаты уныло собирались разъезжаться по домам, но Гамильтон не хотел примириться с нулевым результатом: и в условиях провала из конференции нужно выжать все, что можно. Он предложил расширить мандат встречи и от ее имени призвать штаты созвать новый съезд, на этот раз — для изменения государственного устройства.

Многие делегаты возразили против столь решительного тона, и Гамильтону пришлось уступить. Окончательный текст обращения аннаполисской конференции, скорректированный Мэдисоном, звучал весьма неопределенно: в мае следующего года предлагалось созвать в Филадельфии съезд представителей всех штатов для «рассмотрения положения в Соединенных Штатах и разработки таких дальнейших мер, которые окажутся необходимыми для приведения федеральной власти в соответствие с нуждами союза». Этой резолюции суждено было стать формальным основанием конституционного съезда 1787 года, выработавшего окончательную государственную структуру США. Гамильтон, по единодушному мнению его апо-

логически настроенных биографов, «поднял занавес» этого съезда. Но его действия в Аннаполисе приобрели видимость прозорливости только при ретроспективном взгляде. Тогда он действовал наугад и, как и все участники встречи, не ожидал столь внушительных последствий. Конгресс даже не стал рассматривать резолюцию, похоронив ее в одном из своих комитетов, откуда она была извлечена только в результате неожиданного разворота событий.

Вернувшись из Аннаполиса, Гамильтон застал Нью-Йорк в возбуждении: все только и говорили, что о серьезных волнениях в Массачусетсе. Кризис там назревал уже давно. Местные консерваторы, воспользовавшись антидемократической конституцией 1780 года, овладели легислатурой и принялись наводить порядок. Их план погашения долга штата в угоду крупным кредиторам предусматривал выплату процентов по нему в звонкой монете, которую предполагалось собрать при помощи невыносимо высоких налогов, примерно в четыре раза превышающих налоги в других штатах Новой Англии. Частные же долги должны были выплачиваться не по прямому курсу обесценившихся бумажных денег, а по их первоначальной нарицательной стоимости. Большинству должников это было не по карману, и тогда их собственность конфисковывалась в судебном порядке по грабительски заниженным ценам. После петиций и протестов терпение бедняков лопнуло, и в октябре разразилось восстание под руководством бывшего капитана континентальной армии — бедного фермера Даниэля Шейса.

Восставшие числом более тысячи осадили здание окружного суда в Спрингфилде и парализовали работу судов во всей округе. Они требовали снижения налогов и ликвидации долговой тюрьмы. Бунт разгорался все сильнее: был образован повстанческий комитет, налажено военное обучение. Насмерть перепуганные бостонские богачи снарядили за свой счет карательный отряд генерала Б. Линкольна (в конгрессе денег на это не нашлось), который в конце января занял Спрингфилд. Шейс предпринял отчаянную попытку захватить спрингфилдский арсенал, но атака была подавлена артиллерией, а повстанцы рассеяны.

Одновременно накалялась обстановка в Род-Айленде. Происходящее там было полной противоположностью событиям в Массачусетсе по своим причинам, но не по последствиям. Демократическая легислатура штата защищала интересы должников. Летом 1786 года она выпустила на 100 тысяч долларов бумажных денег в качестве законного платежного средства, которые использовала для займов фермерам на очень льготных условиях. Суды стали принуждать торговцев и других кредиторов принимать эти деньги к оплате долгов, что привело к

открытым уличным столкновениям, по ожесточению напоминавшим схватки лоялистов и патриотов в годы войны — с той разницей, что на сей раз размежевание происходило строго по классовому признаку.

События в Род-Айленде, а главное — восстание Шейса прозвучали набатом для сторонников решительных мер. Наконец-то они получили прекрасную возможность, размахивая пугалом мятежа, подстегнуть всех колеблющихся. Надо было ковать железо, пока горячо. «Нынешний момент, — писал богатый массачусетский торговец С. Хигинсон генералу Ноксу 12 ноября, — чрезвычайно благоприятен для осуществления дальнейших необходимых мер по придаче правительству энергии и достоинства. То, что произошло, должно быть использовано как капитал, с которого можно снимать проценты...».

«Националисты» сеяли панику, сосредоточив свое внимание на том, чтобы воздействовать на Вашингтона: в те дни он получал десятки пугающих писем. Даже сдержанный Джей зашел весьма далеко: «Что делать? Завести короля? По-моему, еще не время, пока не испробованы другие средства. Может быть — генерал-губернатора? Разбить конгресс на нижнюю и верхнюю палаты: первую избирать ежегодно, вторую — назначать пожизненно... Какой же властью наделить государство? Я думаю, чем большей — тем лучше».

Наиболее ретивые «националисты» уже увидели близкую катастрофу: «Пламя бунта готово вспыхнуть в любом уголке всего континента, мы ходим по пеплу, под которым тлеет огонь», — писал Ф. Эймс. Он предрекал времена, когда американцы впадут в состояние варварства и займут свое место позади индейцев.

В зловеще-паническом хоре «националистов» слышался и голос Гамильтона. К этому времени он возглавил в легислатуре Нью-Йорка кампанию за пересмотр «статей конфедерации», резко оживившуюся после событий в Массачусетсе. Главный козырь в его выступлениях — угроза деспотизма, которую он, ничтоже сумняшеся, выводит прямо из массачусетского бунта. «Кто может определить последствия недавних волнений, возглавить их Цезарь или Кромвель? — потрясал он своды собрания с пафосом, достойным лучшего применения. — Кто может предсказать последствия деспотизма, установленного было в Массачусетсе, для свобод Нью-Гемпшира, Род-Айленда или Нью-Йорка?».

Лихорадочная активность «националистов» на этот раз принесла свои плоды. Вашингтон, по его собственному признанию, был «невыразимо напуган». Бывший боевой офицер его армии поднял опору революции — Массачусетс на

«грозный мятеж против законов и конституции, нами же выработанных». Он направил паническое письмо Нокса с описанием волнений в легислатуру Вирджинии со следующей припиской: «Могут ли быть более убедительные доказательства недостатка энергии в нашем правлении, чем эти беспорядки? Если нет власти для их обуздания, то как же предохранить жизнь, свободу и собственность людей?»

Перепуганные деятели аграрных районов страны, прежде выступавшие лишь за ревизию «статей конфедерации», в большинстве своем теперь примкнули к сторонникам решительного образа действий, укрепляя буржуазно-плантаторский блок, ставший политической основой всего движения за централизацию государственной власти. В феврале конгресс санкционировал предложенный съезд в Филадельфии, подписав себе тем самым смертный приговор. Делегаты на съезд выбирались отнюдь не рядовыми избирателями, а легислатурами штатов. От состава съезда, естественно, зависело очень многое. «Ради бога, будьте чрезвычайно внимательны в выборе делегатов... — наставлял Р. Кинг массачусетца Элбриджа Герри, — приближается критический момент, предусмотрительные и надежные люди должны быть готовы использовать наиболее благоприятные обстоятельства для учреждения более стабильного и решительного государства».

И в самом деле для крупной буржуазии в предстоящей партии ставки были едва ли ниже, чем в годы войны с Англией. Тогда решался вопрос о том, быть или не быть независимому американскому государству, теперь же — каким ему быть. Будущие «отцы-основатели» прекрасно сознавали свою ответственность за формирование надлежащего государственного строя. К этому их побуждала общность материальных интересов крупных собственников. Но не только это. Ведущих лидеров «националистов» — Вашингтона, Моррисов, Джея, Гамильтона, Нокса, Вильсона, Дюана и др. объединяло нечто большее. У всех за плечами был опыт работы в годы войны, который сформировал общий «континентальный» взгляд на государственные проблемы. Все они были мало привязаны к штатам, где первенствовали политики другой школы, умевшие ладить с избирателями. Все их политическое будущее всецело зависело от существования централизованного национального государства. Кроме того, это были политики консервативного элитарного типа, убежденные в естественности и целесообразности иерархической структуры общества, в котором управление государством является исключительной прерогативой просвещенной аристократии — «родовитых и богатых», как говорил Мэдисон, а не черни и ищущих у нее популярности демагогов.

Только эта «элитарная солидарность» может объяснить ту удивительную сплоченность, какую выказали «националисты» весной — летом 1787 года. Словно повинувшись какой-то, слышной им одним команде, деятели со всех концов страны, преодолев на время свои региональные экономические и политические разногласия, устав, по выражению Нокса, от «безумств нынешнего правления», съезжались в Филадельфию, чтобы ликвидировать опасность, угрожавшую, как им казалось, самим устоям общества. То была поистине тотальная мобилизация всех лучших сил «националистов». «Повсюду люди здравого смысла, наделенные добродетелью и собственностью, — сообщал в Париж Д. Катинг Т. Джефферсону, — почти все наши просвещенные и ведущие деятели всех штатов встают в поддержку идеи усиления государства».

Напор «националистов» был так силен и неожидан, что застиг их противников — будущих антифедералистов врасплох. В составе делегатов оказалось всего четверо «инакомыслящих»: Лансинг и Йейтс из Нью-Йорка, Дж. Мэйсон из Вирджинии и Э. Герри из Массачусетса. Избранные делегатами Патрик Генри и Р. Ли отказались поехать в Филадельфию. Сторонясь, они недоуменно наблюдали, как «первые люди» страны собирались на свой съезд. «Накипь, всплывшая на поверхность в годы войны, идет ко дну, и чистый дух занимает ее место», — с удовлетворением констатировал Б. Раш.

Холодным дождливым утром 29 мая 1787 г. 55 делегатов из 12 штатов (Род-Айленд отказался участвовать) собрались в здании филадельфийского Стейт-хауз, где раньше заседал конгресс, для того чтобы «привести революцию к счастливому завершению», как выразился Вашингтон. Что понималось под этим, стало очевидно после вводного слова губернатора Вирджинии У. Рэндольфа, который заявил, что «главная опасность, угрожающая нам, проистекает от демократического начала наших конституций...» Его дополнил Г. Моррис, заявив о главной задаче замышляемого государственного устройства: «Жизнь и свобода обыкновенно наделяются большей ценностью, чем собственность. Однако, как показывает трезвый взгляд на вещи, именно собственность и есть главная цель общественного устройства... Люди объединяются не во имя жизни или свободы — и тем и другим они в избытке наделяются даже в варварском состоянии; они объединяются для защиты собственности».

Съезд заседал при наглухо закрытых дверях, делегаты поклялись не разглашать дебатов (они были опубликованы лишь спустя много лет), и эта процедура, к счастью для истории, сохранила для нас неподдельный строй мышления американской элиты. Филадельфийское собрание превратилось

как бы в уникальную социальную лабораторию, где «отцы-основатели», действуя в стерильных условиях секретности, апробировали различные варианты создания крепкого буржуазного государства. Они вполне сознавали расхождение своих интересов с интересами народа и в случае необходимости были готовы к самым решительным действиям. «Слишком вероятно, что ни один из наших планов не будет принят, — говорил Вашингтон Г. Моррису. — Возможно, придется пройти через еще один ужасающий конфликт. Если для того, чтобы ублажить народ, мы предложим то, чего сами не одобряем, то как же мы сможем затем защищать наши предложения?»

Хотя мандат съезда был весьма неопределенным и давал право, самое большее, на ревизию «статей конфедерации», делегаты, провозгласив себя «гласом народным», отбросили все ограничения в стремлении к коренной реорганизации политического строя. «Увеличивать вес старого здания, — считал, например, один из главных законодателей на съезде Джеймс Вильсон, — значит ускорять его разрушение». «Если бы бросить все конституции штатов в огонь, а всех демагогов — в океан! Что за счастье это было бы для Америки!» — мечтал Г. Моррис. Вскоре эти настроения были облечены в форму конкретных предложений.

Первым был выдвинут так называемый «план Вирджинии», предвосхитивший основные черты будущей конституции страны и получивший поддержку большинства делегатов. «План Нью-Джерси», представленный 15 июня и отражавший интересы малых штатов, предусматривал лишь модификацию «статей конфедерации» путем передачи конгрессу дополнительных полномочий по регулированию внешней и межштатной торговли, введению таможенных пошлин и других налогов. 16 июня началось обсуждение обоих планов; 18 июня, когда в дискуссии включился Гамильтон, оно находилось в самом разгаре.

Его положение на съезде было сложным. Один из непосредственных его инициаторов, он был самым молодым делегатом после 29-летнего Ч. Пинкни — средний возраст «отцов-основателей» составлял 43 года. К тому же при всех явных симпатиях к централизованной государственной власти до этого он всерьез не занимался теорией государственного устройства. Поэтому ему было довольно трудно тягаться с такими корифеями в этой области, как Мэдисон и Вильсон, задававшим тон на съезде. Наконец, в нью-Йоркской делегации он был единственным «националистом», блокированным двумя ставленниками Клинтона — приверженцами прав штатов — Йейтсом и Лансингом.

И все же он сказал свое слово. Его речь была подготовлена заранее, но непосредственным толчком для ее произнесения, видимо, послужило острое разочарование обоими представленными проектами, особенно вторым из них; все это слишком походило на злосчастную конфедерацию — «та же самая свинина в другой подливке».

Нужно было как-то подстегнуть дебаты, нацелить делегатов на гораздо более решительный тон. Зная честолюбивую натуру Гамильтона, его постоянное стремление воздействовать на ход событий, трудно представить, как он смог бы остаться в стороне. Где же, как не здесь, в кругу «избранных», мог он с полной откровенностью и серьезностью предлагать свои самые заветные идеи? «Наше положение особенное, — говорил он, — оно дает нам простор мечтать, как мы только хотим». О чем же мечтал Гамильтон?

Его исходные посылки, как свидетельствуют дошедшие до нас изложения Мэдисона и Йейтса, остаются неизменными: «Все общества разделяются на избранных и многих. К первым относятся богатые и родовитые, к последним — масса народа». Что лежит в основе этого деления, было ясно всем присутствующим. «Имущественное неравенство составляет огромное и важнейшее различие в обществе. Оно так же вечно, как и свобода». «Говорят, что глас народа — глас божий, но, как бы часто это ни повторяли и ни принимали на веру, в действительности это не так. Народ буен и изменчив, он редко судит или решает правильно». Логика Гамильтона: поскольку деление общества на классы неизбежно, оно должно получить конституционное выражение. «Поэтому предоставьте первому классу твердую и постоянную роль в управлении государством. Он сдержит неустойчивость другого класса и, поскольку ничего не выиграет от перемен, всегда будет поддерживать хорошее правление». Иными словами, экономическое и политическое господство класса «богатых и родовитых» необходимо закрепить конституционно — в соответствии со знаменитым афоризмом Дж. Джея: «Те, кто владеет страной, должны и править ею».

Ключевой в этой связи представляется Гамильтону роль верхней палаты — сената, который и должен стать конституционным воплощением власти имущей аристократии. Наподобие членов английской палаты лордов, «этого самого благородного института», сенаторы должны избираться через систему выборщиков на срок «достойного поведения», то есть практически пожизненно, за исключением случаев грубых нарушений законности, преследуемых в порядке импичмента. Пожизненное избрание призвано было придать сенаторам независимость от народа, обеспечить устойчивость и преемственность («по-

стоянную волю», по Гамильтону) государственной политики. «Может ли демократическая палата, которая ежегодно окунается в массу народа, упорно отстаивать общественное благо? — восклицал оратор. — Только пожизненно избранный орган в силах противостоять безрассудству демократии».

То, что такой сенат неизбежно превратился бы в могущественный закрытый олигархический клуб, не смущало Гамильтона. Сенат в его схеме и призван был играть роль исполнительного комитета крупной буржуазии: по его логике, было гораздо честнее узаконить ведущую роль крупных собственников, открыто предоставить им бразды правления, нежели вынуждать их идти обходным путем, подкупая представительные учреждения или вовсе игнорируя их, ибо так или иначе все решает тот, у кого в руках кошельки.

Он был готов открыто обеспечить богатым главный пай в государстве потому, что как реалист и прагматик понимал: в обществе, основанном на частной собственности, решающее слово неизбежно принадлежит крупнейшим ее владельцам. Для Гамильтона это было непреложным законом, из него он исходил во всех своих проектах начиная с военных лет. Мы можем быть благодарны Гамильтону за ту предельную ясность, с которой он определил это главное условие существования буржуазного государства.

В этом, пожалуй, и состоит его основной и своеобразный вклад в буржуазную политическую науку, с предельной наглядностью подтверждающий правоту марксистско-ленинского учения о буржуазном государстве. «Можно спорить с гамильтоновским определением главного из общественных интересов или обвинять Гамильтона в том, что он привлекал его слишком рьяно, — писал, например, один из видных идеологов современного консерватизма К. Росситер, — но нельзя не признать, что он открыто указал на ту реальность политической жизни, которой втихомолку отдавали и отдают дань все преуспевающие американские политики. Особое достоинство его как политического мыслителя заключается в той освежительной прямоте, с которой он многократно ссылаясь на этот основополагающий принцип своего политического мировоззрения».

Вместе с тем благоденствие денежных мешков для Гамильтона вовсе не было самоцелью. В душе он даже презирал алчных толстосумов, думающих только о наживе: «Скажу тебе по секрету, — писал он в свое время другу Лоуренсу, — я ненавижу людей, поглощенных деланием денег». Они были лишь наиболее подходящим материалом для создания опоры государства, ибо даже сама их жадность служила ему на пользу: «их пороки, видимо, более благоприятствуют про-

цветанию государства, чем пороки нуждающихся». Гамильтон апеллировал не только к своекорыстию, но и к «добродетели» собратьев по классу, усматривая последнюю в способности подчинить свои непосредственные личные интересы «интересам национальным», определение которых составляет главную задачу государственного правления. Мощь и слава государства были для него превыше индивидуально-эгоистических интересов любых членов общества. В этом смысле его действительно можно назвать «Руссо правых», по образному выражению американской исследовательницы С. Кеньён.

Не случайно Гамильтон выступал против ничем не ограниченного господства олигархии; слишком часто, как показывала история, оно приводило к деспотизму или, напротив — анархии. «Подлинная свобода, — говорил он на следующем обсуждении, — кроется не в деспотическом строе или крайностях демократии, а в умеренном правлении». Поэтому он добавлял к чистой олигархии демократический противовес в виде нижней палаты — ассамблеи, избираемой раз в три года прямыми выборами, открытыми для всех белых мужчин. Но и это еще не все. «Власть должна быть в руках обеих палат, — намечает он в тезисах своего выступления, — они должны быть разделены... И в этом случае им требуется общий противовес. Этот противовес — монарх». На съезде Гамильтон предпочитал именовать его губернатором, но смысл от этого не менялся.

«Губернатор», выбираемый на срок «достойного поведения» по сложной трехступенчатой системе выборов, наделялся широкими полномочиями: правом абсолютного вето, всей полнотой исполнительной власти, правом назначения главных должностных лиц, командованием всеми вооруженными силами. Таким образом, монарх-губернатор, по мысли Гамильтона, призван был служить не только «общим противовесом» двух палат, но и главным средоточием государственной власти, ибо «республика не допускает решительного правления, в котором и состоит все достоинство государства». Другое важное преимущество монархии Гамильтон усматривал в слиянии личного интереса монарха с интересами его государства. «Наследственный интерес короля настолько тесно связан с интересами государства, и его личный доход так велик, что ставят его вне опасности подкупа извне и в то же время делают его достаточно независимым и достаточно связанным внутри страны». В концепции монархии Гамильтон прямо следует Гоббсу, у которого он многому научился. «Общие интересы... — писал английский философ, — больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными интересами. Именно такое совпадение имеется в монархии.

Богатство, могущество и слава монарха обусловлены богатством, силой и репутацией его подданных...». Вместе с тем гамильтоновская концепция была чисто буржуазной, поскольку расходилась с принципами неограниченной и наследственной монархической власти и не была направлена на защиту сословных интересов потомственной аристократии.

В апологетике сильной центральной власти Гамильтон зашел настолько далеко, что прикидывал возможность упразднения штатов: «Национальная власть... должна поглотить полномочия штатов, иначе они поглотят ее».

Таков в общих чертах этот известный план Гамильтона. Он вовсе не был плодом экстравагантной, капризной мысли: взгляды Гамильтона находились в общем русле классической политической традиции, восходившей еще ко времени Древнего Рима — концепция «смешанного правления». Не лишне напомнить, что до великой французской революции идея республики не была «санкционирована» предшествующим историческим опытом и вовсе не обладала непререкаемым авторитетом. Для поколения Гамильтона, воспитанного на классических традициях, исторические примеры республиканского правления (Рим эпохи республики, полисы Греции, средневековые итальянские республики) наглядно демонстрировали его уязвимость перед напором классовой борьбы. «Невозможно изучать историю малых республик Греции и Италии, — писал Гамильтон несколько позже в «Федералисте», — без чувства ужаса и отвращения перед разбродом, в котором они постоянно пребывали, и перед быстрой чередой революционных потрясений, которые оставляли их в состоянии блуждания между крайностями тирании и анархии». В концепции «смешанного правления» его проповедники, начиная с Аристотеля и Полибия и кончая современниками Гамильтона Дж. Адамсом и Дж. Вильсоном, стремились создать оптимальную модель общественного равновесия. В ней комбинировались элементы всех трех известных к тому времени политических форм — демократии, аристократии и монархии с целью соединения их преимуществ и избавления от слабостей каждой. Так, в схеме Гамильтона демократически избираемая ассамблея обеспечивала государству важнейшее преимущество демократии — доверие народа, сенат — государственную мудрость аристократии, а «губернатор» — решительность и исполнительность монархии.

Гамильтон не скрывал, что эталоном для него служила английская государственная система — «наилучшая в мире», «удачнее всех сочетающая мощь государства с безопасностью индивида». В нем боролись противоречивые чувства: с одной стороны, он сознавал, «что было бы неразумно предлагать

какое-либо другое (не республиканское. — В. П.) правление», учитывая настроения народа и силу революционных традиций; с другой — сомневался в том, что «Америку устроит более демократическое (чем английское) государство». Единственный выход — оставив республиканскую форму, наполнить ее сугубо антидемократическим содержанием. «Мы должны, — поучал Гамильтон, — зайти так далеко в достижении стабильности и постоянства, как только позволяют республиканские принципы». Проект Гамильтона и устанавливал тот максимум элементов конституционной монархии, который можно было совместить с республиканской формой, — выборность и сменяемость «губернатора» являлись последней спасительной гранью между ними. «Могут спросить, — задавался уместным вопросом оратор, — будет ли это республикой? Да, будет, если все должностные лица назначаются народом или путем выборов, исходящих от народа... Если глава государства может быть подвергнут импичменту, то термин «монархия» неуместен».

Гамильтон признавал, что его план «идет дальше взглядов большинства делегатов» и «вряд ли осуществим для нас». Он предлагал его скорее как некую идеальную модель, к которой следует стремиться.

Даже в сгушенно-консервативной атмосфере филаделфийского собрания горячая пятичасовая речь Гамильтона прозвучала некоторым диссонансом: аудитория была смущена необычным максимализмом и прямотой суждения. Речь не имела зримых последствий: ее почти не обсуждали, «все хвалили», по словам очевидца, «но никто не поддержал» в открытую, кроме Дж. Рида из Делавэра и Г. Морриса.

Это было ударом для Гамильтона, который замолчал до конца съезда и перестал регулярно посещать заседания. Впоследствии это выступление причинило много неудобств исследователям Гамильтона: противники стали изображать его «белой монархистской вороной» в стане истых республиканцев, а апологеты — различными ухищрениями доказывать, что их герой имел в виду нечто другое и его просто неверно поняли. Но анализ самого проекта и поведения Гамильтона на съезде и после него не оставляют сомнений в искренности и серьезности его намерений: то был образец типичной для Гамильтона политической философии, которую он стремился положить в основу проектируемого государства и от которой никогда не отказывался. Его следующий проект, составленный к концу съезда, но так и не представленный на нем, в главных чертах повторял первый вариант. Он имел в виду именно то, что говорил. Но так ли уж сильно он расходился при этом с большинством «отцов-основателей»?

Некоторые существенные положения его плана выдвигались и другими делегатами. Так, Мэдисон первоначально стоял за пожизненное избрание президента, а Г. Моррис и Дж. Вильсон ратовали за придачу ему права абсолютного вето, Дж. Дикинсон, Г. Моррис и Дж. Рид вместе с Гамильтоном настаивали на пожизненном избрании сенаторов. Но главный элемент общности заключался все-таки не в этих отдельных совпадениях, а в самом духе подхода.

Абсолютное большинство делегатов, как и Гамильтон, помышляли об обуздании демократии и создании государства крупных собственников — торгово-промышленной буржуазии и плантаторов. Различия в их позициях действительно были, но они касались не сути вопроса, а лишь способов обуздания народа.

При этом «отцы-основатели», ясно сознавая свою ответственность за судьбы создаваемого ими государства, не замыкались в текущем моменте, а смотрели далеко вперед. Самое серьезное и откровенное высказывание Мэдисона выдержано полностью в гамильтоновском ключе и недаром было горячо им одобрено: «Создавая систему, которая, как мы хотим, существовала бы столетия, мы не должны упускать из виду перемен, которые внесут эти столетия. Рост населения неизбежно увеличит долю тех, кто трудится в бедности, тайно вздыхая о более равномерном распределении жизненных благ, — наставляя коллег Мэдисон. — Со временем их может стать больше, чем людей, не знающих нужды. По закону равного права голоса власть перейдет в их руки... Имеющиеся кое-где симптомы уравнительного духа уже дают представление о грядущей опасности. Как же предупредить ее, опираясь на республиканские принципы? Как предотвратить опасность угнетения меньшинства коалициями интересов? Среди прочих средств — учреждением государственного органа (сената. — *В. П.*), достаточно почитаемого за свою мудрость, для помощи в таких случаях... Учитывая такое назначение того органа, следует избрать его на более длительный срок». Те же доводы приволил и Г. Моррис, оправдывая необходимость введения имущественных избирательных цензов.

В то же время ядро делегатов, его главные теоретики и вдохновители — Мэдисон, Вильсон, гораздо более реалистично, чем Гамильтон, оценивало демократические потенции Америки. «Все устремления американского народа, — предупреждал вирджинец Дж. Мэйсон, — направлены к демократии, и они должны быть приняты во внимание». «Никакая другая форма (кроме республиканской. — *В. П.*), — подытожил Мэдисон в «Федералисте», — несовместима с настроением Америки, с принципами революции». Нужно было учитывать неприязнь

народа к английской монархии и избегать явного сходства с нею.

Америка, по словам Вашингтона, походила на тяжелого больного, которому срочно требовался врач, но делегаты хорошо понимали: как бы ни был плох этот больной, он все еще в силах вышвырнуть врача за дверь, если подойти к нему с гамильтоновскими ухватками костоправа. Здесь требовались средства похитрее.

Будущий «отец» американской конституции Джеймс Мэдисон и его единомышленники, исходя из реальной после-революционной ситуации, больше полагались на создание конституционных преград на пути демократии. Сохраняя формально принцип народного суверенитета и отказываясь от гамильтоновского узаконения классовой иерархии общества, они стремились максимально обезопасить «демократическое» государство от народа, надежно ограничив это народное волеизъявление на всех уровнях: посредством избирательных цензов, многоступенчатых выборов, системы «сдержек и противовесов» различных органов власти, широкими полномочиями президента и судебной власти и т. п. Говоря о хитроумном подходе «отцов-основателей», патриарх американской историографии Чарлз Бирд в свое время писал: «...Мы не можем не поражаться их искусству. Главная идея заключалась в том, чтобы расколоть атакующие силы (демократии. — В. П.) еще на дальних подступах — путем разделения государственной власти между различными органами». Это первоначальное раздробление затем усугублялось различиями в сроках переизбрания этих органов. Венцом-противовесом «заинтересованного и доминирующего большинства», как выражался Мэдисон, служило исключительное положение судебной власти — «использование авторитета и таинства закона для отражения атак демократии».

Для Гамильтона хитросплетения конституционализма казались недостаточно надежной гарантией по сравнению со строгим разграничением демократического, аристократического и монархического органов власти: как может «демократическая ассамблея сдерживаться демократическим сенатом и оба — уравновешиваться демократически избираемым главою государства?»

В оценке же исхода «республиканского эксперимента» большинство делегатов разделяли пессимизм Гамильтона. Вслед за Мэдисоном они предвидели в будущем неизбежное размывание главной опоры аграрной республики — слоя землевладельцев, а с ним — неумолимую поляризацию общества и концентрацию экономической и политической власти в форме той же монархии. Мэдисон предсказывал конец республики через 142 года (т. е. приблизительно в 30-х гг. XX века, действительно

отмеченных небывалыми кризисными потрясениями в США). По его подсчетам, к этому времени население страны должно было приблизиться к 200 миллионам человек, что свело бы на нет «драгоценное преимущество» Америки в виде широкого распределения земельной собственности и «всеобщей надежды на ее приобретение». Страна, перенаселенная, как Франция и Англия, с обществом, расколотым на «богатых капиталистов» и «нуждающихся работников», потребует иной конституции — «наподобие английской». О том же говорили Дж. Адамс, Г. Моррис и даже Франклин: «Боюсь, что правительство этих штатов кончит в итоге монархией. Но эту катастрофу, я думаю, можно надолго отложить».

Основатели американского государства, как нам теперь очевидно, во многом верно угадывали будущее демократии в своей стране, однако они недооценивали возможностей своего собственного детища — конституции, которая и через два века оказалась достаточно эластичной, чтобы вместить невиданную по тем временам концентрацию власти монополистической буржуазии и сохранить при этом свою изначальную квазидемократическую форму.

Таким образом, схема Гамильтона была лишь наиболее доктринерским, максималистским выражением общих настроений филадельфийского съезда. Она, как увеличительное стекло, позволяет лучше разглядеть общий замысел «отцов-основателей». Гамильтон был слишком старомоден и одновременно — чересчур радикален в своем консерватизме и потому оказался отвергнутым. В защите интересов крупных собственников он оказался большим роялистом, чем сам король, хотя не был ни крупным землевладельцем, ни торговцем, ни держателем государственных ценных бумаг, существуя за счет своей юридической практики. Ч. Бирд, в своем классическом труде «Экономическая интерпретация конституции Соединенных Штатов» доказавший непосредственную материальную заинтересованность «отцов-основателей» в созданной ими конституции, скрупулезно исследовал сферу материальных интересов Гамильтона и пришел к выводу о том, что «в период создания конституции он был всецело движим принципиальными вопросами государственной политики, а отнюдь не какими-то личными материальными интересами, так часто ему приписываемыми».

Принятая съездом конституция отвечала основным требованиям «националистов». Федеральное правительство получило право налогообложения, содержания постоянной армии, регулирования межштатной и внешней торговли, контроля над денежной системой (эмиссия бумажных денег штатами была запрещена), выплаты государственного долга; подтвержда-

лась нерушимость контрактов. Так что не экономическое или внешнеполитическое содержание конституции не устраивало Гамильтона, а прежде всего — сама схема государственного устройства, которой, по его мнению, не хватало централизации и независимости от народа. Все же с ее принятием практик в нем взял верх над доктринером. «Ничьи представления не были так далеки от этого плана, как мои, — заявил он на заключительном заседании, — но можно ли колебаться в выборе между анархией и потрясениями, с одной стороны, и вероятностью блага, ожидаемого от плана, — с другой?» В душе Гамильтон так и не примирился с конституцией, всю жизнь продолжая считать ее «хилым и никчемным устройством». Но как политик и юрист он знал, что многое будет зависеть от интерпретации конституции и конкретного приложения ее на практике. Это оставляло кое-какие надежды.

Так под текстом конституции появилась подпись: «От Нью-Йорка — Александр Гамильтон». Поскольку Йейтс и Лансинг в знак протеста покинули съезд, подпись эта ни к чему не обязывала штат Нью-Йорк.



Мало было выработать конституцию, нужно было еще и навязать ее народу. Именно навязать, ибо «архитекторы» нового государства отнюдь не ожидали восторженного приема своего детища. Съезд, как сообщал Джефферсону Мэдисон, находится «в полнейшем неведении относительно будущего конституции после ее публикации». Переписка «отцов-основателей» осенью — зимой 1787—1788 годов проникнута чувством тревоги. И действительно, у федералистов, как они сами себя вскоре окрестили, были основания для опасений.

Их противники из числа последовательных демократов и сторонников прав штатов, получившие соответственно обидное прозвище антифедералистов, без труда различили сущность филаделфийского проекта. Один из них — Р. Генри Ли в нашумевших «Письмах фермера-федералиста республиканцу» определил ее весьма точно: «Всякий здравомыслящий человек должен видеть, что предлагаемая перемена сводится к передаче власти из рук многих немногим». Новая конституция шла вразрез с радикально-вигистскими представлениями образца 1776 года: поскольку власть всегда враждебна по отношению к управляемым, то она должна быть максимально ослаблена и децентрализована. С этих ортодоксальных позиций и атаковали проект антифедералисты.

Одно из самых обстоятельных выступлений против предложенной конституции — анонимные «Письма часового» из

Пенсильвании — позволяет понять всю разницу между прежним демократическим идеалом и новыми консервативными веяниями. В одном из писем говорится: «Наибольшая ответственность достигается лишь созданием простой структуры государства, ибо большинство людей никогда пристально не следят за действиями правительства и ввиду нехватки необходимой информации могут быть легко обмануты. Если вы усложните схему различными пристройками, народ будет запутан и разноречив в своем мнении об источниках несправедливости...»

Большая часть противников новой конституции выступала за частичное расширение полномочий континентального конгресса в области налогообложения, регулирования торговли и не видела необходимости в столь резком пересмотре, который федералисты пытались оправдать туманными «чрезвычайными» обстоятельствами. «Говорят, что страшные напасти обрушились бы на нас, если бы съезд не принял этого плана. Я спрашиваю, где эта опасность..? — восклицал самый, пожалуй, красноречивый оратор антифедералистов Патрик Генри из Вирджинии. — Не издевательство ли это над здравомыслием соотечественников... И в то же время — кто знает, какие опасности таятся в самом этом плане? Они незаметны для простого люда; он не может предвидеть скрытых последствий». Мнению простых людей, впрочем, не придавалось особого значения. В конечном счете в ратификации конституции смогли принять участие всего около 100 тысяч человек — менее 3% населения страны. Хотя размежевание сторонников и противников новой конституции проходило не по строго классовому принципу, преобладающая тенденция была несомненна: по имеющимся подсчетам, за конституцию выступало пять шестых всех торговцев, более двух третей юристов, семь восьмых судовладельцев и крупных промышленников.

Антифедералисты били по самым существенным положениям конституции: аристократический сенат, широкие полномочия президента и недемократичность его избрания, отсутствие билля о правах, поддержание регулярной армии, независимость судебной власти. Предстояла тяжелая борьба в штатах.

В Нью-Йорке сложилась сильная антифедералистская группировка во главе с Клинтоном, Лансингом, Йейтсом и М. Смитом. Они распространяли памфлеты и листовки, вели агитацию на местах, готовились к решающей схватке на ратификационном съезде штата.

Вновь взявшись за перо, Гамильтон понял, что задуманное систематическое обоснование конституции не под силу ему одному, и обратился за помощью к двум другим известным

«златоустам» — Джею и Мэдисону, находившимся тогда в Нью-Йорке на заседаниях конгресса. Те согласились, и уже 27 октября в нью-йоркской газете «Индепендент джорнэл» появилась первая статья Гамильтона, положившая начало знаменитой серии «Федералист». Под ней стояла подпись «Публий» — авторы намеренно взяли имя римского героя, учредившего, по преданию, справедливую республику.

«Новая конституция! Все только и кричат об этом, — писал в те дни из Нью-Йорка Г. Нокс Салливану о разгоревшихся памфлетных баталиях. — Сколько бумаги изводится по этому поводу, а многое из написанного, наверное, так и не читается обеими сторонами!» Статьи «Публия» читали внимательно. Они не только стали библией федералистов, но и до сих пор считаются лучшим толкованием конституции США. Гордость и классика американской политической науки создавалась в рекордно короткие сроки: все 85 статей, составляющие целую книгу, были написаны за восемь месяцев (с октября 1787 по август 1788 г. с перерывом в мае — апреле) — в среднем по две-три статьи в неделю или по тысяче слов в день. Согласно семейной легенде, Гамильтон написал первый выпуск на баркасе по пути из Олбани в Нью-Йорк. Если это и преувеличение, то небольшое. Джей, написав лишь пять статей, заболел, и вся тяжесть труда легла на Мэдисона и Гамильтона, прежде всего — на последнего, так как Мэдисон весной вернулся в Вирджинию. Оставшиеся 26 выпусков выпали на долю Гамильтона. Всего он написал 53 статьи для «Федералиста», а Мэдисон — 27. Если учесть, что дни у него отнимала юридическая практика, к которой добавлялась активная деятельность в легислатуре штата, то работоспособность Гамильтона просто поразительна. Печатный станок неумолимо диктовал ритм, и часто, как вспоминал Мэдисон, статьи дописывались в присутствии подгоняющего издателя, который тотчас же относил их в типографию. Времени для детального согласования и обмена мнениями у авторов не было: нередко им приходилось впервые видеть сочинения друг друга уже в газете. Они лишь в общих чертах поделили сферы деятельности: Джей взял на себя вопросы внешней политики, Мэдисон — обоснование соответствия конституции республиканским принципам, а Гамильтон — доказательство недостаточности конфедерации и необходимости сплоченного союза.

Такое разделение труда между двумя последними как нельзя лучше отвечало их взглядам и наклонностям: если Гамильтон доказывал необходимость сильной власти, то Мэдисон успокаивал читателей относительно ее безопасности и соответствия подлинно республиканским началам.

Поставленная задача все же предусматривала общность

основных посылок авторов, которые сходились на необходимости усиления государства, защиты прав меньшинства, неприязни к прямому волеизъявлению народа и трактовке природы человека как эгоистической. Близость этих исходных позиций Гамильтона и Мэдисона, а также очень сходный стиль изложения — сдержанный, бесстрастный и отточенный — превратили выяснение авторства ряда статей «Федералиста» в мучительную проблему для американских историков, поскольку оба основных автора оставили на этот счет разноречивые сведения. Со временем она стала классической задачей, и только в 1964 году текстуальный анализ с применением ЭВМ положил конец долгим разногласиям.

Оказалось, что ближе всего к истине были те ученые, которые исходили из особенностей мышления каждого автора, отраженных в «Федералисте». И действительно, как ни изощрялся Гамильтон, подлаживаясь под академический мэдисоновский конституционализм, его воинствующий антидемократизм нередко прорывается наружу. При внимательном анализе «Федералист», как писал А. Мэйсон, страдает «раздвоением личности».

В первую очередь это касается трактовки классовой роли государства и сферы его полномочий. Необходимость усилить аппарат подавления буржуазного государства, стремление к максимальному упрочению государственной власти в условиях антагонизма верхов и низов — все эти авторитарные нотки звучат у Гамильтона резче, чем у Мэдисона. Так, в девятом выпуске, рассматривая опасность классовой борьбы в условиях республики, он усматривает преимущество «прочного союза» штатов в том, что он «обеспечивает их спокойствие и свободу, служит барьером против внутренних фракций и бунтов». Там же он предполагает использование регулярной армии для удержания «бедноты на своем месте», а в шестнадцатом выпуске резонно замечает, что «центральное правительство располагает большими ресурсами для подавления беспорядка», чем власти штатов.

Для богачей, еще не пришедших в себя после восстания Шейса (оно упоминается в «Федералисте» много раз), это, должно быть, звучало весьма утешительно. Однако этого никак нельзя было сказать о малоимущих. И не случайно в следующем, своем знаменитом десятом выпуске Мэдисон счел необходимым слегка подправить Гамильтона. В его трактовке главная политическая функция государства — вовсе не подавление, а предотвращение борьбы классов. Вместо отчетливой биполярной схемы деления общества на имущих и неимущих Мэдисон создает новую, многополярную модель, отмечая наличие в обществе различных интересов: «землевладельческого, про-

мышленного, торгового, финансового и многих других помельче..., приходящих в столкновение друг с другом», регулирование которых и «составляет главную задачу современного законодательства». К тому же регулирование этих интересов с целью предотвращения «деспотизма большинства», по Мэдисону, в условиях обширной республики происходит в значительной степени автоматически — путем их взаимного сбалансирования. «Расширьте территорию, и вы получите большее разнообразие партий и интересов; вы уменьшите вероятность появления у большинства населения общего побуждения посягнуть на права других граждан, и если такое побуждение все же возникнет, тем, кто его испытывает, будет труднее выявить свою силу и выступить сообща».

Вирджинец с большой осторожностью обходил вопрос о пределах государственной власти, смущавший многих американцев. Изменения, предлагаемые конституцией, успокаивал Мэдисон, «заключаются не столько в предоставлении государству новых полномочий, сколько в восстановлении его первоначальной власти... Полномочия, предоставляемые новой конституцией государству, немногочисленны и строго определены». А вот что говорит по этому поводу Гамильтон в двадцать третьем выпуске «Федералиста»: было бы «неразумно и опасно отказывать федеральному правительству в неограниченной власти в тех сферах, которые вверены его управлению».

Мэдисон не скупился на реверансы в адрес старых вигистских заповедей «слабого государства»: «Не приходится отрицать, что власть имеет тенденцию узурпироваться и должна эффективно сдерживаться в отведенных ей пределах». Или — «сравнивая эти ценные компоненты (энергичность и стабильность государства. — В. П.) с жизненными принципами свободы, мы должны сразу же уловить трудность сочетания их друг с другом в необходимой пропорции».

Эти «трудности» ничуть не заботили Гамильтона. С прежним воодушевлением он воспевает силу государственной власти. «Существует представление о том, что решительность исполнительной власти несовместима с духом республики... Напротив, она есть главный момент в определении качества правления. Решительность необходима для защиты общества от нападения извне. Она же не менее необходима для строгого исполнения законов, защиты собственности... и предохранения свободы от происков и нападков амбиции, фракционности и анархии». В этом же духе он обосновывал необходимость наделения президента широкими полномочиями. Двенадцать гамильтоновских номеров «Федералиста», посвященных этому вопросу, заложили основу современной концепции «сильной президентской власти».

Наибольшей степени изощренности достигает Гамильтон в вопросах обоснования верховенства федеральной судебной власти и ненужности билля о правах. Билль о правах как конституционная гарантия гражданских прав и свобод от притеснений государства был неотъемлемым атрибутом ортодоксального вигизма, выведенным еще из опыта английской буржуазной революции XVII века и включенным в конституции большинства штатов. Теперь же конституционалисты, в том числе и Гамильтон, хитроумным скачком «преодолели» антагонизм государства и общества: коль скоро народ формально наделялся верховным суверенитетом, то государство превращалось из господина в слугу народа и уже поэтому никак не могло ущемить его прав. По новой конституции, в билле о правах нет нужды, пояснял Гамильтон, ибо, в отличие от английского, «наш народ никому не отдавал своей власти, а потому сам сохраняет ее во всей полноте и не нуждается в каких-либо ее ограничениях». Так демократический принцип народного суверенитета в построениях Гамильтона обращался против самой демократии.

Та же логика используется Гамильтоном в отношении федеральной судебной власти: он развил обоснование необходимости судебного конституционного контроля, на основании чего Верховный суд впоследствии получил право определения конституционности тех или иных законодательных актов. Поскольку конституция есть «высочайший закон, воплощающий волю народа», все законодательные акты, противоречащие ей, должны быть признаны «недействительными как несоответствующие конституции».

Эту функцию призваны осуществлять суды, коим «принадлежит специфическое право интерпретации законов». Сама конституция по этому поводу безмолвствовала, и только подобная трактовка позволяла в полной мере использовать пожизненно избираемый и заведомо консервативный Верховный суд как еще одну мощную преграду на пути народного волеизъявления, даже пропущенного через законодательный орган. Гамильтон, естественно, отрицал, что в таком случае Верховный суд в известном смысле ставится над конгрессом, но то была чистая софистика: «Имеется в виду только то, что власть народа превышает полномочий обоих этих органов. Так что в тех случаях, когда воля законодательной власти, выраженная в ее актах, противоречит воле народа, отраженной в конституции, судьи должны руководствоваться последней». Не зря в США эта казуистика уважительно именуется «самым уникальным вкладом американского политического гения в науку о государстве». В этом вопросе Гамильтон зашел дальше Мэдисона и большинства федералистов, не говоря уже об их противниках.

И опасения последних полностью подтвердились историей: право пересмотра законов Верховным судом, закрепленное за ним при председателе Верховного суда Джоне Маршалле, развившем аргументацию Гамильтона, на протяжении многих десятилетий служило одним из самых действенных легальных инструментов борьбы с демократией в руках правящего класса США.

Существовала и еще одна особенность гамильтоновского «Федералиста». Если Мэдисон тщательно разбирал саму предлагаемую структуру государства, доказывая ее соответствие республиканским принципам, то Гамильтона даже здесь интересует не столько сама конституционная форма, сколько то реальное содержание государственной политики, которое можно выжать из этой формы. Он ясно говорит об этом в шестьдесят восьмом выпуске: «Пусть мы не можем согласиться с политической ересью поэта, сказавшего:

О формах государства глупцы пусть рассуждают —
То будет лучше, что лучше управляет.

И все же можно с уверенностью заявить, что подлинное испытание государства заключается в его способности произвести хорошее правление». Конституция для него была только шансом, примерным мандатом на постройку государственного здания, «наилучшим вариантом, который позволяют нынешняя обстановка и настроения в стране», как писал он в заключительном номере «Федералиста».

Большое место в «Федералисте» Гамильтон уделил и внешней политике — с целью обосновать необходимость сильного государства для обеспечения внешнеполитических интересов США. Здесь он выступает убежденным приверженцем школы «силовой политики», достигшей к тому времени расцвета во внешнеполитической мысли и практике абсолютистской Европы, в которой полоса религиозных войн осталась позади, а пора разрушительных буржуазно-националистических конфликтов еще не наступила. Шел «золотой век» классической дипломатии с ее убежденностью в непреходящем соперничестве между государствами, коренящемся в стремлении каждого из них к расширению своих границ и влияния, в постоянстве их интересов и относительности союзов между ними, с ее упором на силу как главный инструмент политики. Дипломаты классической школы стремились к постижению подлинных государственных интересов и проведению рациональной политики «баланса сил», основанной на правильном понимании этих интересов.

Следуя постулатам этой школы, разработанным такими европейскими теоретиками, как С. Пуффендорф, Э. де Ваттель, лорд Болингброк и др., Гамильтон исходит из реальностей мира с его «неисчислимыми источниками враждебности между государствами: жаждой власти и ревностным отношением к власти других, стремлением к господству и преобладанию, торговыми противоречиями, личными мотивами» и т. д. Он обрушивается на получившие хождение и в Америке идеалистические теории в духе идей Просвещения о близости вечного мира, когда торговля свяжет страны прочными узами, а солидарность республик придет на смену вражде монархий. «Что до сих пор изменила торговля, кроме целей войны? — вопрошает «Публий». — Разве республики на практике оказались менее подвержены войнам, чем монархии?» Войны и иные формы соперничества государств, учит Гамильтон, так же извечны, как сама несовершенная человеческая природа по обе стороны Атлантики. Посему «не пора ли пробудиться от призрачных грез о «золотом веке» и взять за практическое правило при определении нашего политического поведения то, что мы, как и другие жители земного шара, еще очень далеки от счастливого царства абсолютной мудрости и совершенной добродетели?»

Соединенным Штатам, несмотря на все преимущества своего положения, не уйти от борьбы с другими странами по суровым законам «силовой политики», продолжает Гамильтон. Европейские морские и торговые державы уже сейчас ревностно относятся к американской конкуренции, а те из них, которые обладают колониями в Америке, «с болью и тревогой предвидят, во что способна превратиться эта страна» и «чем грозит такое соседство их владениям». «Атлантический щит» — еще не гарантия безнаказанности и абсолютной безопасности Америки: «Усовершенствования в искусстве навигации в том, что касается скорости сообщения, по существу, превратили далекие страны в соседей... Это должно предостеречь нас от самонадеянной уверенности в том, что мы находимся совершенно вне опасности».

В окружении могущественных соперников, выводил Гамильтон, Америке прежде всего необходимо сильное централизованное государство — как для проведения энергичной внешней политики, учитывающей все интересы государства («единство торговых и политических интересов может протекать только от единства правления»), так и для создания крепкого «внутреннего тыла», ибо в противном случае «девином любой страны, опасющейся или ненавидящей нас, будет: „Разделяй и властвуй”».

Только такому государству под силу создание мощной военной машины — важнейшее условие проведения «силовой политики». Оправдывая необходимость наделения государства правом создания регулярной армии, Гамильтон подчеркивает, что ставка на милицию «едва не стоила нам независимости... Планомерное ведение военных действий против регулярной и дисциплинированной армии может успешно осуществляться только аналогичными силами... Война, как и многое другое, — наука, обретаемая и совершенствуемая упорством, усердием, временем и опытом».

Особое значение для США имеет военно-морской флот, способный не только оградить интересы американской торговли, но и стать «ощутимой величиной на весах соперничающих держав», обеспечив тем самым Соединенным Штатам выгодную позицию «государства-балансира», «решающего довеска», определяющего по своему усмотрению соотношение сил двух других государств, враждующих в этом районе (например, Англии и Франции в борьбе за Вест-Индию). В итоге, отмечает Гамильтон, «мы сможем назначать хорошую цену не только за нашу дружбу, но и за наш нейтралитет. Твердо следуя целям союза, мы можем надеяться уже в недалеком будущем стать арбитром Европы в Америке, способным склонять чашу весов европейского соперничества в этой части света, согласно требованиям нашего собственного интереса».

Уже здесь Гамильтон показывает себя знатоком политики «баланса сил», умело применяющим ее принципы к американским условиям. Образцом в этом для него служила Англия, которая начиная с XVII века играла роль балансира на европейском континенте в соперничестве между Бурбонами и Габсбургами. Но его стратегическое видение не ограничивается и этой заманчивой перспективой. Отвлекаясь от своей непосредственной задачи, он вдохновенно рисует дальнейший путь Америки как мировой державы. Реалистически оценивая скромные тогдашние возможности США на мировой арене, Гамильтон исходит из того, что им еще долго будет явно не под силу влиять на европейскую политику «баланса сил». Вместо этого, оставаясь в стороне от европейских дел и используя преимущества своего географического положения, США должны наращивать силы для утверждения своей гегемонии в Западном полушарии: «Наше положение позволяет, а наши интересы заставляют стремиться к господству в системе американских дел».

Но это еще не предел. Америка наряду с Европой, Азией и Африкой — только одна из четырех «политических и географических частей», на которые Гамильтон делит мир в

одиннадцатом выпуске «Федералиста». При существующем соотношении сил между ними Европа «своим оружием и дипломатией, силой и обманом добилась превосходства» над остальными. Историческая миссия США — «спасти честь человечества», а говоря конкретно — сменить Европу в роли мирового гегемона: «Пусть тринадцать штатов, соединенные в тесный и нерушимый союз, воздвигнут единую великую американскую систему, неподвластную контролю заокеанских сил и влияний, способную диктовать свои условия в отношениях Нового и Старого Света!».

Итак, от положения «игрушки» в руках «сильных мира сего» через позицию «арбитра» европейского соперничества в Америке к господству в Западном полушарии, а затем и во всем мире. В этих писаниях «Публия»-Гамильтона, как в генетическом коде, заложена вся программа будущей глобальной экспансии США, провозглашенная от имени едва появившегося на свет государства.

Невозможно, конечно, точно определить воздействие «Федералиста» на ход борьбы за принятие конституции, но, несомненно, эта серия статей нанесла массированный и чувствительный удар по антифедералистам, чье интеллектуальное оружие уступало теоретической оснащенности «Публия», за которым скрывались лучшие умы континентальной элиты. Она оценила «Федералиста» по достоинству. Вашингтон, например, — один из немногих, кому Гамильтон сразу же открыл состав триумvirата, писал ему: «Сей труд доставил мне величайшее удовлетворение., он заслужит внимания потомков». Сам Гамильтон, видимо, расценивал свое принесшее ему посмертную славу творение не столь высоко, если уже в 1802 году планировал переписать его заново, высказаться откровенно, с тем чтобы «угостить людей не овсянкой, как раньше, а настоящим мясом». Ну а пока как человек, всегда ставящий перед собой практические задачи, он со всей энергией отдался дальнейшей борьбе за принятие конституции.

К июню 1788 года восемь штатов из требуемых для ее принятия девяти уже ратифицировали конституцию, но судьба ее оставалась нерешенной до тех пор, пока хотя бы один из двух крупнейших штатов — Нью-Йорк и Вирджиния — не дал своего согласия. В них и разгорелась самая острая борьба. Демиурги «Федералиста» Гамильтон и Мэдисон возглавили ряды федералистов в своих штатах. Поскольку ратификационный съезд в Вирджинии начинался раньше нью-йоркского, то ее положительное решение могло подтолкнуть и Нью-Йорк, на что, собственно, и надеялся Гамильтон, установивший с Мэдисоном курьерскую связь через полстраны. При этом он, не уповая

полностью на других, сам развил лихорадочную активность на нью-йоркском съезде, заседавшем с 17 июня по 26 июля.

Первоначально две трети делегатов шли за антифедералистами. Гамильтон начал словесный поединок с их главным оратором — Меланктоном Смитом, одновременно направляя закулисную обработку делегатов. Смит в резкой форме оспаривал пункт за пунктом, особенно нажимая на сословную спесь противников. «Возможно, — говорил он, — мы были слишком осторожны и чересчур ограничивали власть центрального правительства. Но нам предлагают удариться в другую, более опасную крайность: устранить все барьеры, предоставить государству свободный доступ к нашим карманам, право распоряжаться судьбами людей — и все это без учета настроений народа и обеспечения его представительства... Люди, которые сейчас кричат о необходимости энергичного правления, пойдут дальше, — предостерегал Смит, поглядывая на чопорного, как всегда, подтянутого Гамильтона и его окружение, Скайлера, Джея, Дюана и др., — ряды их растут; они обладают влиянием, талантами и предприимчивостью. Нужно остановить их, пока не поздно».

Гамильтон призывал на помощь все свое красноречие, иногда не брезгуя даже не свойственной ему обычно демагогией. «Почему так часто твердят об аристократии..? — притворно удивлялся он. — Где аристократия среди нас? Где вы найдете людей, навечно поставленных над своими согражданами и обладающих независимой от них властью?» В особо ответственных случаях Гамильтон бил наотмашь, пользуясь риторическими приемами для добивания противника: «Предлагаемая государственная структура так сложна, так искусно построена, что практически исключает возможность успешного прохождения неполитичных или злонамеренных мер. Чего же хотят джентльмены, которые выступают против такого государства? Почему они требуют, чтобы мы ограничились его властью, его возможностями, подорвали его способность осчастливить народ?» «...Когда вы создали систему, совершенную настолько, насколько может быть совершенно творение человека, вы должны довериться, вы должны предоставить власть!» — таков был заключительный аккорд его выступления на съезде. Отчаянные усилия Гамильтона и его сторонников, а также последовавшая вскоре ратификация конституции Вирджинией склонили чашу весов в пользу федералистов: 30 против 27. Решение Нью-Йорка означало окончательную победу конституции. Гамильтон по праву был увенчан всеми лаврами победителя.

На городском параде федералистов торжественно несли

его огромный портрет с текстом конституции в правой руке. Конституция изображалась как символ единства союза и процветания: булочники волокли «федеральную» буханку в четыре метра длиной, пивовары — огромную бочку эля с кудрявым малышом наверху в роли Бахуса; за плугом,пряженным шестью быками, шествовал сияющий Николас Крюгер — первый патрон Гамильтона, одетый простым фермером. Яркая процессия окружала большой макет судна «Александр Гамильтон», олицетворявшего корабль американской новорожденной государственности. Он готовился к отплытию. Власть была завоевана — оставалось употребить ее.

Глава вторая

ВИРДЖИНЕЦ ПОД ЗНАМЕНОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых — право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

То, что практично, зачастую должно преобладать над чистой теорией.

(Т. Джефферсон)

Судьба словно с самого начала уготовила Джефферсону роль антипода Гамильтона — настолько иными были его происхождение и вся атмосфера, окружавшая его с первых дней жизни. В отличие от безродного иммигранта из Вест-Индии, Джефферсона вырастила прародительница американских колоний — Вирджиния, которую он всю жизнь называл «моя страна» и в которую врос по крайней мере на четыре колена своих предков.

Джефферсоны считали себя выходцами из Уэльса (Шотландия), однако достоверные сведения сохранились лишь о прадеде будущего президента — землевладельце средней руки, который умер уже богатым вирджинским фермером. Сын его Томас, судя по тому, что держал скаковую кобылу и числился капитаном ополчения, был уже настоящим джентри — сельским джентльменом. Питер Джефферсон, отец великого вирджинца, по словам сына, не получил серьезного образования, но, «обладая природным умом, трезвым рассудком и жадой знаний, много читал и развивал себя». Что было по тем временам гораздо важнее, Питер был человеком цепким, предприимчивым и честолюбивым. Он неуклонно расширял свои владения и упорно продвигался по ступенькам

местной иерархической лестницы, ни через одну не перескакивая, но и не оступаясь: землемер, судья, а затем и шериф графства Гучлэнд. В 1739 году он взял в жены 19-летнюю Джейн Рэндольф из старейшего и самого родовитого семейного клана колонии. Недаром прадеда и прабабку Джейн называли Адамом и Евой Вирджинии. Рэндольфы, гораздо более богатые и образованные, чем Джефферсоны, состояли в родстве почти со всеми знатными семьями Вирджинии. Скоро Питер стал первым гражданином своего графства — полковником, командиром ополчения и берджессом — членом нижней палаты ассамблеи колонии. 13 апреля 1743 г. в Шэдуэле — одном из имений Питера на западной границе Вирджинии у него родился первый сын, названный в честь деда Томасом.

Первое оставшееся в памяти воспоминание о мире трехлетнего Томаса — черный раб, придерживающий его на подушках в седле. Семья переезжала в Такахое — имение его покойного дяди, Уильяма Рэндольфа, назначившего Питера опекуном своих детей. Там, в просторном особняке под зелеными кронами, среди любящих родных и веселой ватаги детей он и провел свое раннее детство. Воспитанием занимался домашний учитель, но отец, высоко ценивший то, чего не получил сам, мечтал о блестящем образовании для своего сына. Поэтому, как только семья вернулась в Шэдуэл, Томаса отдали в классическую школу преподобного Уильяма Дугласа, где он постиг азы латыни и греческого, заложив необходимый фундамент настоящего образования. Если бы пришлось выбирать между классическим образованием, которое обеспечил отец, и состоянием, которое он оставил, с благодарностью вспоминая на склоне лет Джефферсон, он бы выбрал первое. Но выбирать не пришлось: в 1757 году Питер умер, оставив ему большую часть нешуточного хозяйства: около 7 тысяч акров земли, более 60 рабов, много скота и солидное недвижимое имущество в графстве Олбемал. Но главным наследием Питера Джефферсона, доставшимся его сыну, которого американские биографы-популяризаторы до сих пор любят изображать таким простым пионером-фермером с мотыгой в руках, было надежное место в кругу правящего класса колонии — вирджинских плантаторов. Оставалось лишь дополнить богатство образованием, и тогда Томас мог рассчитывать на все лавры, какими только могла его увенчать Вирджиния.

Два года Томас посещает частную школу весьма образованного священника Дж. Маури, где изучает математику, историю и литературу, совершенствует свои познания в языках. Не меньшее значение в воспитании отпрысков первых семей придавалось и другим достойным занятиям. «Каждый

молодой джентльмен, — писал один из летописцев старой Вирджинии, — должен быть знаком с искусством танца, бокса, игры на дудке, карточной игры и владения шпагой». К картам, боксу и шпаге Джефферсон так и не пристрастился, но зато помимо дудки освоил еще и скрипку. Судя по скудным сведениям о его школьных годах, учился он очень прилежно и увлеченно. Однако завершающей школой манер и образования, приличествующих джентльмену, считалось столичное общество Вильямсберга и тамошний колледж Уильяма и Мэри, куда волей опекунов и был направлен молодой Джефферсон.

Крохотный Вильямсберг, насчитывавший всего полторы тысячи коренных обитателей, был тем не менее главным городом крупнейшей британской колонии, старательно и комично воспроизводившим в миниатюре атрибуты столицы метрополии. Вдоль главной улицы герцога Глочестерского длиной в одну милю располагались Капитолий, где заседали ассамблея и суд, дворец губернатора, главная церковь, театр, таверна Ралея и, наконец, колледж Уильяма и Мэри. Два раза в год — весной и осенью — вирджинские аристократы во главе с плантаторами соседних прибрежных районов покидали имения и приезжали на сессию ассамблеи и суда, где, не торопясь, по-семейному вершили немногочисленные государственные дела.

«Накал» культурной и интеллектуальной жизни здесь, на задворках Британской империи, был прискорбно низок по европейским стандартам. Время ползло по-улиточьи медленно, почти не принося перемен, и даже в «светский сезон» верхушка вирджинского общества пребывала в плену у тягучей, монотонной, но не лишенной приятности тирании сытных званых обедов, охоты, скачек и простого безделья. Страницы дневника Уильяма Бирда, главы еще одной старейшей династии колоний, сохранили для нас подлинную картину типичного образа жизни богатого вирджинского плантатора середины XVIII века. «Второе января. Встал около шести, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил чай. Танцевал. Погода ясная и холодная, ветер северо-западный. Мои люди перевозили гравий. Погашал счета и просматривал документы до обеда, за которым съел пирог с олениной. После обеда играли в бильярд, а затем немного прогулялись. Вечером пришел шлюп за гончарным кругом. Молился». И так день за днем. Впрочем, «сезон» вносил некоторое оживление. «Первое июня. Встал около пяти, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил кофе. Погода очень жаркая, ветер юго-западный. До десяти писал по-английски и погашал счета, затем пошел в Капитолий и сидел там до двух. Обедал

с губернатором и ел молодого гуся. После обеда пошел к леди Рэндольф и пил там чай. Затем прогулялись и зашли к комиссару, с которым сидел до девяти; потом пошел домой и молился».

Бирд был одним из самых образованных и светских людей Вирджинии, что же говорить об остальных — о тех, что не читали на древнееврейском и греческом? Остальные представители «класса богатых», как пишет другой современник и земляк Джефферсона Дж. Такер, «искали отдохновения от пустоты безделья не только в дозволенных радостях охоты и скачек, но и в унижительных удовольствиях петушиных боев, азартных игр и пьянства. Литература пребывала в запустении и культивировалась немногими, получившими образование в Англии, скорее как некое достижение или знак отличия, нежели ради ощутимых благ, которые она может предоставить».

Было бы, конечно, преувеличением изображать всех почтенных вирджинцев бездельниками; хозяйство, если им заниматься всерьез, требовало немало хлопот, но и они расширяли интеллектуальный кругозор не больше, чем традиционные развлечения. «Что за мудрость можно извлечь из скачек или петушиных боев? — иронически вопрошал анонимный вирджинский сатирик 60-х годов XVIII века. — Какой смысл — из гадания на конских волосах и кошачьих кишках? Какие знания — из зимних вечеров за картами или долгих летних разговоров о скоте, лошадях и свиньях? Смените предмет беседы, и вы легко убедите эсквайра в том, что дождь вызывается мочеиспусканием Юпитера через сито, что радуга — смычок, звезды — музыкальные ноты, а метеоры — не что иное, как сморкание лунного человека...».

Естественный вопрос — как на такой почве мог произрасти энциклопедический ум Джефферсона? По-видимому, здесь произошла реакция инстинктивного отторжения интеллекта даровитого и волевого человека от вялой рутины провинциальной жизни. Джефферсон впоследствии сам удивлялся, как смог в «обществе картежников, охотников на лис и любителей скачек» удержаться на стезе познания. Блестящие умственные способности в нем редким образом сочетались с удивительным трудолюбием, страстью к порядку и предельно рациональной организацией всего образа жизни. Оценивая разнообразнейшие познания и достижения Джефферсона, можно только повторить его собственные слова: «Просто удивительно, как много можно сделать, если все время делать что-нибудь». Вся его долгая и многогранная, наполненная трудами жизнь есть триумф неутомимого, дисциплинированного интеллекта, подкрепленного редкостным здоровьем.

Все это проявилось уже в студенческие годы Джефферсона. «Привычка к труду формируется, пока мы молоды, а если нет — то уже никогда позже, — наставлял он много лет спустя свою дочь Марту, — так что вся наша жизнь зависит от правильного использования скоротечного периода юности». Трудно точно сказать, когда он стал таким мудрым, но, видимо, в весьма юном возрасте. «Еще в молодости, — вспоминал его одноклассник по колледжу, — он разработал систему, а то и план на всю жизнь, от которого ни безотлагательные дела, ни соблазны удовольствий не могли оторвать или отвратить его». Образ юного Томаса, уткнувшегося в греческую грамматику на перемене среди резвящихся товарищей, стал хрестоматийным, но это не значит, что он чурался сверстников. И у него были мальчишеские шалости и порывы, порой он скучал в Шэдуэле, где «сегодня флиртуешь с хорошенькой девчонкой, а завтра бродишь уныло один»; была и первая несчастная любовь к 16-летней Ребекке Бэруэлл. Но уже тогда увлечениям, свойственным возрасту, отводилось второе место: Томас удивительно быстро приобщался к серьезному миру взрослых людей и представлений.

К 20 годам он был уже достаточно интересным и образованным человеком, чтобы войти в кружок самых просвещенных людей Вирджинии: профессора колледжа Уильяма Смолла, одного из ведущих юристов колонии Джорджа Уайта и самого королевского губернатора Фрэнсиса Фоке. Способный педагог, Смолл, впоследствии друг Джеймса Уатта, открыл для юноши захватывающий мир науки. От него, вспоминал Джефферсон, «я впервые получил представление о развитии науки и системе явлений, нас окружающих». Эрудит-самоучка Уайт сочетал глубокое знание британского и римского права со страстной привязанностью к древним языкам и литературе, чем покорила Джефферсона на всю жизнь. Талантливый администратор Фоке был «первым джентльменом» Вирджинии, человеком изысканных манер, образцового вкуса и либеральных воззрений. С Джефферсоном его сблизила общая любовь к музыке и совместные музицирования в любительском оркестре. Все трое часто приглашали юношу на дружеские обеды, где он, по его собственным словам, «слышал больше здравых и рациональных суждений и философских разговоров, чем во всей остальной своей жизни. Это были подлинно аттические беседы».

Этот триумvirат оказал глубокое влияние на молодого Джефферсона, долго служил ему эталоном свободомыслия и джентльменского поведения. «Столкнувшись с соблазном или трудностями, — рассказывал он на склоне лет, — я спрашивал себя: а как доктор Смолл, м-р Уайт или Пейтон

Рэндольф поступили бы в этой ситуации? Какая линия поведения принесла бы мне их одобрение?»).

После окончания колледжа в 1767 году Джефферсон под руководством Уайта стал готовить себя к юридической практике — не идеальное, но наиболее приемлемое занятие из тех, которые могла предложить тогдашняя Вирджиния. Торгово-предпринимательской деятельности «аграрное царство» не знало, политика считалась естественным приложением к основным занятиям — земледелию и юриспруденции, общественной обязанностью аристократии. Карьера же врача или священнослужителя его не привлекала совсем.

Сдать экзамен на право заниматься юридической практикой было нетрудно, но Джефферсон потратил на подготовку почти пять лет — гораздо больше, чем его коллеги. И не только от того, что не слишком спешил облачиться в судейскую мантию. Эти годы были для Джефферсона временем необычайно жадного впитывания самых разнообразных знаний. Он основательно овладел пятью языками — греческим, латынью, французским, итальянским и испанским. Сохранившиеся конспекты и записи Джефферсона раскрывают постоянно расширяющийся круг его интересов — от античной литературы и философии до ботаники, зоологии и математики. Когда несколько лет спустя один из его друзей попросил список книг для общеобразовательного чтения, Джефферсон ответил характерным наставлением, основанным на собственном опыте и до сих пор популярным среди американских студентов. «До восьми утра заниматься физикой, этикой, религией и естественным правом», — на полном серьезе советовал он, прилагая соответствующий список книг, подлежащих изучению до завтрака. С восьми до полудня он предписывал чтение по юриспруденции и политике; послеобеденное время должно отводиться для истории, а промежуток «от сумерек до сна» — беллетристике, литературной критике, риторике и ораторскому искусству.

При всей своей неизбывной жажде знаний Джефферсон вовсе не был их неразборчивым накопителем. Смолоду он отличался практическим, подчас просто утилитарным подходом ко всем жизненным явлениям: «Какая разница, сколько лет Земле — 600 или 6 тысяч?» То же самое относилось к извечным философским проблемам смерти, бессмертия и всему прочему, что он считал потусторонней схоластикой. Заметив, что размышления на подобные темы «оставили его в том же неведении, в каком и нашли», Джефферсон, по его собственным словам, «навсегда перестал читать или думать об этом и возложил свою голову на ту самую подушку невежества, которую милостивый создатель сделал для нас

столь мягкой, зная, как часто нам придется почивать на ней». То был ум ясный, активный, жизнеутверждающий.

Свой человек в доме губернатора, частый гость в Капитолии, сведший знакомство со многими ведущими деятелями колонии, Джефферсон за годы учебы вплотную познакомился с действием механизма системы управления Вирджинии.

Главной особенностью общественного устройства Вирджинии был расовый состав ее населения: в 1763 году на 130 тысяч белых приходилось 100 тысяч черных рабов. Колония возникла как белое поселение английских иммигрантов, быстро растущая масса которых с годами раскалывалась на крупных землевладельцев и зависимых от них арендаторов, наемных работников, кабальных белых слуг, составлявших огромное большинство жителей Вирджинии. Низы, пополняемые в основном из вчерашней английской бедноты и вооружаемые для защиты от индейцев, служили горючим материалом колоний, источником многочисленных волнений, среди которых кровавым пятном выделялось восстание Натаниэля Бэкона 1676 года. Вирджинию ожидали смутные времена, но быстрое распространение рабовладения к концу XVII века и замена большей части белых работников черными существенно изменили политическую обстановку в Вирджинии.

Вместо своенравного белого плебса к черной работе были приставлены покорные и бесправные черные рабы. Случавшиеся иногда волнения не шли ни в какое сравнение с былыми мятежами белых и легко подавлялись, а опасность расовых столкновений только спланивала белое население. В Вирджинии, как и в Древнем Риме, права и свободы коренных жителей были сохранены ценой закабаления рабов. Теперь свободнорожденные граждане колонии могли позволить себе даже демократию.

Белые мужчины — те, которые владели не менее чем 25 акрами обрабатываемой земли или домом в городе (таких в пору юности Джефферсона было около половины из общего числа), пользовались правом голоса, то есть раз в три года решали, кто именно из богатых землевладельцев будет заседать в ассамблее. Большую часть остальных должностных лиц назначал губернатор по представлению ассамблеи, практически никогда им не оспариваемому. В итоге какие-нибудь полсотни семей, связанные между собой родственными узами, держали в своих руках все бразды правления. Одни и те же люди заседали в приходском совете и суде графств, были берджессами и командовали ополчением, как, например, Питер Джефферсон, то есть обладали всей полнотой политической, судебной, военной и даже духовной власти. Естественность подобного разделения обязанностей между

«джентльменами способностей и достатка» и теми, кого они называли «мусором», признавалась обеими сторонами.

Политическая монополия землевладельческой аристократии была не только полной, но и надежной, так как, с одной стороны, рядовые фермеры-фригольдеры удерживались в достаточном удалении от рычагов власти, а с другой — их участие в управлении путем голосования казалось им достаточно осязаемым, чтобы удерживать от восстаний против этой власти. Безусловно, этому способствовали относительная обеспеченность белого населения и широкое распространение рабовладения, возвышавшего белых вирджинцев в собственных глазах. «Сочетая в себе качества гражданина и хозяина, — писал о них в своих путевых заметках известный французский путешественник и философ маркиз де Шателье, — они сильно напоминают людей, составлявших то, что называлось «народом» в республиках античности».

Все эти особенности Вирджинии породили особый тип правящей элиты. Опыт и практика самоуправления укрепляли ее свободомыслие, компетентность и независимость, а плантационное хозяйство питало феодальную спесь и властность. «Уединенно-возвышенное положение богатого сельского джентльмена порождает у него весьма величественные представления, — с теплым юмором писал о своих собратьях один из отпрысков вирджинских магнатов Д. Кеннеди. — Он становится непогрешимым, как сам папа римский; постепенно приобретает привычку произносить длинные речи, редко терпит возражения и всегда очень чувствителен в вопросах чести».

Эти твердые, независимые и властные люди чувствовали себя не только хозяевами своей земли и рабов, но и естественными правителями всей колонии. Они «высокомерны и дорожат своими свободами, — рассказывал один английский путешественник, — не выносят ограничений и вряд ли могут примириться с мыслью о контроле со стороны какой-нибудь вышестоящей силы».

Поэтому неудивительно, что когда «вышестоящая сила» — Англия попыталась наложить на них новые ограничения, вирджинская элита пошла в авангарде освободительной борьбы, составив цвет нарождавшегося поколения американских лидеров. Но пока, в начале 60-х годов, маховик старой власти вращался по-прежнему размеренно, и никто еще не мог знать, что колониальный «золотой век» подходил к концу.



С окончанием в 1763 году Семилетней войны между Англией и Францией, в результате которой последняя потеряла свои основные владения в Северной Америке, в колониальной

политике Великобритании произошел резкий поворот. Кабинет Дж. Гренвилла решил переложить на самих колонистов часть финансового бремени, возросшего за годы войны и отчасти связанного с содержанием английских войск на новых границах колоний. В 1764—1765 годах последовала серия мер («сахарный закон», законы о постое и гербовом сборе), вводящих прямое налогообложение колоний для пополнения королевской казны. Кроме того, прокламацией 1763 года запрещалось свободное переселение колонистов за Аллеганские горы. То, что в Лондоне представлялось логичным и естественным, казалось уязвленным колонистам попранием их священных и привычных прав. Недовольство зрело постепенно; даже после известия о принятии закона о гербовом сборе большинство членов вирджинской ассамблеи были настроены нерешительно. 30 мая на заседании берджессов только что избранный молодой юрист П. Генри произнес свою знаменитую речь, резко диссонировавшую с настроением законодателей. «У Цезаря был Брут, у Карла I — Кромвель, и Георг III может извлечь из этого уроки». Стоявший в дверях Джефферсон оказался в числе немногих, охваченных энтузиазмом. «Ничего подобного я никогда не слышал», — писал он позднее в автобиографии.

Неистовый Генри после внушения спикера Робинсона извинился, признав, что «горячка страсти заставила его сказать больше, чем он намеревался». Тем не менее именно эти слова сделали Генри героем дня, а одна из предложенных им резолюций об исключительном праве ассамблеи облагать налогами своих граждан была принята. Примеру Вирджинии последовали другие штаты, и Лондон в конце концов отменил закон о гербовом сборе. Воцарившееся было спокойствие вновь нарушилось в 1767 году после принятия законов Тауншенда о таможенных пошлинах на ввозимые в колонии свинец, стекло, бумагу, чай.

Весной следующего года ассамблея Вирджинии снова направила королю протест, в котором объявила законы Тауншенда неконституционными и грозила бойкотом обложенных налогами товаров.

На сей раз — и это был тревожный для короны симптом — зачинщиками выступили умеренные и осторожные политики — Э. Пендлтон, Р. Блэнд, А. Кэри. Движение бойкота вскоре охватило всю страну, и Вирджиния тоже должна была сказать свое слово. Это и произошло на майской сессии ассамблеи в 1769 году; к тому времени 26-летний юрист Джефферсон был избран берджессом от своего графства Олбемал. Он вошел в политику не только из честолюбия, но и руководствуясь принципом «благородство обязывает»: политическая деятельность

служила почетным и неотъемлемым атрибутом всякого уважающего себя плантатора, чего нельзя было сказать о философских и научных занятиях. «Сам Сократ, — говорил Джефферсон, — был бы не замечен в Вирджинии, если бы не стал общественным деятелем». К власти плантаторы приучались смолоду. Начальной, почти обязательной ступенью служил пост мирового судьи в графстве, где молодой человек знакомился с законами и участвовал в их отправлении. Затем, если он себя хорошо зарекомендовал и приобрел известность в графстве, он мог рассчитывать на избрание в ассамблею. Джефферсон в свои годы смог перескочить первую ступеньку потому, что кроме имени и 7 тысяч акров отца он располагал и уже завоеванной собственной репутацией среди плантаторской верхушки. Единственная небольшая трудность заключалась в том, что как человек замкнутый и застенчивый он был плохо приспособлен к избирательным кампаниям даже в их тогдашнем смысле. «Лучшие из джентльменов», сетовал его современник, должны «фамильярничать с народом», используя «разлагающее влияние спиртных напитков и другие средства такого же свойства». Выставленные избирателям бочонок рома и корзина пирожных легко устранили и это последнее препятствие. В стенах Капитолия молодой долговязый законодатель затерялся в шеренге маститых и тертых политиков, среди которых возвышалась внушительная фигура человека с военной выправкой и стальными глазами — полковника Джорджа Вашингтона.

На сессии Джефферсон вместе с большинством делегатов поддержал резолюцию Вашингтона о солидарности с протестом Массачусетса против введения в Бостон английских войск и о выдвижении лозунга «никакого налогообложения без представительства». Губернатор лорд Ботетур (Фоке умер в 1768 г.) «имел удовольствие распустить собрание». В ответ 69 делегатов, собравшихся в таверне Ралея, приняли решение об образовании ассоциации противников английского импорта, после чего дружно подняли тост за здоровье его величества Георга III. В их числе, хотя и не в первых рядах, был и молодой делегат от Олбемала. Так он принял боевое крещение, но до настоящей схватки дело не дошло, ибо к осени законы Тауншенда, за исключением символического налога на чай, были отменены, и движение бойкота в Вирджинии, как и в других штатах, тихо умерло естественной смертью.

Старые добрые времена, казалось, вернулись вновь — к удовольствию старожиллов и немалому разочарованию молодых горячих голов. Годы спустя Джефферсон задним числом порицал земляков за то, что в то время они «впали в состояние бесчувствия к нашему положению». Он уже успел полно-

стью окунуться в конфликт с метрополией, который будоражил ум и сердце, давая богатую пищу его интеллекту. Джефферсон углубляется в целенаправленное изучение политики, ищет в истории прецеденты борьбы колоний за независимость, выписывая цитаты, подобные этой: «По мере своего усиления они порывали со своей зависимостью».

Как теоретик он, видимо, перебирал в уме все возможные варианты развития событий, но жить тем не менее нужно было в реальном мире. Ни Джефферсон, ни другие вирджинские политики не рассчитывали тогда на отделение от метрополии или на какие-то необычные горизонты политической карьеры. Жизненная программа Джефферсона в те годы была достаточно типичной для людей его круга, хотя и отражала все разнообразие его склонностей. Ее символом в какой-то степени стало Монтичелло — «маленькая гора», как на итальянский лад назвал он свое имение на лесистом холме неподалеку от Шэдуэла. Здесь, вдали от дорог и селений, среди лесных зарослей, зеленых холмов и долин, венчаемых на западе величавым силуэтом горного хребта Блу Ридж, он решил воздвигнуть свой дом, совсем непохожий на однообразные кирпичные строения вирджинской знати. Его пленил образец римских загородных вилл времен античности, воскрешенных в XVI веке архитектором итальянского Возрождения Андреа Палладио.

В начале 1772 года Джефферсон привез в строящийся Монтичелло свою жену — 23-летнюю вдову Марту Скелтон, дочь богатого юриста и работоторговца Джона Уэйлза. Их брак стал счастливым союзом, и Джефферсон оказался образцовым отцом семейства. В следующем году его тесть умер, оставив дочери около 11 тысяч акров земли и более сотни рабов. Даже после продажи половины этого имущества для покрытия долгов покойного у молодой четы осталось огромное хозяйство — более 10 тысяч акров и около 180 рабов.

К 30 годам Томас Джефферсон достиг большего, чем в свое время его отец. Богатый плантатор, процветающий юрист, депутат ассамблей, полковник ополчения графства, счастливый муж и отец, владелец прекрасного дома, полного книг и музыкальных инструментов, он готовился прожить долгую, спокойную и насыщенную жизнь джентльмена, законодателя и ученого — жизнь профессора Смолла, юриста Уайта и губернатора Фоке, вместе взятых.

Но водоворот развивающихся событий неумолимо втягивал Джефферсона, и если первый кризис в отношениях с Англией он наблюдал со стороны, а во втором принял некоторое участие, то в надвигающемся третьем — и решающем — ему суждено было сыграть яркую историческую роль.

В ноябре 1772 года сравнительное спокойствие в отноше-

ниях с Англией было нарушено — в бостонском порту патриоты подожгли английский корабль «Гэспи».

Группа молодых вирджинцев во главе с Патриком Генри, братьями Ли и Джефферсоном использовала этот инцидент для создания в Вирджинии «комитета связи» по образцу бостонского. Он оказался как нельзя более кстати: весеннее заседание ассамблеи совпало с получением известия о «чаепитии» и блокаде порта в Бостоне. Хотя эти события не затрагивали Вирджинии непосредственно, чувство солидарности с осажденным Массачусетсом было сильно: «сегодня — Бостон, завтра — мы». Выступая от имени наиболее решительно настроенных делегатов, Джефферсон предложил объявить 1 июня днем поста и молитв, дабы «утвердиться в защите своих прав и обратить сердце короля и парламент к умеренности и справедливости». Резолюция была принята, и новый губернатор лорд Данмор вновь имел опостылевшее уже «удовольствие распустить ассамблею». По установившейся традиции, возбужденные депутаты собрались 27 мая в таверне Ралея, где решились на серьезное дело — предложили созвать конгресс всех колоний и восстановить ассоциацию торгового бойкота английского импорта.

Вирджиния всколыхнулась. «Люди встречались с выражением тревоги и озабоченности, — вспоминал Джефферсон, — воздействие этого дня на всю колонию было подобно электрическому разряду». Даже осторожные политики типа Вашингтона заговорили воинственно; по их мнению, наступал час решающего противостояния: «Налицо кризис, в котором мы должны отстаивать наши права или подчиниться».

Правящий класс Вирджинии поднимался на борьбу за независимость быстро и, по существу, единой фалангой, что объяснялось не какой-то особой доблестью вирджинцев, а тем своеобразием ее условий, о котором уже шла речь. Бесцеремонность короны, помимо прочего, создавала изрядный потенциал антибританских настроений, которые накапливались пропорционально увеличению долга вирджинских плантаторов английским торговцам, составлявшего накануне революции, по оценке самого Джефферсона, 2 миллиона фунтов стерлингов. С другой стороны, хозяева Вирджинии могли легко позволить себе предаться радикальному духу протеста, ибо имели за собой надежный тыл. Даже в самые острые моменты освободительной борьбы Вирджиния не знала стихийных народных волнений и беспорядков, подобных тем, которые постоянно вспыхивали в колониях с крупными городами, подобными Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии. Страх перед городской «мятежной толпой», преследовавший Г. Морриса и Гамильтона, вирджинской верхушке был неведом.

Если добавить к этому сравнительную однородность и сплоченность местной аристократии, то станет ясно, почему освободительное движение, полностью контролируемое сверху, развивалось здесь столь ровно и спокойно.

И хотя радикалы — Генри, Мэйсон, Джефферсон и др. шли впереди большинства, это объяснялось скорее возрастом и темпераментом, нежели какими-то принципиальными расхождениями. «Мы зачастую хотели продвигаться быстрее, — писал впоследствии сам Джефферсон, — но замедляли свой шаг, чтобы наши менее рьяные коллеги не отставали, а они, в свою очередь нисколько не расходясь с нами в принципе, также ускоряли свою поступь...»

Путь Джефферсона к революции был типичным для своего сословия; нетипичной была широта взглядов и образованность, превратившие его в одного из ведущих ее идеологов.

На пути в большую политику Джефферсона временно остановила... дизентерия: по дороге на вирджинский конгресс он заболел, вернулся домой и не попал в число делегатов колонии на первый континентальный конгресс. Тогда он передал П. Генри и П. Рэндольфу подготовленный им проект резолюции для делегации Вирджинии. Он показался землякам слишком резким, но, дабы труд не пропал даром, они распространили текст отдельной брошюрой сначала в Вильямсберге, а затем и в других городах под названием «Общий обзор прав британской Америки», подписанный просто — «эсквайр, член палаты берджессов». Это первый основательный политический опыт Джефферсона, по которому можно судить о становлении его политических взглядов.

Молодой мыслитель вооружился мощным идейным оружием — концепцией естественного права народа колоний распоряжаться своей судьбой, которое мы сейчас называли бы правом самоопределения. «Наши предки... владели правом, которое природа дает всем, покинуть страну, когда не остается другого выбора, в поисках нового местожительства и основывать там новые общества в соответствии с законами и порядками, больше всего содействующими, по их мнению, счастью народа». Чем колонисты хуже древних саксонцев, заселивших когда-то Британские острова? Они сами создали свой государственный строй и добровольно сохранили свое подчинение королю, а следовательно, парламент «не имеет права проявлять свою власть над ними». Да и вообще, вопрошает Джефферсон, с какой стати 160 тысяч избирателей с островов Великобритании должны подписывать законы для 4 миллионов жителей американских штатов, «каждый из которых не уступает им ни в доблестях, ни в умственных и физических способностях?»

Полностью отрицая роль метрополии в развитии колоний, Джефферсон, конечно, подправлял историю, но ведь он и писал не летопись событий, а пропагандистский документ, отрицающий власть парламента над колониями. Эта идея тогда только еще пробивала себе дорогу, и Джефферсон вместе с Б. Франклином стал одним из первых ее проповедников. По логическому развитию его аргументация подводила к идее независимости, но к такому резкому повороту он еще не был готов. Он подробно перечисляет злоупотребления парламента, в которых усматривает «преднамеренный, систематический план нашего порабощения». Его надежды на обуздание парламента обращены к королю. «Откройте свое сердце, ваше величество, либеральным и широким мыслям. Пусть имя Георга III не запятнает страниц истории». Но это обращение выдержано вовсе не в подобострастном, а скорее в требовательно-назидательном духе; Джефферсон прямо-таки диктует Георгу III, что тот вправе и чего не вправе делать: по мнению Джефферсона, он не вправе посылать войска, раздавать земли, распускать законодательные собрания и т. п., ибо и король объявляется подвластным естественным законам: «Народ требует своих прав как выведенных из законов природы, а не как дара, пожалованного верховным правителем. Пусть льстит тот, кто боится: это искусство не отличает американцев... Они знают и потому могут открыто заявить, что короли — слуги, а не хозяева народа... Все искусство правления заключается в умении быть честным. Старайтесь только выполнять свой долг, и человечество воздаст вам должное, даже если вы потерпите неудачу». Возможно, эти дерзкие наставления и не достигли ушей короля Георга, хотя палата лордов не замедлила занести имя автора в список особо опасных для государства лиц, но их хорошо услышали и запомнили соотечественники.

События между тем развивались со все возрастающей быстротой. Власть губернатора, лишенного поддержки войск, таяла с каждым днем и переходила в руки «комитетов связи». Суды графств закрылись, и в ноябре 1774 года Джефферсон закончил свое последнее судебное дело, навсегда распрощавшись с юридической практикой. В марте следующего года собрался второй конвент колонии, на котором опять бушевал неистовый Патрик Генри: «В действительности война уже началась! Следующий порыв северного ветра донесет до нас железный лязг оружия! Наши братья уже на поле брани — почему мы стоим без дела? Неужели жизнь так дорога, а мир столь сладок, чтобы покупать его ценой цепей и рабства? Спаси нас от этого, господи боже!.. Дайте мне свободу или дайте мне смерть!».

Порыв «лесного Демосфена», как называл Патрика Дж. Г. Байрон, подтолкнул Джефферсона к одному из его считанных публичных выступлений — он высказался в поддержку резолюций Генри об усилении и подготовке отрядов ополчения и вошел в комитет по этим вопросам. Конвент избрал его запасным делегатом на второй континентальный конгресс. Видя, что события принимают опасный оборот, губернатор Данмор в конце апреля распорядился перебросить запасы пороха, принадлежавшего колонии, на королевское судно, чем предоставил вирджинцам возможность заполнить одну из самых легендарных страниц борьбы за свободу. Вездущий Генри с отрядом ополчения нагрязнул к губернатору и заставил его оплатить общественное имущество, после чего тот счел за благо последовать за украденным им порохом — под защиту корабельных пушек. Вскоре «северный ветер» донес весть о Конкорде и Лексингтоне: она, как писал Джефферсон, «уничтожила последнюю надежду на примирение, и приступ мщения охватил, казалось, людей всех возрастов». А еще через несколько недель в фазтоне, запряженном четверкой добрых лошадей, он выехал в Филадельфию — навстречу судьбе и большой политической карьере.

19 июня вирджинец занял свое место в филадельфийском Стейт-хауз, где заседал континентальный конгресс. Здесь он впервые познакомился с Б. Франклином, Джоном и Самуэлем Адамсами, Джоном Хэнкоком и другими лидерами освободительного движения. Собственная известность уже обгоняла его. Джефферсон, вспоминал Джон Адамс, принес с собой «литературную и научную репутацию, а также счастливый дар изложения». Своей необыкновенной эрудицией он был известен даже в Нью-Йорке как «величайший разгребатель пыли», по выражению Дж. Дюана. Неважный оратор по сравнению с велеречивыми земляками, он, однако, сразу же стал незаменимым человеком в комитетах. «Хотя и молчаливый в конгрессе, он был настолько исполнительным, откровенным, определенным и решительным в комитетах.., что сразу же покорила меня», — писал скупой на похвалы Джон Адамс.

После сражения при Бенкер-Хилле конгресс объявил о создании континентальной армии под командованием Вашингтона и предписал Джефферсону вместе с Б. Франклином, Д. Джемом, Д. Дикинсоном и Э. Рутледжем составить проект декларации, обосновывающий необходимость взяться за оружие. Само включение 32-летнего вирджинца — второго по молодости из членов конгресса в это созвездие его лучших умов было признанием способностей Джефферсона, но пока — как младшего партнера. Его проект, слишком пространный

и декларативный, уступал простому и энергичному варианту Дикинсона, хотя тот и позаимствовал кое-что у своего младшего коллеги. Многоопытному Дикинсону принадлежали и самые памятные слова этого документа: «Мы подсчитали цену борьбы и не нашли ничего более ужасного, чем добровольное рабство... Наше дело правое. Наш союз крепок. Наши внутренние ресурсы велики, и иностранная помощь, несомненно, подоспеет в случае необходимости».

25 июля конгресс принимает составленную Джефферсоном решительную резолюцию в ответ на примирительное предложение лорда Норта и одновременно — верноподданническую петицию королю, подготовленную Дикинсоном. Джефферсон как будто скептически относится к попыткам примирения. «Страна вступает в войну без перспективы примирения», — сообщает он родственнику Ф. Эйпсу. И все-таки иллюзии мирного воссоединения, а значит, и возвращения к прежней жизни в Монтчелло еще живы в нем. «Я из тех, кто искренне желает воссоединения, — пишет он в конце августа своему дяде Джону Рэндольфу — близкому родственнику и одному из немногих вирджинских лоялистов, собирающемуся в Англию, — и предпочел бы зависимость от Великобритании, ограниченную должным образом, зависимости от другой страны или независимости». Осознание неизбежности окончательного раскола и войны приходит к нему медленно и с горечью, как и к большинству делегатов, быть может, еще и потому, что гром барабанов войны никогда не прельщал его, а особенно теперь, когда ее пламя занималось уже и в самой Вирджинии. В ожидании подкреплений лорд Данмор начал вербовать рабов, даруя им свободу и мушкеты для «охоты» на вирджинских ополченцев. К началу декабря у него в отряде было уже более 300 черных солдат под флагом с надписью «Свободу рабам!». Такой вариант эмансипации заставил содрогнуться даже гуманного Джефферсона. Последствия расовой войны, разжигаемой англичанами, было страшно представить. А вестей из дома, как нарочно, нет уже больше месяца. «Тягостное ожидание, в котором я нахожусь, — писал он Эйпсу, — невозможно вынести. Если что-нибудь случилось, ради бога, дайте мне знать об этом». В конце декабря, забыв о политике, Джефферсон мчится домой, на Юг, где уже гремят выстрелы: Данмор высадил десант, но был разбит вирджинским ополчением в бою под Норфолком.

Остаток зимы и весну Джефферсон безвылазно просидел в Монтчелло, чем основательно озадачил своих друзей, а позднее — биографов. Даже «Здравый смысл» Пейна, всколыхнувший всю страну, не сдвинул его с места. Он словно медлил

перед последним решительным шагом. Только в мае Джефферсон спустился со своего холма, окунувшись в политическую жизнь, и тогда «спячка» в Монтичелло сменилась полосой бурной политической деятельности.

К тому времени дело борьбы за независимость продвинулось далеко вперед: полным ходом велись переговоры об иностранной помощи, американские суда каперствовали против англичан, которые эвакуировались из Бостона, конгресс направил войска в поход на завоевание Канады. 15 мая, на следующий день после приезда Джефферсона, в конгрессе была принята резолюция Дж. Адамса, рекомендовавшая колониям создать собственные органы управления. В тот же день вирджинский конвент инструктировал своих делегатов в конгрессе, требуя провозгласить независимость колоний, а сам приступил к разработке конституции Вирджинии. Рубикон был перейден. «Я так долго находился вне мира политики, — пишет Джефферсон Пейджу 17 мая, — что чувствую себя новым человеком».

7 июня Ричард Ли, выполняя наказ Вирджинии, внес на рассмотрение конгресса знаменитые резолюции независимости, предусматривавшие полное отделение от метрополии, создание конфедерации штатов и заключение союзов с иностранными государствами. Лидеры конгресса спешили с провозглашением независимости прежде всего по внешнеполитическим соображениям. Они отлично понимали, что только независимое и суверенное государство, а не взбунтовавшиеся подданные Великобритании, какими оставались колонии в глазах внешнего мира, могло рассчитывать на иностранную помощь, столь необходимую в борьбе с превосходящими силами метрополии. «Независимость, — заявил Р. Ли при внесении своих резолюций, — не вопрос выбора, а необходимость как единственный способ для заключения союзов с иностранными государствами». Те же аргументы выдвигались в инструкциях штатов своим делегатам и в стенах самого конгресса. Как записал суть доводов сторонников этого шага сам Джефферсон, «только провозглашение независимости даст возможность европейским странам иметь с нами дело в соответствии с их порядками...». В горячих дебатах менее решительная часть делегатов добилась отсрочки принятия резолюций до 1 июля; решено было также создать специальный комитет для выработки соответствующей декларации.

Джефферсон в этих дебатах не участвовал. Союз не существовал еще даже на бумаге, и все помыслы его были устремлены к Вирджинии, где открывалась уникальная для мыслителя возможность применить республиканские теории на практике — в выработке новой конституции. «Это дело чрезвычай-

но интересного свойства, в котором каждый желал бы участвовать, — пишет он приятелю Т. Нельсону в Вильямсберг, — воистину в этом заключается весь смысл нынешнего сбора, ибо если будет создано влохое правление, то можно было бы с таким же успехом довольствоваться прежним — предложенным нам из-за океана, без риска и затрат борьбы». Не вправе покинуть конгресс в эти решающие дни, он вынужден был довольствоваться посылкой собственного проекта конституции. Послание достигло Вирджинии к концу июня — слишком поздно, чтобы оказать серьезное влияние на разработку конституции. Земляки позаимствовали из него лишь список злоупотреблений королевской власти — в качестве преамбулы. Однако проект этот представляет для нас значительный интерес как концентрированное выражение политических взглядов самого Джефферсона в тот период.

В целом его план был более демократичен, чем принятый съездом проект Дж. Мэйсона. Он предусматривал распространение права голоса на всех фригольдеров, владеющих не менее чем 25 акрами земли, ограничение полномочий исполнительной власти, запрет работорговли, билль о правах, утверждающий свободу слова, вероисповедания и другие демократические права. Особенно смелой для своего времени была аграрная программа Джефферсона. Он предлагал использовать фонд свободных земель, превращенный в общественное достояние, исключительно для безвозмездного наделения землей малоимущих и неимущих белых граждан — 50 акров каждому. Это вполне соответствовало его идеалу фермерской республики, но шло вразрез с видами большинства плантаторов на свободные земли. План встретил такой отпор, что публично Джефферсон к нему уже больше не возвращался, хотя этот проект остался в истории одним из первых идейных прообразов американского пути развития сельского хозяйства, на который страна встала только после гражданской войны. Станным, однако, было то, что сенат, по проекту Джефферсона, должен был не избираться непосредственно, как в плане Мэйсона, а назначаться палатой представителей, причем на 9-летний срок. «Почему?» — недоумевал даже крайне осторожный Э. Пендлтон, обсуждавший тогда в переписке с Джефферсоном проблемы государственного устройства Вирджинии. «Я имею в виду две цели, — откровенно отвечал автор проекта, — заполучить мудрейших из числа избранных и сделать их совершенно независимыми после избрания. Я всегда замечал, что выбор, сделанный самим народом, как правило, не отличается мудростью. Его первое выделение обыкновенно грубо и разнородно. Но придайте избранным таким образом возможность второго выбора — и они выберут достойных».

В аналогичных выражениях молодой Гамильтон рекомендовал Г. Моррису отказаться от прямого избрания губернатора. Здесь прослеживается одно из самых прочных и живучих, как мы увидим, убеждений Джефферсона — о необходимости «фильтрации» воли народа.

Рвущийся в Вирджинию на конституционный съезд Джефферсон не подозревал, что сама история стучится к нему в дверь. Вместе с Б. Франклином, Дж. Адамсом, Р. Ливингстоном и Р. Шерманом он был избран в состав комиссии по подготовке Декларации независимости. Логичной кандидатурой от Вирджинии был автор исторических резолюций Р. Ли, но он, сославшись на неотложные дела, уехал в Вильямсберг. Члены комитета поручили Джефферсону, как самому молодому и обладающему отменным слогом, подготовить проект, избавив себя от лишних хлопот, а заодно — и от будущей славы. С 14 по 28 июня в доме каменщика Граффа на углу Базарной и Седьмой улиц, где он снимал две комнаты, в часы, свободные от заседаний, Джефферсон и составил первоначальный вариант декларации.

Перед ним стояла практическая и пропагандистская в своей основе задача: не столько провозгласить независимость (это уже было сделано 2 июля принятием резолюций Р. Ли), сколько доказать законность и правомерность этого акта всему миру в силу того «должного уважения к мнению человечества», как сказано в преамбуле документа, которое «обязывает изложить причины, побуждающие его к отделению». Но только редкое дарование автора, его «особая», как говорил Джон Адамс, «способность к выразительности» превратили очередной пропагандистский документ в явление исторической важности.

Сам Джефферсон уже на склоне лет, пожалуй, лучше всех объяснил замысел декларации: «Цель заключалась не в том, чтобы найти новые принципы или аргументы, над которыми раньше не задумывались, и не просто в том, чтобы сказать что-то, прежде не высказанное, но в том, чтобы изложить человечеству здравую суть дела в выражениях, достаточно простых и твердых, чтобы заручиться его согласием и оправдать ту независимую позицию, которую нам пришлось занять. Не претендующая на оригинальность принципов или чувств, не списанная с какого-либо конкретного предшествующего труда, она была задумана как выражение американского разума и должна была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка».

С точки зрения выполнения этих задач Декларация независимости является совершенной как по композиции, стилю и языку, так и по самому содержанию. Чтобы оправдать вос-

стание колоний с моральных и правовых позиций, требовалось выйти за пределы общепринятой тогда доктрины «божественного права» королей, не признававшей законности бунта, и противопоставить ей иную концепцию. Поэтому в преамбуле Джефферсон дает непревзойденное по емкости и лаконичности изложение теории естественного права народа на самоопределение. «Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых — право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правления становится губительной для этой цели, то народ вправе изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью».

Хотя принцип равноправия у Джефферсона не распространяется на черных и женщин и точнее может быть сформулирован как «все белые мужчины сотворены равными», Декларация независимости при всей ее ограниченности осталась в истории, по словам К. Маркса, как «первая декларация прав человека». Идеи равноправия людей, народного суверенитета и вытекающее из него право каждого народа изменять свое государственное устройство, подчинение последнего интересам развития индивидуальной свободы и счастья как высшей ценности — практически все кредо Просвещения изложено в этих 100 незабываемых словах. Идеи эти были давно известны, но впервые в истории они провозглашались от имени целого государства.

Отброшены традиционные и избитые рассуждения о полномочиях парламента и короля, правах британских подданных; весь конфликт с метрополией возносится на высоту предельного обобщения, где остаются лишь два субъекта — свободный американский народ, защищающий свои естественные права, и тирания, персонифицированная в личности короля-узурпатора. В доказательство «на суд беспристрастному миру» представляется длинный перечень злоупотреблений и узурпаций, занимающий две трети всего документа. Эта часть сейчас кажется слишком тенденциозной и архаичной, но она была вполне оправданна и необходима с точки зрения пропагандистских задач. В конце концов, как пишет самый авторитетный из современных биографов Джефферсона Д. Мэлон, «моральный перевес был на стороне патриотов и казался таким подавляющим, что он не видел необходи-

мости прибегать к помощи аптекарских весов». Вслед за списком злоупотреблений следует перечень тщетных попыток колоний возвать к совести короля и братьев-британцев, что усиливает контраст между агрессивным тираном и робкой жертвой. После этого остается только удивляться долготерпению колонистов — как раз этого и добивался автор. И уже затем единственно возможным выходом из описанной ситуации объявляется провозглашение независимости колоний.

Легко заметить, что Джефферсон весьма деликатно обошелся с Георгом III. Томасу Пейну в «Здравом смысле», например, не требовалось длинного списка злоупотреблений, чтобы доказать низость короля: любой король для него — презренный тиран, заслуживающий лишь низвержения. Джефферсон же доказывает, что Георг III «не может быть правителем свободного народа» не потому, что он — король, а потому, что он — несправедливый король, узурпатор. Это и понятно — декларация была призвана снискать Соединенным Штатам поддержку «справедливого мира», а он был тогда сплошь монархическим, и чрезмерное тираноборство могло отпугнуть потенциальных союзников.

Первый набросок Джефферсона настолько удался, что Франклин и Дж. Адамс высказали лишь мелкие замечания, после чего автор окончательно отредактировал текст, и уже 28 июня, одобренный комитетом, он лег на стол конгресса. Джон Адамс, ревностно относившийся к прижизненной славе Джефферсона, в 1822 году пробурчал, что в Декларации независимости «не было ни одной идеи, которая бы не муссировалась в конгрессе два предыдущих года». Не отрицал этого и сам Джефферсон; да и странно было бы оправдывать отделение колоний неведомыми доселе принципами. Идеи эти носились в воздухе, и Джефферсон лишь облек их в совершенную форму. Вместе с тем, хотя он и утверждал, что не пользовался никакими непосредственными источниками, у декларации были свои прямые предшественники. Формулировка прав человека взята, по всей вероятности, из «Второго трактата о государстве» Джона Локка — главного авторитета для лидеров колоний. Примечательная и обычно акцентируемая разница состоит в замене локковской «собственности» на «стремление к счастью» — типичное определение просветителей XVIII столетия, провозгласивших смыслом жизни земное счастье человека вместо потустороннего рая, обещанного религией. Замена была, разумеется, не случайной, но это не значит, что Джефферсон считал право собственности излишним. Позже в письме Дюпону де Немур он писал, что право собственности есть «основное естественное право, заложенное в наших природных стремлениях и в средствах, которыми мы это

стремление осуществляем...» Частная собственность считалась еще и необходимым условием реализации всех других прав; не случайно в первоначальном варианте декларации говорилось, что «люди сотворены равными и независимыми», то есть наделенными самостоятельными источниками существования. Вместе с тем в просветительской шкале ценностей право собственности не являлось правом высшего порядка и могло быть вынесено «за скобки», тем более что Джефферсон вслед за более радикальными просветителями — шотландцем Ф. Хатчесоном и др. не считал его полностью неотчуждаемым, соглашаясь с возможностью некоторого ограничения права собственности, дабы «оно не нарушало сходных прав других разумных существ».

Еще ближе к декларации стоит вирджинский билль о правах, составленный Мэйсоном в мае и хорошо знакомый Джефферсону. Преамбула билля гласит: «Все люди от природы свободны и независимы и наделены определенными врожденными правами..., а именно: наслаждение жизнью и свободой вместе со средствами приобретения и обладания собственностью и достижения счастья и безопасности. Вся власть принадлежит народу и, следовательно, от него исходит».

Конгресс обсуждал проект два дня, внес некоторые изменения, и 4 июля Декларация независимости была принята. Как и всякий хороший стилист, Джефферсон болезненно воспринял коррективу конгресса, назвав ее грабежом. Видимо, поэтому он разослал близким друзьям декларацию в ее первоначальном варианте. На деле текст только выиграл: были убраны утомительные юридические подробности, длинноты и чрезмерно напыщенные фразы. Даже исключение известного пассажа, в котором вся вина за «отвратительную» работорговлю и само рабство в выпренных выражениях возлагалась на того же вездесущего Георга III, улучшило документ, ибо в данном случае и без «аптекарских весов» было ясно, что главную ответственность за это несут сами колонии.

Однако не эти преходящие моменты, а те самые 100 слов составили бессмертную славу декларации. «Честь и слава Джефферсону, — говорил президент Авраам Линкольн, — который... имел достаточно хладнокровия и предвидения, чтобы внести в обыкновенный революционный документ абстрактную истину, применимую ко всем временам и народам».

Но в горячке июльских дней 1776 года ни автор декларации, ни страна в целом не сознавали исторического значения документа, который уже начал свою самостоятельную жизнь. Его авторство оставалось еще несколько лет неизвестным, да и сам он не сразу приобрел большую популярность. Прой-

дет много лет, прежде чем потомкам откроются подлинные масштабы исторических событий; тогда окажется, что Декларация независимости была самым высоким и ярким взлетом свободомыслия молодой американской буржуазии, до которого она уже больше никогда не поднимется и который будет сиять в веках манящим светом неосуществленного идеала. Ну а в те времена предводители колоний смотрели на эти вещи сугубо практически. Единодушное одобрение конгрессом, в котором преобладали трезвомыслящие буржуа, революционной преамбулы декларации было отнюдь не случайным. Она рассматривалась прежде всего как документ «психологической войны», созданный на потребу дня и адресованный внешнему миру, а не как вечное обязательство перед своим собственным народом.

Другое дело — большая государственная печать, создаваемый на века символ новой власти. Джефферсон, которому наряду с Франклином и Дж. Адамсом конгресс поручил и эту миссию, предложил изобразительное решение в духе своей преамбулы: Моисей, стоящий на берегу и простирающий свою длань над морем, повелевая ему поглотить фараона, сидящего в открытой колеснице с короной на голове и мечом в руке. С огненного столпа в небесах на Моисея падают лучи света, дабы подчеркнуть, что он действует по велению божества. Девиз (предложенный Франклином. — *В. П.*) — «Восстание против тиранов есть послушание богу».

Увековечить призыв к бунту в качестве эмблемы государственной власти? Выказав должную бдительность, конгресс в конце концов заменил тираноборца Моисея грозным монархического вида орлом («этой отвратительной облезлой птицей», по выражению Б. Франклина), а будоражащий девиз — подчеркнуто нейтральным «*E Pluribus Unum*» («Из множества — единство»). Так оно и осталось по сей день, а Джефферсон, не желая расставаться с дорогим сердцу афоризмом, приберег его для своей личной печати, скреплявшей частную корреспонденцию.

Однако в те дни и Джефферсон вряд ли чувствовал, что творит историю. Мы даже не знаем, участвовал ли он в подписании декларации 4 июля или подписывал ее позднее вместе с другими. День 4 июля, судя по его записям, ничем не отличался от предыдущих: температура в шесть часов утра была 68 градусов по Фаренгейту, а наивысшая днем — 76 градусов; он купил термометр и заплатил за семь пар женских перчаток. Его больше волновало состояние беременной жены и дела родной Вирджинии, куда он и вернулся при первой возможности, уговорив Генри Ли заменить его в конгрессе: «Я принял священное обязательство вернуться домой».



Для Джефферсона, в отличие от большинства его состоятельных земляков, революция не окончилась отделением от короны. Вирджиния, оставшаяся и после провозглашения независимости той же аристократической республикой, расходилась с его философским идеалом общественного устройства, а практическое чутье политика подсказывало, что лучшего момента для приведения действительности в соответствие с ним уже не будет. Он не устал повторять, что самое благоприятное время «для юридического закрепления всех основных прав — пока наши правители честны, а мы едины. С окончанием войны мы покатаемся вниз. Тогда отпадет необходимость постоянного обращения за поддержкой к народу ... Его права будут преданы забвению. Он забудет о своих нуждах и о себе в единственном стремлении делать деньги и не подумает объединиться для обеспечения должного уважения к своим правам. Поэтому эти оковы, если их не сбросить во время войны, останутся с нами надолго и будут все тяжелей». Для философа-политика вызов был действительно неотразим, но в чем же заключались эти оковы?

На склоне лет, вспоминая свою реформаторскую деятельность в Вирджинии, Джефферсон выделил три кита, составляющие «систему, посредством которой будут уничтожены все корни прежней или будущей аристократии и заложены основы истинно республиканского правления», — это отмена права первородства и майората, установление свободы вероисповедания и, наконец, проект системы всеобщего образования.

Майорат — порядок наследования имущества без отчуждения и право первородства — преимущественного наследования старшим сыном были архаичными феодальными порядками, установленными в Вирджинии юридически, фактически же почти не соблюдаемыми. Но даже их во многом уже символическое существование оскорбляло пуриста Джефферсона как искусственное препятствие на пути свободного землевладения, наличие которого предопределяло концентрацию земель в тех или иных руках не в силу способностей, а просто по праву привилегированного наследования. Поэтому уже в октябре 1776 года Джефферсон внес в ассамблею предложение об отмене майората, а позднее — и права первородства.

Умеренность предложения Джефферсона очевидна: он отнюдь не собирался вводить уравнительное землепользование, а хотел лишь утвердить равенство имущественных прав внутри состоятельных семей. Обилие свободных земель в Вирджинии

само подрывало устойчивость этих феодальных пережитков, которые к тому времени отмирали естественной смертью, так что его законопроекты были лишь завершающим ударом. Не случайно они встретили слабое сопротивление и мало что изменили в действительном положении вещей. Проницательный наблюдатель начала XIX века увидел в Вирджинии то же имущественное и социальное неравенство, что и в колониальные времена: «Здесь и там взгляд поражают величественные строения аристократов со всеми их принадлежностями, а на много миль вокруг можно видеть только маленькие закоптелые хибары и бревенчатые лачуги бедных старательных арендаторов. И, что самое смехотворное, эти люди, которые подходят к «большому дому» с картузом в руках, преисполненные дрожащей покорности последних феодальных вассалов, на задворках возбужденно бахвалятся тем, что живут в краю свободных людей, равных прав и свободы».

Гораздо более острой и значительной была борьба Джефферсона за установление в штате религиозной свободы. Государственная англиканская церковь Вирджинии своими преследованиями иноверцев, экономическим гнетом и связью с метрополией заслужила ненависть рядового фермерства. У убежденного деиста и просветителя Джефферсона ничто, пожалуй, не вызывало такого искреннего возмущения, как религиозная нетерпимость и ее церберы — англиканские священники. Именно в борьбе с ними он проявил больше всего бойцовских качеств.

В ассамблею Вирджинии он внес резолюции, предусматривавшие отделение церкви от государства, отмену законов, препятствующих свободе вероисповедания, а также отмену привилегий священников англиканской церкви и налогов в ее пользу. Против Джефферсона поднялись приверженцы официальной церкви во главе с Пендлтоном и Николасом, которые сумели отстоять связь церкви с государством. Став губернатором, Джефферсон возобновил наступление, но только в 1783 году его сторонникам удалось провести билль о религиозной свободе через ассамблею. Этот знаменитый закон, как бы распространявший принципы Декларации независимости на область религиозной свободы, по праву считается одним из замечательных документов американской истории. Его философская преамбула — это гимн разуму и совести, освобожденным от диктата государства и церкви. Закон гласил, что «дозволять гражданским властям вмешиваться в область мировоззрения людей и ограничивать вероисповедание или распространение тех или иных принципов, считая их неверными, — опасное заблуждение, которое сразу же разрушает всю религиозную свободу, поскольку, выступая в роли судьи,

гражданская власть делает свои взгляды критерием истины и будет одобрять или осуждать взгляды других, руководствуясь тем, насколько они согласуются с ее собственными или отличаются от них... Истина сильна и восторжествует, если ее предоставить самой себе; она — верный и надежный противник заблуждения, и ей нечего опасаться конфликтов, если только людское вмешательство не лишит ее естественного оружия — свободы дискуссии и спора...»

Закон этот прогремел по всей стране, был восторженно встречен просвещенной Европой и укрепил международную репутацию автора. Не случайно Джефферсон в конце жизни считал его одним из трех своих самых значительных достижений наравне с Декларацией независимости и Вирджинским университетом; не случайно и то, что этим законом он на всю жизнь снискал себе ненависть узколобой поповщины.

Но, пожалуй, самым интересным и характерным для Джефферсона был его законопроект «всеобщего распространения знаний». В соответствии с традициями Просвещения он считал образование залогом процветания республики, обеспечивающим мудрое правление и развивающим гражданские добродетели народа. «Для меня является аксиомой, — писал он Вашингтону, — что наша свобода может быть сохранена только в руках самого народа, наделенного известной степенью образования». Образование, подчеркивал Джефферсон в автобиографии, «позволит ему разобраться в своих правах, поддерживать их и разумно выполнять свою роль в деле самоуправления».

Образование было слишком важным делом, чтобы предоставить его случаю. В Новой Англии, правда, к тому времени уже имелись общественные школы, но единая государственная система всеобщего образования, предложенная Джефферсоном, была для тогдашней Америки делом неслыханным. В преамбуле законопроекта провозглашались две главные цели такой системы: «просветить в пределах возможного умы народа» и обеспечить такое положение, чтобы «лица, которых природа наделила талантами и достоинствами, вследствие полученного либерального образования были бы достойны получить и способны охранять вверенные им священные права и свободы своих сограждан, к чему они должны призываться независимо от своих средств, происхождения и других случайных условий или обстоятельств».

Короче, речь шла о воспитании граждан и выращивании лидеров, что четко отразилось в предложенной Джефферсоном структуре системы образования. В ней предусматривались три ступени: начальная, высшая и средняя школа. Графства разбивались на небольшие округа, каждый из кото-

рых должен содержать одну начальную школу для бесплатного трехлетнего обучения чтению, письму и арифметике. В средних школах должно было вестись платное обучение языкам, грамматике, математике и географии. Исключение делалось для детей бедных родителей, наделенных «наиболее обещающими талантами и нравом», кои в количестве 60—70 человек должны были ежегодно отбираться из числа выпускников начальных школ и обучаться за счет штата. В этих школах предполагалась строгая система отбора, которая в первые два года доводила бы количество стипендиатов до 20 — по одному на каждую среднюю школу, таким образом 20 самых способных должны были «ежегодно выгребаться из мусора и обучаться на общественный счет». После этого половина выпускников опять отсеивалась, а половина имела право бесплатно продолжать в течение трех лет образование в колледже Уильяма и Мэри «для изучения избранных по желанию наук». Дети состоятельных родителей отбору не подвергались.

Смелость и новаторство проекта несомненны: Джефферсон предлагал имущему обществу Вирджинии взвалить на себя бремя воспитания и образования лучших из числа обездоленных. Поскольку Джефферсон стремился к расширению социальной базы для «рекрутирования» талантов, «которые природа щедро рассеяла как среди бедных, так и среди богатых», постольку его предложения были прогрессивны и далеко опережали свое время. Неудивительно, что они так и не были приняты ассамблеей, а первые государственные школы в Вирджинии появились лишь через 100 лет.

Но бросается в глаза и другое: подчеркнутый аристократизм плана, тщательно продуманная система жесткого отбора и взращивания элиты для управления государством. В этом проекте, как ни в каком другом, ясно просматриваются общие контуры всей политической философии Джефферсона. «Глас народа» для него — «глас божий», народ есть депозитарий своих прав и свобод, источник государственной власти; но на практике непосредственное его участие в управлении государством сводится к выделению из своей среды, из «мусора», «естественной аристократии», которой — и только ей одной — принадлежит почетная и ответственная функция государственного управления. «Мы, в Америке, считаем, что необходимо ввести народ в каждый государственный орган в той мере, в какой он способен осуществлять свои права», — писал Джефферсон в 1789 году. Но вопрос в том, какова эта мера. Народ «непригоден осуществлять исполнительную власть, но пригоден для избрания человека, который будет это делать. Он не пригоден для законодательной деятельности, поэтому у нас он только выбирает законодателей. Он непригоден для

того, чтобы трактовать право, но вполне способен решать его фактические вопросы. Поэтому в суде присяжных его представители решают все фактические вопросы, предоставляя постоянным судьям определять законы на основе этих фактов».

Задача государственного устройства — создать благоприятные условия для этого «отбора», устранить препятствия (как-то: феодальные привилегии, религиозная дискриминация) на пути естественного, по мнению Джефферсона, процесса формирования «подлинной аристократии», природных талантов и добродетелей. «Та форма правления является наилучшей, — писал он позднее Дж. Адамсу, — которая наиболее эффективно обеспечивает отбор естественной аристократии для правительственных учреждений на замену искусственной аристократии богатства и происхождения». Рассматриваемая под этим углом зрения, вся его программа реформ в Вирджинии, подчиненная этой основополагающей идее, обретает строгое единство. Замысел был велик и строен — слишком строен, как следует из того же письма Адамсу: «Если бы закон о религиозной свободе, составляющий часть этой системы, покончивший с аристократией духовенства и возвративший гражданам свободу взглядов, и акты о наследовании, обеспечивающие равенство в положении граждан, дополнились образованием, то народные массы поднялись бы на высокий уровень морального совершенства, необходимого для собственного благополучия и надлежащего государственного управления. Таким образом совершилась бы великая цель их подготовки к отбору подлинной аристократии для занятия ответственных государственных постов, исключая различных "псевдоаристократов"».

Джефферсоновское выражение «выгрести из мусора» в русском переводе соответствующего отрывка «Заметок о штате Вирджиния», помещенного в сборнике «Американские просветители», опущено без уточнений; между тем оно очень важно для передачи джефферсоновского замысла, в котором элемент аристократического недоверия к народу своеобразно сочетается с безграничной просветительской верой в силу знания, овеществленную в интеллектуальной элите. «Меритократия» Джефферсона оказалась типичной утопией энциклопедиста, которая владела им до конца жизни. «Благодаря такой системе, — писал он в 1813 году, — достойных и талантливых отыскивали бы во всех слоях общества, и образование подготовило бы их к победе в соперничестве за ответственные посты с богатыми и родовитыми людьми». В условиях, когда знание неизбежно продолжало оставаться монополией и привилегией богатства, соблюдение критерия образованности при формировании политической элиты приводило, как увидит впослед-

вии президент Джефферсон, лишь к закреплению господствующих позиций состоятельной верхушки общества.

Борьба за религиозную свободу и развитие образования была лишь наиболее заметной частью усилий Джефферсона, направленных на пересмотр законодательства штата, в составе «комитета провизоров» вместе с Уайтом, Мэйсоном, Пендлтоном и Т. Ли. Менее драматической, но потребовавшей еще более кропотливого труда была борьба за изменение уголовного законодательства. И на этом поприще Джефферсон выступил во всеоружии идей Просвещения. Разработанный им кодекс, за исключением раздела о рабах, отличался от прежнего бессмысленно жестокого уголовного права Вирджинии гуманностью и умеренностью. В частности, смертная казнь сохранялась только для государственных изменников и убийц, тогда как прежде ею каралось более 160 видов преступлений.

Неутомимость и трудоспособность Джефферсона позволяли ему заниматься еще и десятками менее важных дел: урегулированием территориальных споров с Пенсильванией, организацией первой исследовательской экспедиции вверх по реке Огайо, вакцинацией против оспы, проектами перемещения столицы в Ричмонд, созданием почтовой и статистической служб штата и многим другим.

Три года, проведенные в ассамблее Вирджинии, стали для Джефферсона одним из самых плодотворных и счастливых периодов его долгой жизни. Никогда больше его философские принципы и практическая деятельность на политическом поприще не сольются так гармонично. Он многого добился, еще больше было задумано, немногие неудачи пока не вызывали ожесточения, ибо в тихой Вирджинии он отлично ладил даже со своими оппонентами, а политические разногласия здесь не перерастали в личные распри. Вирджинский политик в нем отлично уживался с монтчелльским плантатором-философом, посвящающим досуг семье, музыке, сельскохозяйственным экспериментам, астрономическим и метеорологическим наблюдениям, переписке с учеными, разбивке оленьего парка и, конечно, постоянному строительству и усовершенствованию Монтчелло.

Разумеется, он находился далеко от центра событий, в которых решалась судьба только что рожденного государства, но его — человека сугубо ютатского, любящего покой и уединение, такое положение вполне устраивало. Да он и не считал, что занят менее важными делами, укрепляя республиканские начала в своем штате. Людям, попавшим в самое горнило войны, очердность задач, естественно, представлялась иной. «Где Мэйсон, Уайт, Джефферсон, Николас, Пендлтон, Нельсон и другие?» — сердито допрашивал земляков Вашингтон.

Вдали от пота и крови войны Джефферсон взирал на нее философски, ведь «если и были сомнения в исходе, то они полностью рассеялись с вступлением в нее Франции», что же касается врага, то он «храбр и цивилизован». «Наши времена, — рассуждал он в письме другу, — счастливы тем, что бедствия войны смягчены утонченностью манер и чувства...» Гремевшая вдали война даже приносила покуда приятные сюрпризы. В начале 1779 года она забросила в Вирджинию так называемую «армию конвента» — около 4 тысяч пленных англичан и немецких наемников, среди которых немало было образованных офицеров-аристократов, украсивших светское общество Вирджинии. Наконец-то благодаря музыкальным немцам Джефферсон смог возобновить музицирование в любительском оркестре. Узы воспитания и интеллекта сильнее грубых страстей войны, казалось ему. «Великий спор, разделяющий наши страны, не должен разрешаться враждебностью личностей, — писал он тогда одному из пленных англичан генералу У. Филлипсу. — Гармония частного общения не может ослабить национальных усилий». Но вскоре война повернулась другой стороной.

1 июня 1779 г. Джефферсон был избран губернатором родного штата. Назначение почетное и заслуженное, но принял он его без большого энтузиазма, предчувствуя тяготы руководства в условиях военного времени. «Благодарю за поздравления, — отвечал он пленному барону Ридзелю, — хотя соболезнования были бы более уместны». Из привольной разреженной атмосферы Монтчелло Джефферсон попал в нескончаемую суетолюку административных дел, столкнувшись с морем проблем.

После неудач на севере англичане переносили военные действия на юг, и ко времени вступления Джефферсона в должность лишь полоска Северной и Южной Каролины разделяла Вирджинию и английскую армию генерала Корнваллиса. Еще более уязвимой Вирджиния была со стороны морского побережья: судоходные реки открывали вражеским кораблям и десанту удобный доступ к основным населенным пунктам, а своего флота у вирджинцев не было. Необученное и плохо вооруженное ополчение мало чего стоило в сравнении с регулярными войсками противника. Но организация обороны штата отступала на второй план перед еще более неотложными задачами, связанными с участием Вирджинии в обеспечении континентальной армии. Ее вклад продовольствием и людской силой систематически не достигал до установленных конгрессом норм. Отчасти это объяснялось инфляцией, не дававшей властям возможности скупать достаточное количество продовольствия и других видов снабжения. Отчасти —

упорным сопротивлением населения сбору налогов для целей войны, начатой против тех же налогов, и откровенным нежеланием вирджинцев отрываться от насиженных мест ради службы в армии. Не прельщало даже щедрое вознаграждение добровольцам в виде 300 акров земли и здорового раба впридачу, установленное ассамблеей при Джефферсоне.

Мало того, сам государственный механизм штата оказался вовсе непригодным к условиям военного времени. Губернатор не мог принять ни одного мало-мальски важного решения без согласия ассамблеи, заседавшей всего четыре-пять месяцев в году; все остальное время его деятельность была скована советом, который должен был утверждать назначение губернатора, его решение о созыве ополчения и т. п. Распутать такой клубок проблем было не под силу даже человеку властному и решительному, а Джефферсон таким не был. Он до изнеможения завалил себя работой, отнесясь к ней со всей присущей ему серьезностью и педантизмом, но в то же время скрупулезно соблюдая все многочисленные ограничения губернаторских полномочий и инстинктивно чураясь экстренных мер. В известной мере он стал жертвой собственной ортодоксальной республиканской неприязни к сильной исполнительной власти.

Первые полтора года губернаторства прошли относительно спокойно, если не считать разгрома отряда генерала Гейтса под Камденом 16 августа 1780 г., в котором вирджинское ополчение показало себя «во всей красе». «После первого залпа, — отчитывался Джефферсон перед Вашингтоном, — противник пошел на ополчение в штыковую, и оно отступило в полном составе... Они бежали, подобно стремительному потоку, сносящему все на своем пути». Ополченцы в панике бросали оружие и теперь все — рекрутирование и вооружение — нужно было начинать сначала. А население встречало новые наборы в армию и реквизиции со все большей враждебностью. Когда в качестве крайней меры совет штата постановил реквизировать, что означало выкупить в принудительном порядке, каждую десятую голову скота, то губернатор получил жестокий выговор от одного из местных радикалов — Джорджа Мэйсона: «Население этой части Вирджинии настроено сделать все возможное для ведения войны, но те же принципы, которые привязывают его к американскому делу, одновременно побуждают сопротивляться несправедливости и угнетению». В самом деле, революция началась из-за меньшего! С осени 1780 года в отдельных графствах вспыхнули волнения и бунты против налогов, к которым вскоре добавился заговор лоялистов на юге штата, к счастью вовремя раскрытый.

Под тяжестью все возрастающих забот и неудач терпение

губернатора иссякло. Он уже забыл дорогу в Монтичелло, забросил все научные занятия и едва успевал ежедневно замерять температуру воздуха. «Рвение, необходимое для обязанностей моего поста, настолько чрезмерно, а их исполнение в конечном счете столь несовершенно, что я твердо решил уйти в отставку к концу нынешней кампании», — пишет Джефферсон в октябре Ричарду Ли. Его коллеги, встревоженные перспективой избрания импульсивного Патрика Генри, уговорили его потерпеть хотя бы до конца срока в июне следующего года, невзирая, как писал Джефферсону Дж. Пейдж, на «спешку и бессмысленность, которым ежедневно подвергает вас ваше положение». Но именно эти последние полгода оказались для него роковыми.

Еще в октябре в Чезапикском заливе показались паруса английского флота под командованием командора Роднея. Родней поднялся по реке Джеймс до Суффолка, но затем внезапно ушел. Вскоре в Ричмонд — новую столицу Вирджинии прибыли очередной командующий армией Юга генерал Н. Грин и генерал-инспектор континентальной армии Фридрих фон Штебен. Штебен остался в Вирджинии для сколачивания регулярных отрядов в помощь армии Грина. Главное внимание по-прежнему уделялось сухопутному театру военных действий в Северной и Южной Каролине, Вирджиния же должна была оставаться арсеналом Юга. Но англичане не собирались терпеть это положение.

31 декабря Джефферсон получил известие о новом появлении английского флота у берегов Вирджинии. Сочтя это сообщение ненадежным, поскольку оно исходило от частного лица, губернатор не стал лишним раз созывать ополчение и ограничился посылкой к побережью своего агента. Эта ошибка дорого обошлась ему. 2 января сообщение подтвердилось: корабли англичан уже подходили к Джеймстауну. Джефферсон немедленно приказал созвать ополчение, но время было упущено. К 4 января в Ричмонд стянулось лишь 200 ополченцев из 4600. Англичане, подгоняемые попутным ветром, тем временем достигли Вестовера, расположенного в нескольких милях от столицы, и высадили там полторатысячный десант. Оборонять город было бессмысленно, едва удалось вывезти военные склады и государственный архив.

Утром 5 января неприятель вступил в Ричмонд. К окончательному уничтожению вирджинцев, им предводительствовал ненавистный предатель Бенедикт Арнольд. По пути он поджег оставшиеся склады, разрушил пушечный литейный цех и почти без потерь убрался восвояси. Наглый рейд Арнольда нанес ощутимый ущерб и помимо прямых потерь: созданное в конце концов ополчение успело поглотить львиную долю про-

довольствия, предназначенного для армии Грина, нарушен был ход набора в южную армию; моральный дух населения сломлен, а власти — дискредитированы.

Горький опыт заставил Джефферсона на время расстаться с надеждами на ополчение. В марте он пытался склонить ассамблею к принятию плана Штебена о замене ополчения регулярными частями, но безрезультатно. Чтобы предотвратить повторение безнаказанной вылазки Арнольда, генерал-инспектор предложил поставить батарею на реке Джеймс ниже Ричмонда и запросил для этой цели полсотни землекопов. Ассамблея вопреки просьбам губернатора отказалась санкционировать это непосильное предприятие. В крайнем случае Штебен был готов удовлетвориться силами ополчения или рабов, но и здесь его подстерегала неудача. Джефферсон развел руками: «В соответствии с законами штата губернатор не властен заставить свободного человека работать — даже для общественных целей — без его согласия, равно как и раба без согласия его хозяина».

В такой ситуации даже неумолимый Штебен был бессилён что-либо сделать; набор ополченцев проваливался, реквизиция повозок, лошадей и продовольствия давала ничтожные результаты. «Мы можем нести ответственность лишь за приказы, которые отдаем, но не за их исполнение, — меланхолически разъяснял Джефферсон Штебену. — Если им не подчиняются из-за упрямства или недостатка принуждения в законах, это не наша вина». Трудно было бравому служаке Штебену, воспитанному в железных традициях прусской армии, постичь чудные правила ведения войны свободным народом Нового Света. «Если не будет найден способ наказания дезертиров и обеспечения выполнения приказов, — предупреждал он вирджинскую ассамблею, — если не удастся добиться предотвращения позорных уклонений и жульничества, которые, к бесчестью отдельных лиц, повторяются слишком часто и успешно, этот штат падет перед силой неприятеля или окажется всецело в зависимости от иностранной помощи».

Иностранная помощь в виде французского отряда под командованием маркиза Лафайета подоспела в середине апреля, как раз вовремя, чтобы отогнать части Арнольда и генерала Филлипса (бывшего пленного соседа Джефферсона), вновь поднявшиеся по реке до Ланкастера и Питерсберга. В лице маркиза Джефферсон обрел не только спасителя, но и друга на всю жизнь. Либерально мыслящий аристократ был так сочувственно великодушен и тактичен по сравнению с грубияном Штебеном! Он вполне входил в положение губернатора («Мягкие законы, неприученный к войне и беспрекословному повиновению народ, недостаток военного снаряжения», —

оправдывался Джефферсон) и всячески ободрял его: «Я уже давно привык к этим неудобствам, которые с лихвой восполняются бесчисленными благами народного правления». Бальзам на раны Джефферсона!

Тем временем Грин завершал свой злополучный маневр по отходу в Южную Каролину для заманивания туда армии Корнваллиса. Вместо этого Корнваллис двинулся в противоположном направлении — к Вирджинии и 20 мая соединился с частями Арнольда и Филлипса у Питерсберга. Теперь 7 тысячам англичан противостоял трехтысячный отряд маркиза. Джефферсону оставалось лишь взывать к помощи с Севера и надеяться на чудо — пришествие самого Вашингтона. «Присутствие любимого соотечественника... — пишет он ему 28 мая, — вернет полную уверенность в спасении и подвигнет на все, что только возможно». Главной целью Корнваллиса было расправиться с отрядом Лафайета — «молокосос не уйдет!» — и окончательно подавить сопротивление Вирджинии. Лафайету удалось ускользнуть, но Корнваллис основательно проутюжил всю южную часть беззащитного штата.

Власти срочно эвакуировались в Шарлотсвилль, неподалеку от Монтичелло, Джефферсон с несколькими коллегами был уже дома, мысленно сложив с себя обязанности губернатора и дожидаясь только формальности — выборов 2 июня. Ввиду отсутствия кворума эта процедура была отложена на два дня — злополучное решение, ибо утром 4 июня у подножия Монтичелло показались бело-зеленые английские драгуны капитана Макклеода. Это было подразделение отряда полковника Тарлетона, посланного Корнваллисом специально для захвата вирджинских лидеров. Джефферсону положительно не везло: пояись драгуны на день позже, они бы застали уже не губернатора, а просто частное лицо. К счастью, он был предупрежден заранее ополченцем Джоуэтом, который сумел опередить драгун. Это дало ему возможность неторопливо, с достоинством ретироваться и избежать унизительной участи некоторых вирджинских джентльменов — пленения в постели.

Этот эпизод, поданный как трусливое бегство, стал впоследствии неотъемлемой частью антиджефферсоновской легенды, созданной его противниками. По сути дела, они обвиняли его в том, как саркастически писал позднее сам Джефферсон, что, «забыв благородный пример героя Ламанчи с его ветряными мельницами, я уклонился от боя — один против целого войска». Аналогия была удачной, но гордиться происшедшим тем не менее тоже не приходилось. В довершение всего 12 июня ассамблея, избрав губернатором Т. Нельсона и наградив Джоуэта за расторопность именованным оружием, в поисках «козла отпущения» за грехи штата приняла резолюцию о

- расследовании деятельности губернатора Джефферсона. Дело касалось в основном рейда Арнольда. И, хотя резолюция хода не получила, а в декабре та же ассамблея выразила Джефферсону благодарность за службу, это был завершающий и самый болезненный удар. Отдавший всего себя этой работе и чрезвычайно чувствительный к критике, Джефферсон был оскорблен на всю жизнь и надолго утратил былой вкус к политической деятельности.

Беда не приходит одна: экс-губернатор нашел свои плантации на реке Джеймс разоренными солдатами Корнваллиса; с англичанами бежало около 30 рабов, уничтожен был весь урожай табака. Состояние здоровья его жены, беременной шестым ребенком, катастрофически ухудшалось. Векоре он отказался от места в ассамблее штата, куда был вновь переизбран. Письмо юному коллеге Джеймсу Монро раскрывает мучительное состояние его души, в которой самоунижение боролось с ужаленным самолюбием. «Постоянно принося в жертву время, труд, родительский и дружеский долг, я был так далек от завоевания признательности своих соотечественников — единственной желанной для меня награды, что утратил даже ту репутацию, которую имел». Злополучное расследование, продолжает он, «нанесло моему духу рану, которую излечит лишь все исцеляющая могила». «Я исследовал свое сердце, чтобы узнать, навсегда ли оно освободилось от остатков политического честолюбия, не притаились ли в нем крупницы амбиции, которые могли бы беспокоить меня в обыкновенной частной жизни. И убедился в том, что теперь совершенно свободен от этой страсти».

Он отказался и от более почетного назначения в состав дипломатической миссии на мирные переговоры вместе с Франклином, Джеем и Г. Лоуренсом. «Я навсегда расстался со всем этим, — писал он президенту конгресса Э. Рэндольфу, — и удалился к своей ферме, семье и книгам, с которыми, надеюсь, меня уже ничто никогда не разлучит».



Уход Джефферсона с политической арены, возмутивший его друзей, отчасти обернулся благом, ибо именно в это нелегкое для него время он создал самое крупное свое произведение — «Заметки о штате Вирджиния». Непосредственным поводом к тому послужил запрос секретаря французского посольства Ф. де Марбуа, собиравшего сведения о всех штатах, сделанный еще в 1780 году. Тогда же Джефферсона избрали в Американское философское общество — единствен-

ное научное общество в Америке тех лет. Для ученого-любителя, каким он и сам себя считал, это избрание было почетным и обязывающим. Вероятно, еще и поэтому он с таким жаром ухватился за предложение Марбуа, рассматривая свой будущий труд как «вступительный взнос», подтверждающий его научную репутацию. «Ваш труд, — писал ему активист философского общества Ч. Томпсон, — будет желанным подарком... Страна наша открывает обширное, богатое и неизученное поле для философского исследования». Это было заветным убеждением и самого Джефферсона. Ответы на 23 вопроса де Марбуа вылились в трактат о 300 страницах — настоящую энциклопедию о Вирджинии. Джефферсон написал черновик еще летом, прикованный к постели после неудачного падения с лошади, и закончил труд в Монтичелло к концу 1781 года.

На первый взгляд, джефферсоновские «Заметки» покажутся современному человеку чем-то вроде старинного путеводителя по штату, но в конце XVIII века это было первое универсальное научное описание Вирджинии. Джефферсон разбил вопросы Марбуа на предметные группы: вначале все относящееся к естественной, как тогда ее называли, истории: природные условия, флора, фауна; затем — к истории гражданской: конституция, законодательство, религия, и, наконец, нравы и обычаи. Проследуем вместе с автором по страницам его книги, которая рассказывает о самом Джефферсоне не меньше, чем о его родине.

В первой части он скрупулезно описывает все основные реки, водопады, рельеф, растительный мир и пр. Но даже это фактическое изложение пронизано любовью и гордостью за свой край, ведь Огайо — «самая прекрасная река на свете», а естественный каменный мост на территории его собственных владений «словно стремится в небеса! — живописует Джефферсон. — Восторг наблюдателя просто невыразим». Ученый-патриот, естественно, не может оставить без ответа модные тогда в Европе теории дегенерации всего живого в Новом Свете, поддерживаемые даже такими крупными зоологами, как француз Бюффон, который, в частности, с уверенностью неосведомленного писал, что «животворные силы воздуха и земли в Америке» ввиду обилия «влажных и ядовитых паров» «воспроизводят лишь влаголюбивые растения, земноводных, а также насекомых и могут обеспечить пропитанием только холоднокровных людей и хилых животных». Джефферсон почтительно, но решительно вступает в полемику с маститым ученым. «Белый медведь в Америке не меньше европейского», — утверждает он. С особенным патриотическим пылом описывает Джефферсон кости мамонта, этого «крупнейшего обитателя земли», найденные, по слухам, где-то на реке Огайо.

Несмотря на полемические преувеличения, Джефферсон в этом споре оказался выше Бюффона.

С еще большей горячностью автор отстаивает человеческую породу Нового Света, начиная с «живых умом», «смелых» и «привязанных к своим детям» индейцев и кончая бледнолицыми титанами мирового масштаба — Вашингтоном, Франклином и астрономом Ритенхаузом. Чтобы поставить все точки над «i», увлекающийся вычислениями Джефферсон производит несложный подсчет: «Соединенные Штаты имеют 3 миллиона жителей, Франция — 20, Британские острова — 10 миллионов. Мы произвели Вашингтона, Франклина и Ритенхауза. Франция, следовательно, должна иметь полдюжины таких в каждом из трех видов деятельности, а Великобритания — вполтину меньше». Что касается Франции, рассуждает он далее, то «у нас есть основания полагать, что она способна произвести полную квоту своих гениев», а вот с Великобританией дело хуже: «Солнце ее славы опускается к горизонту; ее философия пересекла канал, ее свобода — Атлантический океан, а сама она, по-видимому, приближается к состоянию полного распада...» Патриотизм Джефферсона, его ревнивая гордость за свою молодую страну при всей наивности неподдельны и даже трогательны.

Интересны его комментарии по поводу государственного устройства штата, в которых Джефферсон несколько видоизменяет свои прежние взгляды, ибо «это устройство создавалось в период, когда мы были еще новичками и не имели опыта в науке правления». Чему же опыт правления научил бывшего губернатора? Помимо тех недостатков, которые он и прежде находил в конституции, появляются новые. Еще более сердито нападает он на сходство палаты депутатов и сенат, который «избирается одними и теми же избирателями и из одних и тех же граждан; выбор падает, конечно, на людей одинакового свойства. Цель учреждения различных законодательных палат — ввести влияние различных интересов и принципов... Из деления нашей законодательной власти на две палаты мы не извлекаем тех выгод, которые может дать столкновение принципов и которые способны компенсировать зло, возникающее в результате этих разногласий».

С другой стороны, проученный неуправляемой и своевольной ассамблеей, Джефферсон начинает усматривать важнейший недостаток конституции в деспотизме законодательной власти: «Если власть находится в руках нескольких лиц, а не кого-то одного — легче не становится: 173 деспота, несомненно, будут угнетать народ так же, как и один... Выборный деспотизм — это не та форма правления, за которую мы боролись. Мы стоим за правительство, которое не только должно быть

основано на принципах свободы, но в котором правительственная власть была бы так разделена и уравновешена между несколькими органами, чтобы ни один из них не мог превысить свои правовые полномочия ввиду действенного контроля и ограничений со стороны других властей». Он также предлагает усилить полномочия исполнительной власти и продлить срок службы губернатора от одного до пяти лет — знакомые уже сентенции в пользу разделения властей, системы «сдержек и противовесов». Под давлением обстановки Джефферсон вместе с большинством буржуазных лидеров явно двигался в сторону более стабильного и энергичного правления, хотя и не так решительно, как «националисты».

От описания Вирджинии действительной Джефферсон переходит к описанию Вирджинии идеальной и подробно разъясняет смысл разработанных им реформ. Особый интерес представляет раздел о рабстве, в котором отчетливо проглядывается противоречивость взглядов молодого мыслителя.

По свидетельству автора, им был подготовлен проект освобождения рабов, который планировалось предложить в качестве поправки к новому своду законов. Суть его состояла в освобождении рабов по достижении совершеннолетия и поселении их на отдаленных незанятых землях, с тем чтобы «объявить их свободным и независимым народом, предоставить свою помощь и защиту, пока они не окрепнут...». А на их место призвать «за надлежащее вознаграждение» белых поселенцев. «Этот план так и не был предложен, — добавит позднее Джефферсон в автобиографии, — так как обнаружилось, что общественность еще не сможет воспринять его», но «недалек тот день, когда она должна будет его переварить и принять, иначе последует нечто худшее. Ничто не записано в книге судеб с такой определенностью, как то, что этот народ должен быть свободным...»

Эти и подобные им высказывания принесли Джефферсону громкую, но незаслуженную славу борца за освобождение и права негров, чуть ли не первого аболициониста Америки. Да, просвещенный гуманист отлично сознает абстрактную аморальность рабства и принципиальную необходимость его ликвидации. Но почему так ничтожны его практические усилия в этом направлении? Почему он не освобождает своих собственных рабов при жизни, как это сделал его земляк У. Мифлин, или хотя бы после смерти — по примеру Вашингтона? Почему, говоря словами Г. Аптекера, «рука, написавшая Декларацию независимости, подписывала объявления о поимке беглых рабов», коих, по словам самого Джефферсона, «жестоко секли в присутствии их прежних товарищей?» Почему, пересматривая законодательство Вирджинии, он лишь усилил

его жестокость по отношению к рабам: отныне каждый освобожденный раб или белая женщина с ребенком от негра должны были покинуть штат в течение года под страхом объявления вне закона?

Почему, будучи губернатором, он одобрил запрет на участие негров в ополчении? Почему упорно отказывался вступать в аболиционистские общества в США и за границей и публично поддерживать противников рабства? Почему, наконец, во всех его писаниях мы не найдем и следа чувства личной вины за это гнусное явление?

Ответы на все эти вопросы нужно искать в самой личности Джефферсона. Выдающийся просветитель в нем причудливо сочетался с вирджинским плантатором и политиком. Постоянное переплетение этих трех ролей — ключ ко всей деятельности и мировоззрению Джефферсона. Но особенно противоречивый эффект дает их наложение в его отношении к рабству.

Как плантатор он видит в чернокожих необходимую производительную силу сродни рабочему скоту, лишенную высоких человеческих качеств, но нуждающуюся в заботе. Сообщая своему другу — плантатору Дж. Тэйлору о планах разведения картофеля, клевера и овец, он уточняет: «Первые два — для прокормки всей живности на ферме, кроме моих негров, и последние — для них». Заботится он и о том, чтобы черные рабыни вовремя кормили своих детей, выговаривая управляющему за то, что молодые матери перегружены работой: «Я ставлю труд кормящей матери выше прочих, ибо дитя, производимое каждые два года, дает больше прибыли, чем урожай у лучшего работника. Здесь, как и в других случаях, провидение соединяет наш долг и интерес в единое целое... Очень прошу вас внушить надсмотрщикам, что мы заинтересованы прежде всего в их размножении, а не работе». Здоровый молодой негр во времена Джефферсона стоил около 400 долларов.

Энциклопедическая образованность не помешала Джефферсону усвоить все предрассудки своего сословия относительно «неполноценности» черной расы. В «Заметках» они проступают с пугающей наглядностью. В доказательство «неполноценности» приводится цвет кожи — «эта неподвижная черная маска», так непохожая на «чудесное смешение белизны и румянца» арийцев, способное «передать любое чувство», «кучравые волосы», «менее элегантно сложение» и т. п.

От физической «неполноценности» — «неполноценность» умственная: в разуме они «намного слабее белых», воображение их «уныло, безвкусно и ненормально», «не требуют столько же сна», но зато «предрасположены к нему больше».

чем белые»; их храбрость проистекает, видимо, от недостатка «предусмотрительности», их любовь — «скорее простое физическое влечение, нежели тонкая смесь чувств и ощущений»; причины всего этого коренятся не в условиях их жизни, а в самой природе черной расы, ибо, живя в Америке, «они могли бы воспользоваться примером общения своих хозяев». Ученый-натуралист говорит здесь явно с акцентом рабовладельца.

Убежденность во врожденной «неполноценности» черной расы служила для Джефферсона и других рабовладельцев своего рода психологической защитой, ибо, как резонно отметил один из современных американских исследователей проблемы, «если бы Джефферсон думал, что он и его земляки-вирджинцы содержат в рабском и забитом состоянии тысячи потенциальных поэтов, ученых, философов и писателей, он не смог бы даже на время примириться с существованием рабства».

Как и всякий политик-южанин, за исключением, пожалуй, «отца страны» — Вашингтона, Джефферсон практически никогда не переходил пределов дозволенного неписаным, но свято соблюдаемыми законами политической жизни Юга. Важнейшим из них являлась неприкосновенность системы рабовладения, пронизывающей всю жизнь плантаторского общества. В годы борьбы за независимость, которая велась под лозунгами свободолюбия, лидеры Юга в контактах с нерабовладельческим Севером и антирабовладельческой союзной Францией волей-неволей присоединились к хору осуждающих рабство. Однако при этом они всегда помнили, что у себя дома такие речи, не говоря уже о делах, навсегда закроют перед ними политическую, да и всякую иную карьеру.

Зловещим предупреждением отступникам стала среди других трагическая история учителя Джефферсона — Джорджа Уайта. Он не только завещал освободить рабов после своей смерти, но и оставил своей черной наложнице-домоправительнице и своему сыну от нее половину собственного состояния, а Джефферсона назначил опекуном сына-мулата. Узнав об этом, другой наследник — племянник Уайта в отместку отравил дядю. Слуги отлично знали это, но их свидетельские показания в суде против белого человека по разработанному Джефферсоном кодексу штата не имели силы. Поэтому суд не только оправдал убийцу одного из лучших сынов Вирджинии, чья подпись стояла под Декларацией независимости, но и не посчитался с его последней волей и опекуном Джефферсона. А опекун и не подумал вмешаться. Так белая Вирджиния карала преступивших грань, и в этой обстановке даже самые совестливые вирджинцы предпочитали держать

язык за зубами, изредка терзаясь угрызениями совести. Вот, например, выразительная исповедь самого «звонаря революции» Патрика Генри в письме другу: «Разве не поразительно, что в наше время, когда права человека определены и признаются с такой ясностью, в стране, более других любящей свободу, мы встречаем людей, исповедующих самую гуманную, мягкую и великодушную религию и в то же время соглашающихся с принципом, противным человеколюбию, несовместимым с библией и разрушающим свободу?.. Кто поверит, что я сам — хозяин рабов, мной же купленных? Меня вынуждает общее неудобство местной жизни без них. Я не буду и не могу оправдываться... Как бы ни было преступно мое поведение по критерию собственной честности и высоких стремлений, я, сожалея о своей недостаточной верности им, все же верю, что настанет время, когда представится возможность для уничтожения этого прискорбного зла». В ожидании этого счастливого будущего Генри продолжал эксплуатировать рабов, скупать землю и сколотил в конце концов изрядное состояние.

Но у Джефферсона не найти даже подобного чувства личной вины. Как заметил современный американский историк Р. Макколи, Джефферсон, по-видимому, охотно принимал ограничения, накладываемые на него как на вирджинского деятеля, ибо он был привязан к рабству в своей личной жизни так же, как и вынужденно связан с ним в общественной». Как и Патрика Генри, его «принуждало неудобство здешней жизни» без рабов — и даже больше, ибо владелец Монтичелло жил на широкую ногу по сравнению с большинством плантаторов его ранга. Весь очаровательно-комфортабельный, столь любимый Джефферсоном мир Монтичелло с его садами, оранжереями, конюшнями, французской кухней и пр. покоился на рабском труде. Одних только домашних слуг держалось около 25. Руки рабов стирали для него границу между замыслом и его воплощением; даже когда он писал друзьям о том, что сажал оливки или цветы, это еще вовсе не значило, что он сам брал в руки лопату.

Кроме того, существовала спасительная цепочка неких презумпций: о том, что рабство ввели англичане, а на долю американцев досталось «бремя белого человека» — поддерживать существование «неполноценной расы»; о том, что ее освобождение — дело слишком сложное и рискованное, и т. п.

Даже в своих эмансипаторских планах, если приглядеться к ним повнимательнее, Джефферсон исходил не столько из сочувствия к черным, сколько из интересов самой белой Вирджинии. Освобождение негров он признавал только вкуче

с депортацией, так как боялся смешения двух свободных рас ввиду «соображений физического, морального и политического порядка». «Глубоко укоренившиеся предрассудки, свойственные белым; десятки тысяч воспоминаний о несправедливостях, перенесенных черными; новые провокации; реальные различия, созданные природой, и много других обстоятельств будут делить нас на два лагеря и вызовут такие общественные потрясения, которые, возможно, окончатся не иначе как истреблением той или иной расы», — мрачно пророчествовал он.

Борьба Джефферсона за запрещение работорговли, поддерживаемая всей плантаторской верхушкой штата, являлась лишь выражением стремления Вирджинии ограничить прирост своего негритянского населения. К тому времени вирджинцы полностью обеспечили себя рабами местного происхождения, и их избыточный ввоз мог лишь сбить прибыльные цены на «черный товар» и увеличить опасность бунтов: рабы, выращенные в Америке, были куда покорнее коренных африканцев.

Даже искренняя озабоченность Джефферсона разлагающим влиянием рабства вызывалась прежде всего заботой о морали белого населения. С каким чувством и знанием дела он описывает в «Заметках» развращающее воздействие рабства на психику белого ребенка! «Родитель дает волю взрыву своих чувств, ребенок наблюдает, подхватывает выражение гнева, напускает на себя такой же грозный вид в кругу маленьких рабов, начинает бушевать; воспитанный и взлелеянный в таком духе, ежедневно упражняясь в тирании, ребенок неизбежно воспринимает ее во всех отвратительных проявлениях». А ведь «с гибелью моральных устоев народа сводится на нет и его трудолюбие. Так, в жарком климате никто не станет работать на себя, если можно заставить работать на себя другого».

Этих соображений в сочетании с естественноправовыми было более чем достаточно для признания необходимости ликвидации позорного института, но центр тяжести джефферсоновского плана эмансипации лежит не в освобождении рабов от цепей рабства, а в избавлении от его заразы белых сограждан. Нужно ли говорить, что он был вопиюще нереален? Даже с технической стороны дела депортация сотен тысяч черных была чрезвычайно громоздким и дорогостоящим предприятием, а главное — она подорвала бы всю плантационную систему Юга. «Здесь перед нами капиталисты, строящие свое хозяйство на рабском труде негров», — подчеркивал К. Маркс.

Этот разительный утопизм был логическим выражением противоестественного компромисса между плантатором и

гуманистом в душе Джефферсона. Мучительность этой дилеммы можно представить. «Мы держим волка за уши и не можем ни удержать, ни отпустить его, — писал он позднее. — На одной чаше весов — справедливость, на другой — самосохранение». Но для него в конечном счете перевешивало все-таки самосохранение, которое означало сохранение общественного порядка, основанного на рабстве.

Но не слишком ли мы строги к Джефферсону? Мог ли он выйти за пределы, установленные временем, местом и условиями его жизни? Во всяком случае от выдающегося просветителя, начертавшего в Декларации независимости «Все люди сотворены равными» и далеко обогнавшего свою эпоху во многих других вопросах защиты прав личности, мы вправе были бы ожидать меньше покорности среде. К тому же пределы эти всегда подвижны. Они были раздвинуты аболиционистами Новой Англии — такими как Франклин, Дж. Джей и А. Гамильтон; последовательными противниками рабства в самой Вирджинии — Мифлином, Коулзом и др., сумевшими «превозмочь неудобства жизни» без рабов, дав им волю. Близкие друзья Джефферсона Б. Раш и Д. Ритенхауз считали слияние рас возможным; вирджинские квакеры устраивали для освобождаемых ими рабов школы и мастерские. Джефферсон был позади.



Рассмотрев историю и современное состояние родного края, Джефферсон не мог удержаться, чтобы не заглянуть в будущее и не поразмышлять о путях развития Америки. Он опьянен безграничными возможностями мирного развития, открывающимися перед огромной молодой страной: «Покончив с нынешней войной и долгами, которые она нам навязет, мы сможем помериться силами с любой европейской державой, хотя будем стремиться свести к минимуму такую практику. Будучи так молоды и обладая столь обширной страной, чтобы заселить ее народом и наполнить счастьем, мы направим на это все производительные силы природы, не растрачивая себя на попытки взаимного уничтожения в борьбе с другими народами. Наше стремление должно будет заключаться в развитии мира и дружбы со всеми странами».

Вера в грядущее величие Америки была естественным чувством участников революции, в котором они черпали вдохновение и необходимое ощущение непреходящей важности осуществлявшихся преобразований. Но какое конкретное содержание вкладывал в него Джефферсон? История давала его поколению уроки неустойчивости всякого правления,

показывала примеры естественной тенденции всех существовавших до того обществ к упадку. «Любое правительство в мире, — пишет он, — проявляет некоторые черты человеческой слабости, имеет хотя бы в зародыше коррупцию и вырождение... Каждое правительство идет к вырождению, если доверяется одним лишь правителям». Какой же выход? «Именно народ является единственным надежным хранителем справедливого правительства. И чтобы сделать народ также надежным, необходимо в какой-то степени усовершенствовать его дух... Только нравы и дух народа сохраняют республику в силе». Главную задачу в создании идеального общественного устройства, свободного от крайностей классовой борьбы, Джефферсон, в отличие от Мэдисона и Гамильтона, видит не в создании какой-то сложной и громоздкой государственной структуры, а в соответствующем типе экономических отношений и поведения самого народа, который бы снял саму проблему столкновения общественных интересов. Такой тип поведения, по его мнению, может выработать лишь строй мелких собственников-фермеров. Джефферсону, в отличие от физиократов, обосновывавших достоинства сельского хозяйства прежде всего с точки зрения экономической эффективности, важнее всего его социально-политические и моральные преимущества. Об этом — знаменитый панегирик фермерству в «Заметках о штате Вирджиния»: «Те, кто трудится на земле, — избранники бога, если у него вообще могут быть избранники, души которых он сделал хранилищем главной и истинной добродетели... У людей, занятых возделыванием земли, примера разложения нравственности найти нельзя — ни у одной нации, ни в какие времена. Этой печатью отмечены те, кто, не глядя на небо, на свою собственную землю и не трудясь, как землепашец, ради своего пропитания, зависит в своем существовании от случайности и каприза покупателей. Такая зависимость порождает раболепие и продажность, душит добродетель в зародыше и подготавливает удобные орудия для свершения злых умыслов... Вообщем в любом государстве соотношение между земледельцами и другими слоями населения — соотношение между здоровой и гнилой частью государства — является достаточно хорошим барометром для измерения степени его разложения».

Главным, неотразимым преимуществом фермерской идиллии являлась высокая политическая стабильность, ибо «каждый благодаря собственности, которой он владеет, или в силу своего удовлетворительного положения заинтересован в поддержании законов и порядка». Это как бы локковская триада («жизнь — свобода — частная собственность») в действии, из которой собственность уже не вычеркнуть. Не

имеющая собственности, а значит, и заинтересованности в сохранении существующего порядка вещей «городская чернь», «лишенная человеческого достоинства из-за невежества, нищеты и пороков», есть опасный балласт общества, гнилая его часть. «Филиппики» Джефферсона в адрес «мятежной городской черни» по своему пафосу не уступают гамилтоновским циничным тирадам, полным презрения к плебсу.

Главная же причина оптимизма Джефферсона в отношении будущего Америки коренится в том, что именно обилие свободных земель служит спасительным резервом для сохранения и расширения фермерской республики. «У нас есть огромные земельные просторы, где земледелец мог бы проявить свое трудолюбие... Поскольку у нас есть земля, на которой можно трудиться, пусть никогда наши граждане не встанут к станку и не сядут за прялку. Плотники, каменщики, кузнецы нужны сельскому хозяйству. А что касается общих производственных операций, то пусть наши мастерские останутся в Европе. Лучше везти туда продовольствие и материалы, чем доставлять оттуда рабочих с их нравами и обычаями...».

Впрочем, оптимизм Джефферсона был весьма относительным: даже в Америке земельные ресурсы не беспредельны, и в долгосрочном плане любое аграрное общество обречено на перенаселение и деградацию. Не случайно Джефферсон с таким пристальным вниманием относился к учению Мальтуса.

Перспектива массовой иммиграции в Америку пугает его: пришельцы «принесут принципы своего правления, усвоенные в ранней юности, а если и сумеют от них избавиться, то в обмен на ничем не сдерживаемую мятежность... Соответственно своей численности они будут участвовать в осуществлении законодательства. Они внесут в общество свой дух, исказят его направление и превратят его в разнородную, бессвязную и расстроенную массу». Таким предстает идеал Джефферсона: аграрная мирная фермерская республика, свободная от резких классовых различий и конфликтов, от крайностей рабства и засилья «искусственной аристократии»; заповедник свободы, надежно застрахованный от внутреннего разложения и тлетворного воздействия Старого Света. Джефферсон стал певцом аграрной демократии не только потому, что она теоретически представлялась ему единственной альтернативой неустойчивой буржуазно-промышленной цивилизации, но и потому, что его практический жизненный опыт доказывал осуществимость этого идеала при условии некоторой реформации. Фактически его представление о будущем страны было идеализированным образом Вирджинии, сложившимся под влиянием аграрного уклада жизни и философии Просвеще-

ния в обстановке изоляции от внешнего мира, вдалеке от эпицентра большой политики в самой Америке. Что-то будет с этим идеалом дальше?



Пока что Джефферсон отправил готовые «Заметки» де Марбуа, оставив около полдюжины копий для ближайших друзей. Он не хотел публиковать свою книгу, дабы не раздражать понапрасну Вирджинию проектами ликвидации рабства и реформы конституции. Ее первое американское издание появилось, помимо воли автора, только в 1788 году. С самого начала книга имела большой успех среди окружения Джефферсона и окончательно установила его научную и литературную репутацию.

Но недолго суждено было ему наслаждаться радостями уютной домашней жизни. С мая 1782 года после рождения очередного ребенка Марта тяжело заболела. Три месяца Джефферсон не отходил от ее постели, а 6 сентября в его конторской книге появилась скупая запись: «Моя дорогая жена умерла сегодня в 11 часов 45 минут пополудни».

О Марте Джефферсон мы знаем только то, что она была мягкой, преданной и очень любила музыку. За 10 лет замужества она родила шестерых детей, из которых выжили только двое, и частые тяжелые роды сломили ее, как это нередко случалось в те времена. Джефферсон мучительно переживал ее кончину и на всю жизнь остался верен ее памяти.

Поначалу домоседу и однолюбу жизнь, так тщательно продуманная и налаженная, казалась безнадежно разбитой. «У меня был разработан план жизни — я предавался радостям отставки и связывал все расчеты на будущее счастье с домашними и литературными делами. Одно-единственное событие перечеркнуло все мои планы и оставило меня перед пустым листком, который у меня не хватает духа заполнить», — писал Джефферсон в ноябре 1782 года де Шателье. Первый месяц после смерти жены он почти не выходил из своей комнаты, второй провел в одиноких прогулках по окрестностям, почти не общаясь с внешним миром.

Из этого оцепенения Джефферсона вывело повторное назначение его полномочным посланником на мирные переговоры в Париж. Для Джефферсона, чахнувшего в опустелом Монтичелло и еще не готового к обычной политической деятельности, это оказалось спасительным предложением, и он его принял. Правда, попал он в Париж только через полтора года: сначала ляды, потом опасность английского плена и, наконец, известие о подписании предварительных условий мирного договора с

Англией отложили его миссию. Но главное было достигнуто — Джефферсон возвращался к жизни.

Во время вынужденного ожидания в Филадельфии он с увлечением посещает заседания Философского общества и завязывает тесную дружбу с Джеймсом Мэдисоном, знакомым ему еще по вирджинской ассамблее. Мэдисон возбудил интерес к политике и ввел в курс злободневных проблем. Он обладал как раз теми качествами, которых порой недоставало Джефферсону: целеустремленностью и неутомимостью закаленного политического бойца; глубокими познаниями в государствоведении, неизменным хладнокровием и взвешенностью суждений. Кроме того, он был лично предан своему земляку. Вместе они составили могучий политический тандем, сыгравший важную роль в истории страны.

Вернувшись в апреле в Вирджинию, Джефферсон уже не ищет уединения. По совету Мэдисона он включился в активную кампанию за усиление полномочий государства, в первую очередь предоставление ему права учреждения таможенных пошлин.

Он также пытается, правда, безуспешно, видоизменить конституцию штата в духе своих предложений. А в июне ассамблея вновь избирает его делегатом на континентальный конгресс, и на этот раз Джефферсон не отказывается.

Конгресс в ту пору недаром окрестили «бродячим». Филадельфия, Принстон, Аннаполис — он менял местопребывание так часто, что Джефферсон с трудом настиг его лишь в последней точке. Он не узнал конгресса, в котором работал семь лет назад: иной дух, иные лица; да и трудно было назвать континентальным конгрессом эту кучку делегатов, число которых редко достигало 14 человек — необходимого минимума для принятия даже второстепенных решений. «За три последние недели, — сообщил Джефферсон Мэдисону в феврале, — мы не заседали и трех дней». Но даже наличие кворума не решало дела, ибо любой из этих 14, жаловался он Э. Рэндольфу, «в случае расхождения с остальными мог сорвать голосование». К этому прибавлялась некомпетентность второразрядных политиков, преобладавших в конгрессе после «бегства "националистов"». «Наш орган был невелик, но очень сварлив, — вспоминал Джефферсон в автобиографии, — день за днем уходили на обсуждение самых незначительных вопросов». Между тем перед законодателями стояли важные и неотложные задачи: ратификация мирного договора с Англией, определение статуса западных земель, заключение торговых договоров, создание сети арсеналов и крепостей, а также денежной системы. Джефферсон с его опытом и чувством ответственности быстро занял в конгрессе внешне

неприметное, но влиятельное положение и сделал больше, чем кто-либо другой, для решения многих из этих проблем.

Ратификация долгожданного мирного договора с Англией оказалась для конгресса едва ли не столь же непосильным делом, как и ведение самой войны. Хотя текст договора был получен еще в середине ноября, а по его условиям обмен ратификационными грамотами должен был завершиться не позднее 3 марта (т. е. в течение полугода после его подписания), к январю в конгрессе было представлено лишь 7 штатов вместо требуемых 9 из 13, а нового пополнения ввиду зимних холодов уже не ожидалось. Джефферсон, на долю которого выпало представлять договор на рассмотрение конгресса, в отчаянии предложил частичную ратификацию семью штатами с последующей досылкой остальных документов. Других осенила идея собраться в Филадельфии у постели больного делегата от Северной Каролины Р. Бересфорда. Но вдруг 13 января в Аннаполисе объявились двое презревших стужу делегатов от Коннектикута, а на следующий день туда прибыл и выздоравливающий Бересфорд. Конгресс немедленно проштамповал договор, а Джефферсон составил публичное заявление по поводу ратификации: «Прочность федеральных уз, определяющая наше существование как независимого народа, — говорилось в ней, — теперь общеизвестна и признается странами мира». Так перо Джефферсона известило мир о начале и завершении борьбы за независимость.

Тогда же он попытался укрепить прочность «федеральных уз», предложив создать «видимого главу государства» — постоянный исполнительный орган конфедерации на периоды между заседаниями конгресса. Такой орган в урезанном виде был создан, но вскоре развалился под действием внутренних раздоров. Урок этот не прошел бесследно. Более удачной стала реформа монетной системы, предложенная Джефферсоном. Здесь царил великий хаос, так как каждый штат имел свою денежную единицу, а основной запас звонкой монеты в обращении составляли монеты иностранного происхождения, имевшие различную стоимость в разных районах страны. Первый проект единой монетной системы принадлежал Роберту Моррису. В ее основу он положил новую денежную единицу, составлявшую $\frac{1}{1440}$ часть доллара, исчисленную как наименьшее общее кратное денежных единиц всех штатов. Это давало возможность унифицировать монетную систему без ломки систем штатов, но требовало от населения незаурядных математических способностей, свойственных разве только торговцам. Буханка хлеба стоила, к примеру, 575, а галлон виски — 2880 новых единиц.

Для философа-утилитариста выбор был кристально ясен: «Во всех случаях, когда мы можем выбирать между легким и трудным способами действия, наиболее разумно избрать легкий». Джефферсон предложил десятичную систему, основанную на долларе, ибо «каждый знает легкость десятичного счета». Его план был принят конгрессом и реализован уже при казначее Гамильтоне. С легкой руки Джефферсона Соединенные Штаты первыми в мире официально установили десятичную монетную систему, действующую и по сей день. Великий рационалист замахнулся и на систему мер и весов, но не смог одолеть английской традиции, от которой его соотечественники не могут избавиться до сих пор.

В составе специального комитета Джефферсон много сделал и для выработки инструкций представителям США за рубежом о принципах заключения торговых договоров с иностранными государствами. Но главные его силы были отданы другой проблеме — заселению западных территорий страны.

Огромные пространства свободных земель на Западе давно манили землевладельцев и спекулянтов всех рангов. Метрополия всячески сдерживала эту экспансию, но в ходе борьбы за независимость барьеры рухнули, и неутомимые пионеры-фермеры, обгоняемые спекулянтами, устремились на запад по рекам Огайо, Кентукки и Кэмберленд. Стремительное стихийное заселение Запада ставило перед конгрессом неотложные задачи по узаконению захвата земель: урегулирование отношений с их коренными обитателями — индейскими племенами (т. е. определение наилучшего способа их выживания), разработка единой системы межевания и продажи этих земель, а главное — определение их государственно-административного устройства. Последняя, самая сложная задача была поручена комитету во главе с Джефферсоном.

Освоение Запада было его давней мечтой, в которой воплотился политический идеал свободной и неуклонно расширяющейся фермерской республики. Мотивы эти получили яркое отражение в проекте. Главная его идея заключалась в создании на западных территориях новых республиканских штатов, принимаемых в союз на равных правах со старыми. То, что сегодня кажется естественным, тогда с трудом пробивало себе дорогу. Далеко не все в конгрессе разделяли веру Джефферсона в способность анархичных и неотесанных пионеров к самоуправлению. А он предлагал с самого начала предоставить право голоса всем свободным мужчинам! Джефферсон разбил всю западную территорию, ограничиваемую на западе рекой Миссисипи, а на севере и юге — канадской и испанской границами, по географической сетке параллелей и меридианов на четырнадцать штатов и даже дал им названия — Метропотамия, Поли-

потамия, Пелипсия, Мичигания, Иллинойа и т. п. План предусматривал и запрещение рабства на этих территориях. Можно представить, с каким воодушевлением проектировал Джефферсон будущую обетованную землю белых фермеров!

Его план оказал большое влияние на принятый конгрессом земельный ордонанс 1785 года и дополнивший его через два года так называемый Северо-Западный ордонанс. Отвергнутыми оказались наиболее радикальные предложения об отмене рабства и предоставлении земель поселенцам мелкими участками. Не уцелели и названия новых штатов: недалекие конгрессмены не поняли глубокого смысла историко-лингвистических упражнений автора, с помощью которых он утверждал преемственность республиканской традиции античности с американской демократией. Что касается пункта о запрете рабства, для его принятия не хватило всего одного голоса — Дж. Бетти, делегат Нью-Джерси, настроенный в пользу проекта Джефферсона, заболел и тем определил исход голосования. «Голос одного-единственного человека... мог бы помешать этому отвратительному преступлению распространиться на новые территории, — сетовал впоследствии Джефферсон. — Судьба нерожденных еще миллионов висела на языке одного человека, и небеса безмолвствовали в этот ужасный момент!»

Вместе с тем принятые законы сохранили такие важные черты первоначального джефферсоновского проекта, как принцип республиканского устройства новых районов и постепенного доведения их до статуса равноправных штатов, а также сам метод проведения границ между штатами по параллелям и меридианам.

Внушительными оказались итоги годичного пребывания Джефферсона в конгрессе. Столь высокая интеллектуальная производительность была бы немислима без делового, конструктивного подхода. В отличие от «националистов», предавших конфедерацию анафеме под девизом «чем хуже, тем лучше», Джефферсон спокойно трудится, делает все возможное в конгрессе, беспомощность которого его не слишком шокирует. Опасности, казавшиеся роковыми для «националистов», представляются вирджинскому плантатору второстепенными; по-настоящему его беспокоит лишь внешнеполитическая слабость конфедерации: «Мы заняты тем, что стремимся объединить наши органы правления в единое целое, — пишет он де Шателье. — Для этой цели потребуются некоторые дополнения к нашей конфедерации. Но в целом с окончанием войны все идет гладко».

Тем временем законодательная деятельность Джефферсона подходила к концу. Перспектива дипломатической карьеры,

вытащившей его из отставки, открылась вновь. 7 мая 1784 г. конгресс назначил его полномочным посланником для заключения договоров о дружбе и торговле с европейскими странами вместо возвращающегося из Европы Джона Джея. Джефферсон без сожаления покинул конгресс и уже 5 июня отплыл из Бостона в Европу, чтобы открыть новую страницу своей жизни.



Старый Свет, а точнее Франция и Париж, произвел на Джефферсона сильное противоречивое впечатление. Строгая иерархия феодального общества, вопиющие социальные и классовые контрасты, крайне неравномерное распределение собственности — все резало глаза вирджинца. «Возможно, вам любопытно будет узнать, какое впечатление произвела эта новая сцена на дикаря с американских гор, — пишет он профессору К. Беллини из колледжа Уильяма и Мэри. — Далекое не самое лучшее, уверяю вас. Я нахожу человеческую долю здесь крайне несчастной. Постоянно приходит на ум верное наблюдение Вольтера о том, что каждому человеку здесь приходится быть либо молотом, либо наковальней». Не меньше оскорбляли пуританскую мораль американца блеск роскоши, легкие нравы и утонченная чувственность, культивируемые французским дворянством. «Супружеская любовь здесь не существует, а покоящееся на ней домашнее счастье им совершенно неведомо». Он заклинает знакомых не посылать сыновей на учебу в Европу, где они неминуемо заразятся «пристрастием к европейской роскоши, легкомысленным развлечением», «духом женских интриг» и «презрением к простоте свой страны». К тому же Европа погрязла в невежестве: «в науке масса народа на два столетия позади нас».

Зрелище упадка Старого Света возвращает Джефферсона к мыслям о простой и прекрасной родине, благословенность которой он ощутил в полной мере, лишь глядя на нее из Европы. «Боже мой! — восклицает он. — Как мало мои соотечественники сознают, сколь драгоценными благами они владеют, в отличие от всех других народов земли. Признаюсь, что и я сам этого не понимал...» Европейские впечатления еще больше утвердили Джефферсона в его представлении об истинном пути Америки — пути фермерской республики. Разговоры с бедняками на улицах, делится он с Мэдисоном, вызвали у него «цепь размышлений о неравенстве в разделении собственности, порождающем бесчисленные безобразия». И вновь он возвращается к спасительной мысли о счастливой особенности своей страны — обилии свободных земель. Необ-

ходимо, пишет он, «обеспечить всеми возможными средствами, чтобы как можно меньшее количество людей оставалось без небольшого куса земли. Мелкие землевладельцы — самая драгоценная часть государства». Его доктринальная приверженность своему идеалу в противовес торгово-промышленной цивилизации Европы достигает апогея: «Если бы я мог дать волю своей теории, — пишет он Т. фон Хогендорпу, — я бы хотел, чтобы они (американцы. — В. П.) не занимались ни торговлей, ни мореплаванием и находились по отношению к Европе точно в положении Китая. Таким образом мы бы избежали войны, а все наши граждане были бы земледельцами». «Но это только в теории», — выразительно добавляет Джефферсон.

И в самом деле, отгораживаться «китайской стеной» американизма от Европы можно было только в теории. Во-первых, он сам был слишком просвещенным человеком, чтобы не заметить и светлых сторон европейской жизни, которые с пользой могли быть перенесены в Америку. Его восхищают достижения научной и технической мысли, искусство, архитектура европейцев. «Мне не хватило бы слов, если я стал бы рассказывать, как наслаждаюсь их архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой». Даже в области манер Франция далеко ушла вперед: «Здесь можно прожить жизнь, не встретив ни единой грубости».

Главное же препятствие на пути изоляции Америки заключалось в том, что американцев невозможно было заставить, как признал автор «Заметок о штате Вирджиния», «не заниматься торговлей», и разве сам Джефферсон приехал во Францию не затем, чтобы укрепить торговые отношения своей страны с Европой?

В Париже Джефферсон присоединился к старым знакомым — Б. Франклину и Дж. Адамсу — знаменитое трио Декларации независимости вновь действовало сообща. Джефферсон всю зиму проболел, и настоящая работа для него началась с весны следующего года, когда конгресс назначил его вместо Франклина посланником во Францию, а Адамса направил в Лондон. Позднее Джефферсон вспоминал, что вступление в бывшую должность Франклина стало для него «отличной школой смирения». Слава великого американца, который, по словам Тюрго, «вырвал молнию у небес и скипетр из рук тирана», заслоняла Джефферсона, да он и не собирался с нею тягаться. «Итак, вы заменили доктора Франклина?» — спросили его как-то при знакомстве. «Никто не может заменить его, сэр, — последовал ответ. — Я всего-навсего его преемник».

Задача Джефферсона заключалась в налаживании торговых

отношений с европейскими странами на основе принципов свободной торговли или в крайнем случае режима наибольшего благоприятствования. Такой курс соответствовал не только веяниям времени и теории Адама Смита, но и насущным интересам страны. Выпав из орбиты английской торговой системы и лишившись объемистой торговли с британской Вест-Индией, Соединенные Штаты были вынуждены искать новые торговые связи и рынки сбыта своей обширной сельскохозяйственной продукции. Они не имели военно-морского флота для защиты своей торговли, собственной промышленности, которую нужно было бы ограждать таможенными барьерами, и потому ратовали за свободную торговлю. «В наших интересах широко распахнуть двери торговле, — писал Джефферсон в тех же «Заметках», — и отбросить все препоны, предоставив всем абсолютную свободу ввоза в наши порты всего, что они пожелают, и требуя того же от них...» Развертывание торговых и установление дипломатических отношений с европейскими странами было необходимо и для укрепления международных позиций молодой страны. Главное, подчеркивалось в инструкции конгресса дипломатам, состоит в «приобретении поддержки независимости Соединенных Штатов».

Конгресс считал соблазн равноправной торговли с Америкой настолько неотразимым, что поручил Адамсу, Франклину и Джефферсону начать переговоры сразу с 16 европейскими странами, в том числе и с Россией. Однако эти большие надежды не оправдались. Все основные европейские державы опоясали себя и свои колонии замкнутыми соперничающими торгово-меркантилистскими зонами и не собирались отказываться от своих привилегий ради сомнительных преимуществ торговли с малопонятным государством, которое даже не в состоянии контролировать действия своих 13 штатов. Американские посланники стучались в закрытые двери. Они разослали проекты договора во все 16 столиц, но очень скоро обнаружили, как писал Джефферсон, что «заключать торговые соглашения в Европе — нелегкое дело. Мы не пользуемся достаточным доверием». Европа молчала. Лондон издевательски поинтересовался: «Каковы в действительности ваши полномочия — направлены ли вы конгрессом или получили отдельные полномочия от соответствующих штатов?» Только Фридрих Прусский проявил интерес, и в сентябре 1785 года торговый договор с Пруссией был заключен, но торговля с нею имела мизерное значение для Америки.

Хотя договора о торговле с Россией заключить не удалось, именно в эти годы было положено начало постоянным торговым связям США с Россией, развивавшимся без особых

помех с обеих сторон. С 1784 года американские суда регулярно посещают российские порты, увозя домой железо, пеньку, парусину и другие товары.

Потерпев неудачу на общеевропейском фронте, Джефферсон и Адамс ограничили свои усилия Францией и Англией — основными торговыми партнерами США.

В планах Джефферсона Франции отводилась ключевая роль. Англия по-прежнему была настроена враждебно; только укрепление торгово-политических уз с Францией — этой крупнейшей европейской державой, главным врагом Англии и союзником США — могло, по его мнению, вырвать Соединенные Штаты из опасной торговой зависимости от Англии. Франция представлялась ему главным противовесом бывшей метрополии, «единственной страной, на помощь которой мы можем с уверенностью полагаться до тех пор, пока сами не встанем на ноги». Прочные торговые отношения надежно скрепили бы политический союз двух стран, «еще теснее сблизив их в дружбе, связав их интересы», — писал Джефферсон французскому министру иностранных дел графу Вержену.

К тому же торговые интересы двух стран взаимно дополняли друг друга. «Никакие другие две страны, — продолжал Джефферсон в том же послании, — не созданы столь удачно для торгового обмена. Франции нужны рис, табак, поташ, меха, лес для кораблестроения. Мы нуждаемся в винах, коньяках, маслах и промышленных товарах». В лице опытного Вержена, стоявшего еще у истоков франко-американского союза, Джефферсон нашел некоторую поддержку. «Хотя абсолютный деспотизм отталкивает его от нашего строя, — писал о нем Джефферсон, — его страх перед Великобританией заставляет ценить нас как противовес».

По инициативе Вержена Франция в 1784 году открыла ряд портов своих владений в Вест-Индии для американских судов. Но на пути франко-американского коммерческого сближения стояли серьезные препятствия. В Америке против него действовала объединенная сила традиции, привычки американцев к английским товарам и преимуществам английского долгосрочного торгового кредита, а во Франции — боязнь американской конкуренции и политика меркантилизма. Если американцы и увеличили вывоз во Французскую Вест-Индию, то их импорт по-прежнему ориентировался на туманный Альбион и баланс Франции в торговле с Америкой продолжал оставаться пассивным. Поскольку изменить вкусы соотечественников Джефферсон был не в силах, он занялся борьбой с французским меркантилизмом, стараясь убедить Вержена в том, что американцы станут больше покупать у французов, если смогут свободнее продавать им.

В первую очередь это касалось главной статьи американского экспорта — табака. Расширению его ввоза во Францию препятствовала монополия на табачный импорт, дарованная королем могущественной компании «Фамерс генераль», которая за это ежегодно выплачивала королевской казне круглую сумму в 29 миллионов франков. Джефферсон предложил Вержену ликвидировать табачную монополию; в этом случае, уверял он, объем торговли резко возрастет и даст такие поступления в казну за счет таможенных сборов, которые перекроют ежегодную дань «Фамерс генераль». А вслед за табаком пойдут и другие товары. Идея понравилась Вержену, но дело практически не подвигалось — монополия была слишком влиятельной, а генеральный казначей Колонн не хотел рисковать поступлениями в и без того тощую казну. Ситуация осложнилась еще больше, когда выяснилось, что «Фамерс генераль» связана трехгодичным контрактом с Робертом Моррисом, которому предоставлялось исключительное право на поставку американского табака во Францию. Монополия оказалась о двух головах!

К счастью, в ту пору во Францию вернулся Лафайет и с рвением недавно обращенного приверженца американизма принялся помогать Джефферсону. Поддержка влиятельного аристократа была бесценной. «Двери всех министерств всегда были открыты для него.., — вспоминал Джефферсон много лет спустя, — по правде говоря, я только держал гвоздь, а он вколачивал». Лафайет добился создания специального комитета по развитию франко-американской торговли, куда вошли некоторые коммерсанты и государственные чиновники. Комитету удалось несколько ослабить двойную табачную монополию: компании было вменено в обязанность закупать дополнительное количество табака у индивидуальных американских торговцев и запрещено в дальнейшем заключать контракты, подобные соглашению с Моррисом.

После этого комитет переключился на другие товары, и его итоговый доклад в форме послания Колонна Джефферсону предусматривал дальнейшие уступки американским торговцам: снижение таможенных пошлин на китовый жир и некоторые другие товары, отмену пошлин на поташ, кожу, меха. Послу США это казалось триумфом его курса политического сближения с Францией. «Мы ничего не должны жалеть для того, чтобы привлечь к себе эту страну, — пишет он в январе 1787 года Мэдисону. — Она единственная, на чью поддержку мы можем положиться в любом случае».

Победа, однако, оказалась эфемерной. Рекомендации комитета не получили силы закона; в феврале 1787 года умер Вержен, а в апреле был уволен в отставку Колонн. Джефферсон

с трудом отстоял лишь первоначальные решения комитета, его напряженные усилия принесли незначительные результаты. Объем франко-американской торговли за этот период почти не увеличился, и планы создания торговой системы двух стран не сбылись. Произошло это, конечно, не по вине Джефферсона, а в силу объективных обстоятельств, главным образом низкой конкурентоспособности французского промышленного производства по сравнению с английским. «Мастерская мира» по-прежнему удерживала свою бывшую колонию на прочном поводе торговой зависимости, что имело серьезнейшее значение для будущего молодой страны.

Весной 1786 года Джефферсон получил возможность поближе познакомиться с презренной деспотией — родиной своих предков. Джон Адамс, изнывавший от сырости Лондона и холода двора, призвал его помочь в переговорах с послами Португалии, Триполи, а также с правительством самой Англии. Вдвоем они заключили договор с послом Португалии, позже отвергнутый в этой стране, и погрязли в утомительных и бесплодных переговорах с представителем пиратствующего Триполи, который запросил непомерный выкуп за прекращение грабежей американских торговых судов в Средиземном море. Но самая горькая неудача подстерегала их в отношениях с Англией. Министр иностранных дел лорд Карматен принял американских посланников с ледяной учтивостью и не стал даже вступать в переговоры. «Сам „тиран“ и злой демон Декларации независимости — его величество король Георг III на официальной церемонии демонстративно повернулся к ним спиной, не пытаясь скрыть своего отвращения», — негодовал Джефферсон. Такое обращение весьма убедительно подтвердило его опасения насчет Англии: Джон Буль преисполнен неискоренимой вражды к американцам и понимает лишь язык силы. «С этой страной ничего не поделать», — пишет Джефферсон Мэдисону. — Она ненавидит нас, ее министры ненавидят нас и больше всех — ее король».

Но враждебность не застилает глаза Джефферсону. Он отдаст должное английской промышленности, охотно знакомится с ее техническими достижениями и подробно, с упоением рассказывает о них в письмах домой. «Одно заслуживает особого внимания ввиду своей простоты, гениальности и вероятных последствий. Это — использование пара для помола зерна. ... Не сомневаюсь, что оно найдет применение во всех машинах». Еще больше поразили Джефферсона английские парки, и он уже прикидывает, во сколько ему обойдется такой же в Монтчелло.

Вообще европейский период жизни Джефферсона был, в сущности, непрерывным и неустанным наблюдением, сбором

самых разнообразных научных и практических сведений. Круг его интересов удивителен своей широтой, а энтузиазм просто ошеломляет. В океане на пути во Францию он ежедневно регистрирует температуру воздуха и воды, а также записывает наблюдения о птицах и других морских обитателях; из Англии вывозит десятки приборов и инструментов, во Франции наблюдает первые полеты на воздушных шарах и тут же перебирает возможности их практического применения; во время путешествия по Южной Франции и Северной Италии его интересует выращивание винограда, оливкового дерева, риса, загадки окаменелых морских ракушек, римских развалин и сдвигов в линии Средиземноморского побережья; он расспрашивает крестьян о заработках, а затем, выставив их из лачуг, как рассказывал Лафайету, заглядывает в их котелки, ест их хлеб и присаживается на кровати, как бы отдыхая, а на самом деле, — чтобы узнать, мягкие ли они. Пересекая Альпы, он изучает приспособление растений к низкой температуре и ищет точный маршрут похода Ганнибала.

Энциклопедический универсализм Джефферсона поразителен для современного человека. Недаром президент Дж. Кеннеди однажды сказал на первом официальном приеме в честь американских ученых — нобелевских лауреатов: «Это самый уникальный набор талантов, когда-либо собиравшихся в Белом доме, — за исключением, возможно, того времени, когда Томас Джефферсон обедал здесь в одиночестве». Но он жил в эпоху Просвещения, когда философы считали своей компетенцией всю сферу познания и искренне презирали всякую специализацию. Джефферсон был лишь одним из представителей могучего племени «великих дилетантов», младшим собратом таких титанов, как Гёте и Франклин. Многие его знакомые — Дж. Пристли, Б. Раш, Дюпон де Немур, Т. Пейн и др. — были, как и он, учеными-любителями и изобретателями, реформаторами в области образования, писали экономические и политические трактаты, размышляли о философии и религии, обладали прекрасным слогом и увлекались политикой. Разносторонность была общим делом высокообразованных людей.

Однако в Старом Свете Джефферсоном движет не только ненасытная любознательность, но и стремление применить европейский опыт и достижения на благо своей страны. Просветительская вера во всемогущество человеческого разума и науки, в их великую освободительную роль была, пожалуй, самым устойчивым убеждением всей жизни Джефферсона. Другим таким убеждением была уверенность в высшем предназначении американского пути. «Не знаю ничего более прекрасного, чем наша страна, — восклицает он в письме

Анжелике Чёрч. — Ученые умы считают ее новым творением и я верю им; но не из-за их доказательств, а потому, что она создана по улучшенному плану. Европа — это первый набросок, грубое изделие мастера, сделанное до того, как он постиг свое ремесло или решил, чего же он хочет».

Изначальная исключительность Америки, соединенная с прогрессом науки и знания, — великое видение, захватившее философа, но пока «новое творение» явно отставало от «первого наброска» по части науки и техники. Следовательно, отмечал Джефферсон, «мы неизбежно зависим в развитии науки от других стран, существующих дольше, более развитых и располагающих лучшими средствами по сравнению с нами». Недаром он называл себя «научным разведчиком» Америки в Европе. В своих письмах на родину Джефферсон пропагандирует уйму европейских новшеств: от фосфорных спичек до парового двигателя, покупает чемоданами книжки-новинки для себя и друзей, вывозит из южной Франции саженцы оливковых деревьев, а из Италии — контрабандой, под страхом наказания — два мешка лучших сортов риса («величайшая услуга, которую только можно оказать стране, — это добавить полезное растение к ее культурам»). Он переправляет в Вирджинию макет римского храма для строительства Капитолия в Ричмонде и заглядывается даже на тулузского соловья: «Что за птица будет соловей в американском климате! Мы должны колонизировать его».

Здесь, в Европе, Джефферсон нашел нечто еще более редкое, чего уже не думал встретить в своей жизни, — любовь. Ее звали Мария Косуэй. Жена известного английского художника-миниатюриста, 27-летняя красавица с прелестным точеным лицом в пышном ореоле золотых волос казалась воплощением хрупкой женственности. Англичанка, выросшая в Италии, она получила прекрасное воспитание, владела несколькими языками, была очень музыкальна и неплохо рисовала — набор очарований, особенно неотразимый для Джефферсона. Он познакомился с четой Косуэй в августе 1786 года через своего приятеля — американского художника Джона Трамбелла и сразу же пленился молодой англичанкой. Весь золотой сентябрь они провели в прогулках по Парижу и окрестностям, галереях, концертах, выставках и салонах художников. «Как все было прекрасно! — напишет потом Джефферсон. — Колесо времени мчалось со скоростью нашей кареты и все же вечерами, вспоминая прошедший день, думалось — через сколько миль счастья мы проехали сегодня!» Одновременно ему приходилось рассылать во все концы города извинения за нарушение обязательств.

Для педанта, неуклонно придерживающегося железного

распорядка дня, такая легкомысленность могла означать только одно. Он действительно влюбился, этот 43-летний, бесконечно рассудительный вдовец, а ей по крайней мере льстило внимание известного американца. Отрезвление пришло скоро и помог этому... несчастный случай (Джефферсон упал с лошади и сильно повредил кисть правой руки), вырвавший его из пьянящего плена романтического времяпрепровождения и отдавший во власть рассудка. Тем временем Мария с мужем уехали в Англию, а прикованный к постели влюбленный здоровой левой рукой изложил на 20 страницах состояние своей души в письме к ней, составленном, согласно классической традиции, в форме диалога — диалога разума и сердца.

Эта стопка листков невыносимых каракулей — одно из самых любопытных произведений Джефферсона, шедевр в своем жанре по изяществу мыслей и выражений, к тому же приоткрывающий неожиданные стороны его натуры, в которой стоик-рационалист изредка соседствует с сентиментальным романтиком.

Разговор начинается сердце жалобами на боль расставания. Само виновато, отвечает разум, ибо «в этом мире все требует расчета. Поэтому продвигайся осторожно, с весами в руках. Клади на одну чашу удовольствия, доставленные каким-либо объектом, а на другую без утайки — страдания, которые последуют за ними, и смотри, что перевешивает. Не клюй на приманку удовольствия, пока не убедишься, что под ней не спрятан крючок. Искусство жизни есть искусство избегать страданий. Самое действенное средство уберечься от них — это удалиться в себя и довольствоваться собственным счастьем. Наслаждения, на которые может рассчитывать мудрый человек, — это те, которые зависят только от нас самих, ибо ничто не наше, чего другие могут нас лишить. Отсюда — неоценимая ценность интеллектуальных удовольствий. Всегда в нашей власти, всегда ведущие нас к чему-то новому и никогда не пресыщающие — с ними мы парим гордо и безмятежно над заботами брэнного мира... Дружба — это лишь иное название для союза с глупостями и несчастьями других. Наша собственная доля страданий вполне достаточна — зачем же добровольно входить в чужие?»

«Но и о вас никто не позаботится, если вы сами ко всем безразличны... — упорствует сердце. — Мы ведь и сами не бессмертны, мой друг, так как же мы можем надеяться на вечные радости? Нет розы без шипов и нет неомраченных удовольствий. Таков закон существования, и мы должны ему покориться... Высшая мудрость есть высшее безрассудство: вы путаете счастье с простым отсутствием страданий. Когда б хоть раз вы почувствовали радость одного-единственного

сердечного порыва, то променяли бы на него все холодные рассуждения своей жизни, которую вы расхваливали в столь восторженных словах». И хотя в письме последнее слово останется за сердцем, в жизни, как и всегда у Джефферсона, побеждает рассудок. Его последний роман быстро угасает, особенно после растерянно-невнятного ответного лепета Марии, явно неспособной поддерживать предложенный уровень эпистолярного обмена. Они еще некоторое время переписывались и даже встречались в следующем году, но прежней близости не было и следа.



В Америке тем временем назревали большие события: политический кризис конфедерации углублялся, и лидеры буржуазии бились в поисках выхода из создавшегося тупика.

Среди них происходила, как сообщал Мэдисон, «революция в настроениях» в пользу свертывания демократии и укрепления государственной власти, подстегнутая восстанием Д. Шейса. После этого уже и вирджинская ассамблея присоединилась к призыву созвать конвент для реформы конфедерации. Но «революция» эта не коснулась Джефферсона. В отрыве от американской почвы он не только сохранил в неприкосновенности свои ортодоксальные республиканско-демократические взгляды периода подъема освободительной борьбы, но и еще более утвердился в них под влиянием европейских впечатлений о тяготах монархического правления. «Я и раньше был врагом монархии, — делится он с Вашингтоном, — теперь я ненавижу ее в тысячу раз больше». Опыт дипломатической работы убедил его в том, на чем он стоял и прежде: конфедерация нуждается лишь во внешнеполитическом укреплении. «Европейская политика, — писал он Мэдисону в начале 1786 года, — делает для нас абсолютно необходимым выступить во внешних делах единой, надежно укрепленной страной. Внутреннее правление — это то, что каждый штат должен делать для себя сам». Федеральные налоги, конечно, нужны, но конфедерация и так наделена полномочиями на их введение.

В информации с родины недостатка не ощущалось — многочисленные знакомые и друзья постоянно сообщали ему все важные новости. Тон писем постепенно становился все более тревожным и с началом волнений в Массачусетсе перерос в панику. В конце октября 1786 года секретарь по иностранным делам Джей пишет ему: «Спротивление налогам, недовольство правительством, жажда собственности и безразличие к средствам ее получения — все это вместе со стремлением к полному равенству возбуждает массы людей, находящихся в стесненных обстоятельствах». В начале декабря Мэдисон

сообщает, что «свидетельства опасных дефектов конфедерации переубедили самых упрямых противников ее реформы». Весной даже невозмутимый Вашингтон шлет ему прямо-таки отчаянное послание: «Государство (если это можно назвать государством) потрясено до основания и может быть опрокинуто первым же взрывом. Это конец: если не найти вскоре противодействия, то неизбежно последуют смятение и анархия».

Для Джефферсона, загипнотизированного зрелищем монархических злоупотреблений в Европе, эти страхи казались лишним подтверждением того, как мало его соотечественники сознают благословенность своего положения по сравнению с положением других народов. Шире надо мыслить, соотечественники! «Дефекты нашей конфедерации, — мягко поучает он Вашингтона в ответ на его паническое письмо, — настолько малы по сравнению с имеющимися во всех других государствах земли, что наши граждане, несомненно, находятся в самом счастливом политическом положении из существующих». Однако пребывавшие в гуще событий были неспособны подняться до безмятежной высоты вселенского взгляда и довольствоваться относительными преимуществами своего положения — они хотели абсолютных, с досадой отмахиваясь от внушений Джефферсона. «Тем, кто не был на месте, — разъяснял ему Вашингтон, — практически невозможно оценить по одному описанию опасность нашего положения».

Но тому даже восстание Шейса, до смерти напугавшее людей его круга на родине, в масштабах мировой ситуации казалось всего лишь незначительным превышением нормального уровня политической активности народа. Его тяжелое положение, пишет он Мэдисону, «вызвало совершенно неоправданные действия», но «беспокойства, присущие демократии», — меньшее зло, чем язвы монархии. «Этот порок, — утверждает Джефферсон, — даже порождает добро. Он предотвращает вырождение государства и питает всеобщий интерес к общественным делам. Я считаю, что маленький бунт время от времени — хорошее дело, столь же необходимое в мире политики, как бури в мире физических явлений». Поэтому «лелейте дух нашего народа и поддерживайте живым его интерес (к общественным делам. — *В. П.*), — пишет он земляку Э. Каррингтону, — иначе вы и я, конгресс и легислатуры, судьи и губернаторы — все превратится в волков».

Джефферсоновское принятие «маленьких бунтов» отнюдь не означало признания правомочности новых революционных изменений — «абстрактное право на революцию в действительности сводилось Джефферсоном к праву на буржуазную

революцию», как отметил советский историк В. В. Согрин. Но все же то был «дух 76 года», и он, конечно, не мог не прийти в столкновение с «духом 87 года». Уже первые наброски будущей конституции, присланные Мэдисоном, ему не понравились — это было все равно, что «чинить небольшую дырку заплатой на весь ковер». Насторожила и секретность заседаний съезда («отвратительный прецедент связывания языков»), хотя состав делегатов Джефферсон считал «собранием полубогов». Первая непосредственная реакция на творение «полубогов» оказалась резко отрицательной. Столь резкое изменение государственного устройства явно застало его врасплох. «Признаюсь, здесь есть такие вещи, которые потрясают всю мою предрасположенность присоединиться к решению этого собрания... Все хорошее в новой конституции можно было бы изложить в трех-четырёх статьях, добавленных к добротному, старому и заслуженному устройству...», — сокрушался он в письме Джону Адамсу.

На склоне лет Джефферсон несколько подправил свое былое отношение к ставшей потом «священной» конституции. Первый экземпляр документа он, оказывается, воспринял «с громадным удовлетворением». На деле тогда его реакция напоминала скорее искреннее возмущение, ярче всего проявившееся в письме молодому другу — зятю Джона Адамса У. Смитту: «Наш съезд находится под чрезмерным впечатлением от бунта в Массачусетсе и, движимый моментом, сажает коршуна надзирать над птичьим двором». А что такое этот бунт, если разобраться как следует? «Какая страна может сохранить свою свободу, если ее правителям время от времени не напоминают о том, что в народе еще жив дух сопротивления? Пусть берутся за оружие. Противоядие одно — ознакомить их с истинным положением вещей, помиловать и умиротворить». Были человеческие жертвы? Ну что же — «дерево свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов». Якобинской смелости слова, до сих пор пугающие добропорядочных американских буржуа, видящих в их авторе кровавого революционера. Правда, тут же простым подсчетом Джефферсон доказывает, что крови в конце концов будет не так уж и много: один мятеж на 13 штатов в течение 10 лет в пересчете на каждый штат дает один мятеж в 150 лет: «Была ли страна, существовавшая полтора столетия без мятежа..? Что значит потеря нескольких жизней раз в сто или двести лет?»

Но вот приходит толстое письмо от Мэдисона с подробными комментариями и доводами в защиту новой конституции, выявляется ее популярность среди власть имущих, и отношение Джефферсона начинает меняться. Он занимает уже «нейтральную» позицию, как сообщает Каррингтону 21

декабря: «В ней очень много хорошего и выраженного в желательной форме, но есть для меня и одна-две горькие пилюли». Что же это за пилюли? Неограниченная возможность переизбрания одного и того же президента, который есть не что иное, как «плохое издание польского короля», и отсутствие билля о правах, «на который имеет право народ в отношении любого государства... и в котором ни одно справедливое правительство не должно отказывать». «Я не сторонник очень энергичного правления, — поясняет он Мэдисону, — оно всегда угнетает».

Но, кажется, конституция будет принята штатами, тогда «пусть решает большинство — если оно одобрит предложенную конституцию, я охотно соглашусь с ним в надежде на то, что оно исправит ее, когда обнаружит недостатки». Да и стоит ли придавать такое значение деталям государственного устройства, если залог успеха республиканского эксперимента — в самом народе: «Наши штаты будут оставаться добродетельными до тех пор, пока они преимущественно аграрные, а они останутся таковыми, пока есть свободные земли в какой-либо части Америки».

По мере одобрения конституции штатами Джефферсон обнаруживает в ней все больше достоинств. «Конституция, видимо, завоевывает общественное мнение, да и мое, признаться, тоже, — пишет он в мае 1788 года Каррингтону. — С первого взгляда я увидел, что подавляющая ее часть хороша, но мне не понравились некоторые привески. Размышления и обсуждение устранили большую часть этих сомнений». Немалую роль в этом осмыслении сыграл, по признанию Джефферсона, и «Федералист» — «лучший из когда-либо написанных комментариев о принципах государственного устройства».

Окончательное принятие конституции рассеяло остатки сомнений: она «бесспорно мудрейшая из всех когда-либо предложенных людям», — пишет он Д. Хэмфри; «хорошее полотно, нуждающееся лишь в нескольких последних мазках» — Мэдисону. За исключением оговорки насчет билля о правах, Джефферсон в какие-нибудь полгода полностью примирился с конституцией, и та легкость, с которой совершилась эта метаморфоза, мешает объяснить это только как вынужденное, сквозь стиснутые зубы признание свершившегося факта. Она поневоле заставляет усомниться в прочности некоторых исходных убеждений Джефферсона и вновь подводит нас к той особенности его натуры и мышления, которую Карл Беккер назвал «радикализмом по профессии». «Мы часто чувствуем, — писал этот маститый американский историк, — что он защищает определенные действия и идеи, осуждает городские нравы или институты не столько в силу независимого

суждения или глубокого убеждения... сколько потому, что, в общем, это вещи, которые философ и добродетельный человек должны естественно защищать или осуждать. Философам восемнадцатого столетия безусловно надлежало обращаться к Природе, защищать Свободу, клеймить Тиранию и иногда ронять слезу при мысли о благородных деяниях». Абстрактно-революционные сентенции о «древе свободы», орошаемом кровью патриотов и тиранов, «святости бунта» и т. п. и были порождением этого дистиллированного, очищенного от подлинных страстей и прочувствованных убеждений словесно-академического радикализма, не выдерживающего столкновения с реальной действительностью. И неудивительно, что эти столкновения отнюдь не приводили к внутреннему потрясению или надлому. Джефферсон отлично умел проводить грань между спекулятивным и практическим мышлением, отдавая в политике первенство последнему. «То, что практично, — говаривал он, — зачастую должно управлять чистой теорией».

Та же двойственность прослеживается и во внешнеполитических взглядах Джефферсона. Он полностью разделяет упования философов-просветителей на скорое воцарение эры разума и справедливости как главных начал в отношениях между странами. Ссылаясь на пример великодушной помощи Соединенным Штатам со стороны Франции, он торжественно утверждает, что сила и принуждение в международных делах «были узаконенными принципами лишь во мраке средневековья, вклинившегося между античной и современной цивилизацией, но в восемнадцатом столетии они рухнули, отвергаемые с праведным ужасом».

Наслаиваясь на типично американское ощущение исключительности Нового Света и его безопасной удаленности от эпицентра мировых бурь — Европы, эти прекраснодушные надежды еще более укрепляли Джефферсона в его интеллектуальном отвращении к традиционной дипломатии, «этой мастерской, где производятся все европейские войны», и в его убеждении в том, что Америке нужна совсем иная — «антидипломатическая система», основанная на принципах отказа от войн, мирной торговли, полного невмешательства в дела других стран и минимальных дипломатических контактов.

В то же время Джефферсон — дипломат и политик далек от того, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и всецело положиться на благословенную уединенность США и миролюбие просвещенных европейских государств. «Мы должны пристально следить за ними, их связями и противоречиями, — наставляет он Э. Каррингтона из Парижа, — с тем чтобы в нужный момент с выгодой воспользоваться из слабостью относительно друг друга или нас самих». Да и как удержаться

от вмешательства в европейские дела, если его требуют интересы американской торговой экспансии, от которой, помимо прочего, зависит и процветание «богоизбранного» американского фермерства? «Продукция Соединенных Штатов скоро превысит европейский спрос, — с неподдельной озабоченностью писал Джефферсон осенью 1788 года Вашингтону. — Что делать с этим излишком, когда он появится? Несомненно, он будет использован для насильственного открытия рынков на нашем континенте... Есть, очевидно, и другие причины, которые могут вовлечь нас в войну, а война требует всех ресурсов налогообложения и кредита. Достижение военной мощи, достаточной для ведения войны, часто предотвращает ее и ведет к осуществлению нашего желания мира. Если новое государственное устройство, как я надеюсь, сможет создать такие условия, я не вижу, почему мы не можем воспользоваться чужими войнами, чтобы открыть другие части Америки для нашей торговли как плату за нейтралитет.»

Стало быть, «энергичное правление», немислимое в теории, было совершенно необходимо на практике, включая и военную мощь, прежде всего — флот, за создание которого усиленно ратует посол США во Франции: «Мы должны быть военно-морской державой, если хотим развивать нашу торговлю». К тому же — снова удачное совпадение соображений морали и целесообразности — военно-морские силы, в отличие от сухопутных, «никогда не поставят под угрозу нашу свободу и не приведут к кровопролитию». У конгресса нет денег на корабли? «Денег не будет до тех пор, пока конфедерация не покажет зубы». Зубы, разумеется, надлежало показывать осмотрительно — например, пиратским государствам Средиземноморья, сильно досаждающим американским торговцам: «Почему не объявить им войну, если они откажутся заключить договор?... Разве можно найти для нее более достойный повод или более слабого противника?» И война, оказывается, тоже может служить инструментом политики, если соотношение сил складывается в пользу США. То размышлял не философ-гуманист, а государственный деятель молодого, но уже агрессивного экспансионистского государства. И это тоже был Джефферсон.



Пусть он дважды не сумел принять участие в выработке конституции — своего штата и страны, но зато Джефферсону представился редкий случай наблюдать «две такие революции, каких никогда не видел мир». Не успел он благословить счастливое завершение революции в Америке, как прямо у него

перед глазами начала разворачиваться грандиозная драма великой французской революции. В отношении к ней, в отличие от событий в своей стране Джефферсон предстает лишь в одном качестве — как трезвый политик, умеренный реформист, отнюдь не пламенный революционер.

Как истый американец, уверовавший в необратимость европейской деградации, вначале он не верил в возможность серьезных социальных перемен во Франции. «Что могут поделать овцы против волков, кроме как покориться и страдать без всякой надежды когда-либо изменить установленный порядок?» Созыв Генеральных Штатов показал, что страна ступила на путь реформации, но и на этом пути Джефферсон не ждет многого. Франция не может сразу перескочить от деспотизма к демократии — ее политические институты и народ еще не готовы к этому. «Если уж возвращенный в демократических англосаксонских традициях американский народ следовало допускать к власти с большой осторожностью, то что же говорить о нетерпеливых и забытых французах? — рассуждает Джефферсон. — К сожалению, они еще не созрели для благ, на которые имеют право...» «Им потребуется тысяча лет, чтобы сравняться с политическими достижениями Америки», — пишет он осенью 1786 года Дж. Уайту.

Франция, как и Англия, должна идти по пути постепенного ограничения абсолютной монархии, и Джефферсон планирует для нее нечто вроде «славной революции» 1688 года. «Держа перед глазами образец вашего соседа, — советует он Лафайету, — вы сможете шаг за шагом продвигаться к хорошей конституции» (т. е. конституции английского образца. — В. П.). Его позиция совпадает с платформой того кружка либеральной аристократии, в котором он вращается в Париже, — Лафайет, Кандорсе, Ларошфуко, Дюпон де Немур и др. Вначале он надеется на компромисс короля с дворянством, потом, после созыва Генеральных Штатов, — на компромисс короля и трех сословий. «Помните, — писал он много лет спустя Лафайету, — как искренне я убеждал вас и патриотов моего круга войти в соглашение с королем, обеспечивающее свободу прессы, суд присяжных, неприкосновенность личности и национальное законодательное собрание — все то, что король, как было известно, готов уступить; а затем — разойтись по домам и предоставить всему этому улучшать состояние народа до тех пор, пока он не станет способен на большее».

В мае 1789 года он набросал для Лафайета и его друзей «хартию прав» — план примирения трех сословий по английскому образцу. С такими планами, присовокупил посол, можно добиться «большего, чем когда-либо, — и без насилия». Мирная, бескровная реформация сверху остается его идеалом,

поэтому больше всего он опасается глупого упорства двора и аристократии, с одной стороны, и нетерпения, излишней требовательности третьего сословия — с другой. И то и другое может нарушить спасительное политическое равновесие под эгидой короля. Даже к середине июня — моменту временного отступления аристократии и триумфа Национального собрания, когда стало ясно, что речь идет о радикальной перестройке старого режима, Джефферсон всецело уповал на руководящую роль в ней Людовика XVI. «Судьба нации теперь зависит от поведения короля и его министров. Если они объединятся с третьим сословием, революция будет завершена без конвульсий», — пишет он Джею.

Народным массам не находится места в сценарии Джефферсона; этому главному действующему лицу он отводит роль статиста, чье поведение почти не влияет на основных героев и само действие. Со спокойным любопытством натуралиста взирает он на рокочущие массы Парижа, одинаково чуждый негодованию служившего во Франции Г. Морриса и энтузиазму Томаса Пейна. Человеческие жертвы не слишком пугают его. Нельзя «перескочить от деспотизма к свободе, лежа в пуховой постели», — говорит он Лафайету, и лишь иногда волнения пролетариата раздражают Джефферсона. «Это самые отъявленные бандиты, — пишет он о восстании рабочих бумажных фабрик Парижа весной 1789 года, — и не было еще бунта менее обоснованного и вызывающего меньше сострадания». Так реагировал глашатай гипотетических бунтов и крови на реальный бунт и реальную кровь. И не случайно — подлинная социальная революция снизу для него не существовала ни в опыте, ни в теории; он не хотел и не мог ее разглядеть. К великой французской революции, в крови и муках уничтожавшей многовековой феодальный режим, Джефферсон подходил с узкой меркой революции американской, задачи и размах которой были намного скромнее.

Революция во Франции пошла не по Джефферсону, и даже спустя много лет, описывая эти события, он не смог не попрекнуть ее фатальным пренебрежением к собственному проекту компромисса. Все могло быть иначе, ибо «даже после многих лет внешних и внутренних войн, потери миллионов жизней, разрушения человеческого счастья и временного порабощения своей страны иностранными державами они не добились большего». Подвел король, вернее вздорная Мария-Антуанетта, державшая беднягу под каблуком. Именно «беспорядочные аферы и беспутство.., беспредельное упрямство и отчаянность привели ее на гильотину, вместе с ней — короля и погрузили весь мир в преступления и бедствия, навсегда запятнавшие страницы современной истории». «Я всегда считал, — скажет

он несколько позже, — что не будь королевы, не было бы и революции».

Но это будет потом, а пока — летом 1789 года — Джефферсон полон надежд на скорое и мирное завершение революции. Европа в конце концов оказывалась не столь уж безнадежной и, казалось ему, постепенно вступала на путь освобождения. Свежий ветер социального обновления веял, казалось, над всем миром; никогда еще до тех пор осуществление мечты философов-просветителей о скором торжестве «царства разума и справедливости» на земле не казалось таким реальным. Не случайно именно в эти месяцы рождается знаменитый тезис Джефферсона о том, что «земля принадлежит живущим и мертвые не имеют ни прав, ни власти над ними, ибо живые заимствуют свои права не у предков, а у самой природы». Для Джефферсона «самоочевидно», что каждое новое поколение, которое он уподоблял самостоятельной нации, суверенно и вправе перестраивать общество по своим меркам, восставая против тирании прошлого, овеществленной в законах и обязательствах его предшественников; конституция — и та подлежала обновлению каждые 19—20 лет. В этой мысли, пожалуй, образнее всего отразился возвышенный идеал самого Джефферсона и Просвещения в целом, утверждавшего свободу и права личности как высшую цель, которой должно быть подчинено все, включая и государственное устройство.

Не случайно эта крылатая формула со скрытым в ней революционным пафосом социального преобразования удивительным образом предвосхитила и парировала известный контртезис Эдмунда Берка, выдвинутый им в следующем, 1790 году против французской революции и ее идеологии «ниспровержения устоев». Обрушившись на «новых философов», готовых «разрушать старое потому, что оно старое», и считающих, что «государственное правление можно менять, как фасон платья», английский мыслитель противопоставил им идею государства как исторического достояния нации, договора особого свойства, заключаемого «между живыми, мертвыми и еще не рожденными». Поэтому каждое из живущих поколений, по Берку, — это лишь «временные владельцы и пожизненные арендаторы» здания общественного устройства, которые не вправе, «пренебрегая полученным в наследство от предков и причитающимся потомкам брать на себя роль его полновластных хозяев».

Трудно найти в истории политической мысли более выразительное воплощение столкновения коренных принципов реформизма и консерватизма в извечном вопросе социального переустройства. Мысль Джефферсона в ее практическом применении остается настолько радикальной и сегодня, что редактор

наиболее полного, продолжающегося издания его документов, маститый американский историк Дж. Бойд счел за благо подчеркнуть, что Джефферсон имел в виду отвлеченный идеал, предназначенный в основном для Франции. Между тем сам Джефферсон в том же письме прямо указывал, что «этот принцип... имеет очень широкое применение и последствия для всех стран». Но, видимо, и он вполне сознавал чисто умозрительный характер этих построений, коль скоро так и не вынес их на публичное обсуждение, не говоря уже о реализации.

Авторитет крупнейшего философа американской революции в кругах либеральной аристократии Франции был весьма высок. Лафайет обсуждал с ним свой проект знаменитой Декларации прав человека и гражданина, в котором учитывал предложения автора Декларации независимости, его приглашали на заседание комитета по выработке конституции, но он как дипломат вынужден был отказаться; в его доме, наконец, по просьбе Лафайета однажды собрались сторонники маркиза для обсуждения проекта конституции. Там он услышал речи, сравнимые с «лучшими диалогами Ксенофонта, Платона и Цицерона». Джефферсон чувствует себя участником великой эстафеты — от американской революции к французской. «Мы вполне можем похвастаться тем, — пишет он Э. Рутледжу, — что показали миру прекрасный пример преобразования государства силой одного разума, без кровопролития». И Франция, слава богу, как будто следует этому примеру.

Джефферсон торжествует вдвойне — как гуманист и как американец, ибо победа республиканизма во Франции не только подвигает дело освобождения всего человечества («это лишь первая глава в истории европейской свободы»), но и придает новый импульс желанному сближению сестер-республик — Франции и США, которое надежно оградит его страну от посягательств Великобритании.

Такой — борющейся за свободу и дружественной — надолго запомнил Францию Джефферсон, и в течение почти 10 следующих лет достижение согласия с ней оставалось «полярной звездой» его внешней политики. Но и потом, после многих разочарований и перемен в его политических симпатиях, осталась привязанность к друзьям, культуре, память о счастливых днях, проведенных на французской земле. На склоне дней его как-то спросили, в какой стране он хотел бы жить. «Конечно, в своей, — ответил Джефферсон. — Там все мои друзья, связи и самые ранние светлые воспоминания жизни». «А ваш второй выбор?» «Франция», — без колебаний ответил он.

Глава третья

ПАРТИЯ ГАМИЛЬТОНА В НАСТУПЛЕНИИ

...Здесь натиск пламенный, а там отпор суровой.
Пружины смелые гражданственности
новой.

А. С. Пушкин

Чтобы привести государство в действие, его, как и часовой механизм, нужно сначала хорошо завести.

У. Пенн

Косени Джефферсон выпросил, наконец, у конгресса долгожданный отпуск и отплыл на родину.

После пяти лет, проведенных в Европе, он предвкушал возвращение в родные места — дорогое его сердцу Монтичелло, встречу с близкими и друзьями. В пути он получил письмо от Мэдисона с загадочным намеком на возможные изменения в его судьбе: по прибытии в Норфолк слухи подтвердились — президент Вашингтон предлагал Джефферсону портфель государственного секретаря. После назначения прежнего главы внешнеполитического ведомства Джея председателем Верховного суда посол во Франции был естественным кандидатом на этот пост; что касается самого Джефферсона, то если он и хотел войти в правительство, то именно в этой почетной и наиболее ответственной роли. Однако в благовоспитанном XVIII веке уважающему себя джентльмену не пристало гоняться за должностью, а напротив, надлежало долго кряхтеть и отказываться, прежде чем с пристойно-постным видом при-

нять предложение. Поэтому Джефферсон кротко ответил Вашингтону, что целиком веряет себя ему, и направился прямоком в Монтчелло.

Соседи и друзья радушно встретили именитого земляка — философа, дипломата, государственного деятеля. Черные слуги на радостях протащили карету через грязь на руках, целуя руки и ноги своего господина. Наконец-то дома! Дел накопилось немало: хозяйство совсем пришло в расстройство, а еще надо подумать о свадьбе дочери Марты с Томасом Рэндольфом. Только в середине февраля Джефферсон официально принял предложение Вашингтона и лишь к концу марта добрался до столицы.

Тем временем корабль молодого американского государства уже сходил со стапелей в Нью-Йорке — временной резиденции правительства. Были избраны и функционировали новый состав конгресса, президент и вице-президент (Джон Адамс), заработали министерства. Военным министром стал генерал Нокс, а министром юстиции — вирджинец Эдмунд Рэндольф. Несколько сложнее оказалось заполнить последний министерский пост — министра финансов, или, как тогда его называли, генерального казначея.

Наиболее логичной кандидатурой на это место по-прежнему являлся многоопытный Роберт Моррис, но к тому времени он успел сделаться сенатором и выпал из числа претендентов. Это сразу же увеличило шансы Гамильтона, давно мечтавшего о портфеле казначея. Как бы освобождая себя для желанного поста, он отказался от других заманчивых перспектив: избрания в сенат, губернатором Нью-Йорка или назначения членом Верховного суда. Риск оправдал себя: высокое мнение о нем самого президента, горячие рекомендации Морриса («это дьявольски дельный молодой человек») и Мэдисона решили дело. 12 сентября 1789 г. 32-летний Гамильтон был назначен первым министром финансов США. Везение? Несомненно, но во многом вырванное у судьбы им самим.

Смолоду девизом Гамильтона были слова его любимца Макиавелли: «Лучше быть нетерпеливым, чем осторожным, ибо фортуна подобна женщине, и если вы хотите властвовать над нею, нужно завоевать ее... Поэтому она всегда сопутствует молодым, они дерзки, необузданны и покоряют ее с большей смелостью». К этому следует добавить и честно заработанную у власть имущих репутацию. Все ступеньки его карьеры вели к этому посту, и теперь он не скрывал своего торжества.

Министерство финансов было самым большим и влиятельным. В его ведении находилась вся финансовая и экономи-

ческая политика государства, а в штате числилось 30 служащих (в военном министерстве — трое, в государственном департаменте — четверо), не считая тысяч сборщиков налогов и таможенных чиновников. Правда, за управление экономикой и финансами самому казначею полагалось всего 3 тысячи долларов в год — в несколько раз меньше того, что Гамильтон зарабатывал юридической практикой и что было необходимо для приличного содержания его уже многочисленной семьи. Но что означали эти неудобства в сравнении с волшебным ощущением от прикосновения к штурвалу государственного корабля для такого человека, каким был Александр Гамильтон?

Тем более что речь шла о прокладывании пути, об определении направления развития огромной страны — о том, что составляло предмет его неустанных раздумий все предыдущие годы. И уж, конечно, никто не чувствовал себя более подготовленным к практическому воплощению того идеала государственного деятеля, который Гамильтон нарисовал еще в своем раннем памфлете, разоблачающем спекулянта Чейза. «Положение члена конгресса — наиболее славное и значительное из всех, которые можно себе представить. Его должно рассматривать не просто как законодателя, но как основателя империи. Человек доблести и способностей, удостоенный столь драгоценного доверия, будет гордиться тем, что судьба дала ему жизнь в такое время и в обстоятельствах, столь благоприятных для обеспечения человеческого счастья». Не низменный материальный интерес, не карьера в узком смысле, а только эта безграничная, бессмертная слава «основателя империи» могла теперь удовлетворить Гамильтона.

Если так, то его собственное бессмертие всецело зависело от осуществления его приемной родиной плана, им для нее предначертанного. Многие американцы верили тогда в грядущее величие Америки, но мыслили при этом категориями коммерческого или морального превосходства. Гамильтон же увидел могучую воинственную империю — Великобританию Нового Света. Перед глазами, однако, была убогая реальность — слабообразованная разобщенная страна, малозаметная величина на весах мировой политики. До «великой американской системы», вдохновенно описанной в «Федералисте», предстоял еще долгий трудный путь, и именно ему, Александру Гамильтону, суждено вести страну к величию. Контуры этого пути были ему ясны. Великобритания всегда служила для него идеалом, и он хорошо понимал, что источник мощи «мастерской мира» и «владычицы морей» кроется в ее промышленности, финансах, торговле и флоте. Это должно

стать примером для Америки. Гамильтон с наслаждением окунулся в государственные дела.

Обстоятельства благоприятствовали ему. Прежние добрые отношения с Вашингтоном восстановлены, и малосведущий в финансовых вопросах президент полностью полагается на своего бывшего адъютанта. Медлительный толстяк Нокс давно единоклубен с ним, а Рэндольф слишком нерешителен, чтобы ему препятствовать. Почему бы не стать премьер-министром при «его величестве Вашингтоне» по примеру У. Питта-младшего, в 24 года возглавившего английский кабинет министров? Правда, остается еще государственный секретарь Джефферсон, который все никак не может выбраться из своей Вирджинии.

Впервые два министра встретились в конце марта 1790 года. Рассуждающий о демократии аристократ и бравирующий своими аристократическими взглядами выскочка сомнительного происхождения; клонящийся к пятидесяти именитый государственный деятель и мальчишка-адъютант, неожиданно вынырнувший из-за широкой спины Вашингтона; энциклопедически образованный интеллектуал, которому подвластны все области знания, и безнадежно узкий на этом фоне специалист, сосредоточившийся на конкретных проблемах финансов и внешней политики. У них, казалось, не было ничего общего, кроме рыжего цвета волос. А как по-разному они представляли себе будущее страны и свою роль в ней!

Никаких воспоминаний об этой встрече не сохранилось, и не удивительно: они слишком мало знали друг о друге, чтобы видеть в ней какой-то особый смысл. Противоположность их положения и натур не сулила ничего доброго.

Примечательный эпизод приводит в своих воспоминаниях Джефферсон. Гамильтон был в его нью-йоркском доме и заинтересовался тремя бюстами, вывезенными вирджинцем из Франции. «Ньютон, Локк и Бэкон, — назвал хозяин дома, — величайшие из всех людей!» «Ну, нет, — возразил казначей, — величайшим из всех людей на земле был Цезарь!» Джефферсон привел эту сцену в качестве подтверждения ранних диктаторских устремлений своего молодого коллеги, но это ли привлекало Гамильтона в Цезаре? Фрэнсис Бэкон, сочинения которого к концу XVIII века стали классикой, в «Новом Органоне» приводил «лестницу славы» государственных деятелей. На первой ступени стояли «*conditores imperiorum*» — основатели великих государств — Ромул, Кир, Цезарь, Осман, Исмаил. И так, снова идеал — «основатель империи».

Но и об устремлениях самого Джефферсона этот эпизод говорит не меньше, чем о Гамильтоне. Для всех просвещенных людей того времени Ньютон, Локк и Бэкон — великие

мыслители, создатели новой рационалистической системы знаний о мире — воплощали высший предел развития человеческого разума. Сам Бэкон называл ученых-философов богами, ставил их над всеми государственными деятелями — полу-богами, людьми действия.

Так революция поднимала идеалы призванных ею людей на новую высоту. Гамильтон, бредивший когда-то генералом Вольфом, пишет пронизательный американский историк Дуглас Адэр, «теперь представлял свои возможности и жизненные цели в масштабе Юлия Цезаря, Джефферсон, бравший в юности за образец провинциального преподавателя колледжа и юриста, теперь отождествлял свою роль с законодателем — основателем республики».

Это пьянящее ощущение основателей, создающих новое, невиданное доселе государство, и сближало на первых порах таких разных по характеру и взглядам людей, какими были Гамильтон и Джефферсон. Каждый из них верил в свой идеал и надеялся на его осуществление; каждый рассчитывал на национальное единство и гармонию. Их конторы располагались в одном доме на углу Третьей и Рыночной улиц, где оба министра с увлечением обсуждали план перевода страны на десятичную денежную систему, единую систему мер и весов и другие проблемы.

Джефферсон в этот период также преисполнен оптимизма. Он отзывается о своих коллегах по кабинету как о людях «достойных, смелых и разумных». С принятием билля о правах, пишет он Лафайету в апреле 1790 года, «оппозиция нашей новой конституции почти полностью улетучилась... Если удастся сохранить президента в течение нескольких лет, пока не привьется привычка к власти и повиновению, то в общем нам нечего опасаться».

Духом созидания была охвачена вся когорта «отцов-основателей», сознающих колоссальную значимость первых шагов государства и потому не покинувших командные посты. Больше половины участников филадельфийского съезда осело на руководящих постах — в конгрессе, министерствах, заняло судейские скамьи. «Можно с достаточным основанием считать, — писал по этому поводу Ч. Бирд, — что конституционный конвент, хотя и закончившийся 17 сентября 1787 г., так и не был распущен до тех пор, пока не осуществились великие экономические мероприятия, необходимые для превращения конституции в живую реальность». Эти-то «великие экономические мероприятия и предстояло осуществить Гамильтону.



Самыми неотложными задачами для федералистов были выплата государственного долга, восстановление кредита и устойчивой денежной системы. К концу 1789 года общая сумма федерального долга и процентов по нему составила, по подсчетам казначейства, 54 124 464 доллара и 51 цент, из них иностранный долг — 11,71 миллиона, внутренний (в сертификатах, облигациях и других ценных бумагах) — 40,414 миллиона плюс 2 миллиона сохранившихся бумажных денег. К этому нужно было добавить долги штатов — более 25 миллионов долларов. В итоге получалась внушительная сумма — около 80 миллионов долларов.

Сложнее всего дело обстояло с решением о выплате внутреннего долга, так как необходимость полной выплаты внешнего ни у кого сомнений не вызывала. Государственный долг был, по выражению Гамильтона, «ценой свободы», но распределялась эта цена крайне неравномерно. К 1788 году более 80% обесценившихся бумаг осело в карманах вторичных владельцев, то есть перекупщиков. Горячка спекуляции нарастала по мере усиления централизации власти и предсказуемости финансовой политики государства.

Меккой барышников стал Нью-Йорк — место заседания конгресса. Здесь орудовали целые синдикаты по продаже государственных бумаг за границу, крупнейшими из которых была группа Р. и Г. Моррисов, У. Дуэра и У. Констебля, а также фирма Д. Паркера и А. Крэйги. Матерые дельцы переправляли миллионы за океан для голландских, английских и французских компаньонов, а сотни тысяч прилипали к их рукам. Г. Моррис и Паркер планировали даже создать международный синдикат по скупке всего государственного долга США, но не смогли добиться монополии.

Помимо общих упований на созданное при их активной поддержке государство дельцов ободряла и конфиденциальная информация, утекавшая из казначейства. Сам Гамильтон не участвовал в спекуляции и продал свои последние ценные бумаги на сумму 800 долларов, заступив на пост казначея. Но Крэйги, Констебль и Моррис были его близкими знакомыми, а король спекулянтов Дуэр — некоторое время его заместителем, так что сведения о готовившихся правительственных мерах, конечно, просачивались.

К осени 1789 года спекуляция достигла апогея, и цены на федеральные обязательства поднялись до 50 центов за доллар. По имеющимся подсчетам, все 40 миллионов внутреннего федерального долга поделили между собой 15—20 тысяч кредиторов-спекулянтов, из которых крупнейшие 280 владели

двумя третями всей суммы. Какова бы ни была точная цифра, ясно одно: абсолютное большинство населения страны не имело прямой заинтересованности в выплате государственного долга. Зато вожделиния «самых просвещенных друзей хорошего правления», как именовал спекулянтов Гамильтон, достигли предела. Затаив дыхание, ждали они явления своего Мессии. И вот 9 января 1790 г. в конгрессе был оглашен «доклад о публичном кредите» — первый из так называемых «великих докладов» Гамильтона.

Теоретически перед ним открывалось несколько возможностей. Популярен был проект времен конфедерации — погасить долг за счет распродажи свободных западных земель или же выплатить его бумажными деньгами. Справедливость требовала дифференцированного подхода к первоначальным и конечным владельцам государственных бумаг. Наконец, можно было бы легко сократить реальную сумму долга почти в два раза, оплачивая их по рыночной стоимости.

Однако ни один из этих вариантов не мог устроить Гамильтона и крупных кредиторов. «Цемент союза» должен был быть максимально прочным, а первый важный шаг государства — стать убедительным доказательством лояльности своим хозяевам. Поэтому казначей с порога отбрасывает все проекты, направленные на уменьшение государственной задолженности: «Допустите, чтобы государство отступило от своих долговых обязательств, будучи в силах удовлетворить их, и вы опрокинете всю общественную мораль... У вас будет что угодно — анархия, деспотизм, но только не справедливое и налаженное государство». Не соглашается он и с требованием отдать предпочтение первоначальным владельцам, ибо это будет нарушением святости контрактов и конституции, ее гарантирующей, а также аморально по отношению к покупателям. Он ссылается на технические трудности — как определить первоначальных владельцев бумаг, прошедших через десятки рук? Здесь Гамильтон преувеличивал. В отношении основной массы первоначальных держателей — солдат и офицеров велся соответствующий учет. Что же касается морали, то разве не сам он в войну клеймил позором спекулянтов, наживавшихся на людских страданиях?

Однако сейчас речь шла о государственной политике, и Гамильтону было не до сентиментов. Дискриминация крупных держателей не только ослабила бы их поддержку государства, но и помешала другой важной цели Гамильтона — направить капиталы потенциальным инвесторам-капиталистам. Что проку распылять их среди бедняков? «Капитал, — учил почитаемый им Юм, — не принесет пользы экономике и госу-

дарству, если будет рассредоточен в руках бесчисленных держателей, которые пустят его на ветер или употребят на самое необходимое». К тому же около четверти внутреннего государственного долга принадлежало вторичным владельцам — иностранцам, и ущемление их интересов грозило сокращением притока в страну иностранного капитала.

Поэтому Гамильтон предложил следующее: принять к обеспечению весь долг в его нарицательной стоимости и выплачивать проценты по нему звонкой монетой без всякого различия между владельцами. Мало того. В общую сумму фундированного долга казначей рекомендовал включить и 25-миллионный долг штатов, предварительно переведя его на счет федерального правительства. Экономическая целесообразность такой операции была весьма сомнительной. К чему раздувать и без того огромный государственный долг, тем более что точный баланс расчетов штатов с конфедерацией еще не был подведен? Зато в политическом смысле план Гамильтона был безупречен. Намек на него проскользнул и в самом докладе: «Если все государственные кредиторы будут получать свою долю из одного источника, одной справедливой рукой, то их интересы будут совпадать. А имея общие интересы, они объединятся в поддержке налоговой политики государства».

Тем самым Гамильтон убивал сразу нескольких зайцев: привязывал кредиторов штатов к центральному правительству, ограничивал полномочия и влияние штатов и создавал новый предлог для увеличения федеральных налогов. Для выплаты процентов, по подсчетам Гамильтона, требовалась огромная по тем временам сумма 2,239 миллиона долларов ежегодно. Поскольку одних таможенных поступлений для этого не хватало, предполагалось ввести налоги на население, в первую очередь акциз на спиртные напитки — «источник национальных излишеств и оскудения», потребление которых «в силу дешевизны доходит до крайности».

Объективное классовое содержание гамильтоновского доклада очевидно. Одним росчерком пера из горы грошовых бумажек создавался и вручался буржуазии огромный дополнительный капитал, соответственно увеличивалось налоговое бремя на трудящихся. Чистый выигрыш кредиторов от разницы курса старых и новых обязательств составил более 40 миллионов долларов. Для сравнения достаточно сказать, что общая стоимость земель всех штатов к 1787 году оценивалась в 400, а объем ежегодного импорта в США — в 19,1 миллиона долларов. Фактически предлагалось долговременное и значительное перераспределение национального дохода в пользу буржуазии. Тем самым с помощью государства решалась

задача ускорения процесса первоначального накопления капитала в Америке.

Таковы были непосредственные результаты освободительной борьбы для американского народа. Буржуазия не только нажилась во время войны, выигранной кровью простого люда, но и после ее окончания заставила его многократно возместить свой собственный финансовый вклад. Восстановление государственного кредита, этого «экономического барометра, показывающего интенсивность революции», — по словам К. Маркса, — подводило окончательную черту под периодом революционных преобразований, открывая путь для «упорядоченного» функционирования буржуазного общества.

Финансовая система Гамильтона имела и другие далеко идущие политические последствия. Выбор таможенных пошлин и высоких федеральных налогов в качестве основных источников доходов государства привязывал Соединенные Штаты к Великобритании как основному торговому партнеру и готовил почву для будущих вспышек недовольства внутри страны.

Увеличение федеральных налогов, отметил в своем дневнике один из немногих «бессребренников» в сенате У. Макклей, «приведет к огню и кровопролитию».

Доклад Гамильтона всколыхнул страну и конгресс, дотоле занятый обсуждением мелких вопросов. Большинство конгрессменов с энтузиазмом встретили предложения генерального казначея. Оно и понятно: 16 из 26 сенаторов и большая часть палаты представителей были крупными кредиторами. Доклад прозвучал для них призывным набатом; спекулянты-конгрессмены рассылали скупщиков во все «медвежьи уголки» страны, где еще не знали об удивительных делах в столице. Крупнейший купец и банкир сенатор И. Уодсворт снарядил на юг страны сразу два корабля с агентами, обставив многочисленных конкурентов. Избранники народные не слишком заботились о конспирации. Конгресс гудел, как растревоженный улей. «Все только и говорят, что о спекуляции сертификатами», — записал Макклей. Та часть буржуазии, которая не принимала участия в скоропалительном обогащении, подняла крик: «Коррупция!», но ее голос тонул в хоре взаимных поздравлений и похвал в адрес генерального казначея — так начались в феврале дебаты по докладу Гамильтона.

Однако даже самые рьяные энтузиасты приутихли, когда раздался тихий монотонный голос наиболее почитаемого члена палаты — Джеймса Мэдисона. Воззвав к справедливости, он предложил подойти к кредиторам дифференцированно: у первоначальных владельцев скупить обязательства по

нарицательной стоимости, а у остальных — по рыночной, в половину меньшей, и всем выплачивать по 6% годовых.

Оппозиция Мэдисона поразила Гамильтона как «отступление от принципов, которые он клятвенно обязался защищать». И действительно, до тех пор он полностью соглашался с Гамильтоном по всем этим вопросам. Мэдисон объяснял свой поворот тем, что спекуляция последнего времени резко изменила состав владельцев, но действительные причины были другими. Мэдисон с большим трудом добился избрания в палату представителей, и ему приходилось внимательно прислушиваться к голосу своего штата, которому план Гамильтона пришелся явно не по душе. Подавляющая часть государственных ценных бумаг осела на северо-востоке страны, а принятие долгов штатов грозило заставить Вирджинию, уже погасившую большую часть своего долга, оплачивать долги других.

«Предательство» Мэдисона — ключевой фигуры конгресса, от которого во многом зависел успех сотрудничества исполнительной и законодательной власти, серьезно осложнило положение Гамильтона. В сердцах он проронил, что никогда не стал бы министром финансов, если бы не был уверен в полной поддержке вирджинца. Он еще не понимал, что бегство старого союзника с корабля федералистов было лишь первым симптомом грядущего раскола континентальной элиты по вопросу о путях развития только что созданного государства.

Проникновенные призывы Мэдисона, как и следовало ожидать, не возымели должного эффекта. Его предложения били по карманам крупных кредиторов, да и Гамильтон, по свидетельству одного из конгрессменов, через своих ставленников в палате буквально «ворочал землю и небеса во имя своей системы». 36 голосами против 13 план Мэдисона был отвергнут.

Большее сопротивление встретило предложение казначея о принятии федеральным правительством долгов штатов. Часть штатов, прежде всего на Юге, имела небольшие долги и потому выступала против этой меры, считая, что в таком случае ей придется оплачивать долги других штатов. Во время дискуссии вновь поднялся Мэдисон и предложил принять долги штатов по состоянию на 1783 год, что уравнило бы их положение. Дебаты зашли в тупик. Наконец, в апреле палата минимальным большинством в два голоса отвергла гамилтоновский план принятия долгов штатов и передала в сенат лишь одобренный законопроект о фундировании.

Спасение для Гамильтона пришло с неожиданной стороны. Уже около года в конгрессе шли распри о том, где расположить будущую столицу государства. Среди претендентов были

Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и Вирджиния, уготовившая для нее место на берегу Потомака. Соперничество штатов, подстегиваемых наивной убежденностью в исключительной важности исхода, затянуло и эти дебаты. Но два тупика создавали некоторую возможность для маневра, чем и не преминул воспользоваться Гамильтон. Финансовая программа была для него неизмеримо важнее вопроса о резиденции столицы. В начале июня он предложил Р. Моррису перенести столицу в Пенсильванию в обмен на шесть голосов ее делегации. Когда эта сделка не состоялась, он обратился с аналогичным предложением к вирджинцам, которым очень хотелось разместить стольный град на берегах родного Потомака. Но готовы ли они заплатить за это такую цену?

В один из солнечных июньских дней на Бродвее у президентского особняка Гамильтон остановил направляющегося туда государственного секретаря Томаса Джефферсона. Наверное, это была картина, достойная кисти художника: небольшого роста, прямой, как манекен, Гамильтон и высокий сухопарый Джефферсон, прогуливающиеся рука об руку по Бродвею и увлеченно обсуждающие возможность компромисса. Гамильтон казался очень взволнованным и откровенным — речь идет о самом существовании союза. Во имя общей линии правительства Гамильтон попросил госсекретаря выступить посредником в его отношениях с южанами, прежде всего — Мэдисоном, к которому уже не дерзнул обратиться напрямик. Джефферсон, недолго думая, принял оливковую ветвь и через несколько дней за устроенным им обедом, на котором присутствовала вся тройка, состоялась одна из самых известных в американской истории закулисных политических сделок — генеральный казначей «получил» долги штатов, а южане — столицу. Джефферсон уговорил двух вирджинских конгрессменов, чьи округа прилегали к Потомаку, проголосовать «за», что позволило Мэдисону до конца оставаться последовательным в своей оппозиции по этому вопросу. Остальные голоса Гамильтон «достал» через Роберта Морриса у пенсильванцев, которым обещал временное 10-летнее пребывание столицы в Филадельфии. Дважды продав будущую столицу, он, наконец, добился желаемого.

Остальное было делом формальностей. В июле конгресс утвердил билль о местонахождении столицы, а в августе принял основные предложения доклада Гамильтона. Курс федеральных бумаг сразу же подскочил до 75 центов, а штатских — до 40 центов за доллар. Спекулянты не прогадали.

Хотя подробности сделки хранились в глубокой тайне, оппозиционные газеты ехидно высмеяли «мисс Ассумпцию» (от английского «принятие») и двух ее незаконных детей —

«Филадельфию» и «Потомакуса». Некоторые из них кляли «циничную сделку» и Гамильтона, что же касается роли Джефферсона, то она осталась незамеченной. Вирджиния также не испытывала энтузиазма по поводу происшедшего: ассамблея направила конгрессу резолюцию протеста, в которой называла принятие долгов штатов превышением полномочий федерального правительства, противоречащим конституции. Опять эти ненавистные права штатов! «Этот дух, — метал молнии Гамильтон в письме Джею, — должно истребить, иначе он уничтожит саму конституцию Соединенных Штатов».

Позднее, когда роль Джефферсона стала известна, он оправдывался тем, что был якобы бессовестно обманут мошенником-казначеем как человек неискушенный в финансовых вопросах. Но даже по словам своего горячего почитателя историка К. Бауэрса, тем самым он пытался «создать себе алиби после преступления». Тогда он действовал с открытыми глазами, понимая, как писал Джеймсу Монро, «необходимость уступок кредиторам... во имя союза и спасения его от величайшей из всех бед — окончательного краха нашего кредита в Европе». И в следующем году он все еще был вполне доволен честной сделкой как «наименьшим из неизбежных зол», считая ее «одним из тех случаев, когда требуются взаимные уступки и приспособление». Потребовалась еще целая цепь событий, обостривших борьбу внутри буржуазии, чтобы вырыть пропасть между Джефферсоном и Гамильтоном. Следующим шагом в этом направлении стал второй доклад Гамильтона «О национальном банке» от 13 декабря 1790 г.

Заветная гамильтоновская идея банка теперь приобретала особое значение. В результате принятия государственного долга буржуазии был передан огромный капитал, но его еще нужно было сделать активным, заставить работать. В этом-то и состояла главная задача банка. «Золото и серебро, — писал он в своем докладе, — когда они вложены в банк, чтобы стать основой обращения ценных бумаг..., приобретают жизнь, или, иными словами, качество активности и производительности... Банки становятся рассадниками национального богатства».

Торгово-промышленная буржуазия остро нуждалась в крупных банках для кредитования. Одним из серьезных препятствий на пути капиталистического развития США была нехватка свободной звонкой монеты, и обеспечить вновь созданный фонд ценных бумаг малым количеством золота и серебра можно было только через центральный банк, опирающийся на поддержку государства. Помимо депозитных и дисконтных операций такой банк осуществлял бы эмиссию банкнот и чеканку монет в количестве, намного превышающем свой собственный капитал.

Гамильтон предлагал определить уставный капитал банка в 10 миллионов долларов — огромная сумма, в пять раз превышавшая общий капитал трех существовавших тогда банков. Стоимость акций обеспечивалась на одну четверть звонкой монетой, а на три четверти — государственными процентными бумагами, причем государство должно было приобрести в рассрочку на 10 лет 5 тысяч акций на 2 миллиона долларов. Этим достигалось многое: бумаги фактически приравнивались к золоту, что стабилизировало их курс; решалась проблема нехватки звонкой монеты; государство тесно связывалось с банком, который со своей стороны мог дополнительно финансировать крупную буржуазию непосредственно за счет государственных средств. Государство, кроме того, имело право назначать пятерых из 25 директоров и через казначейство осуществлять ревизию банка. В этом Гамильтон перещеголял Английский банк, служивший ему главной моделью, ибо тот не предусматривал доли государства в его денежном запасе.

Словом, в виде Национального банка денежные мешки северо-востока получали идеальное средство для финансирования и прибыльного помещения капитала. Именно поэтому проект не мог иметь успеха среди землевладельцев всех рангов. Для аграрного населения Америки того времени банк-гигант казался спрутом «денежного интереса», пожирающим честных фермеров, а держатели акций, по словам Макклея, — «всцело непродуктивным элементом», паразитирующим на здоровом теле производительного населения. Однако аргументы такого рода не годились для борьбы в конгрессе, где план Гамильтона сразу же получил поддержку большинства. Поэтому Мэдисон повел атаку в другом направлении. Он стал оспаривать конституционность банка, ссылаясь на то, что конституция не предусматривает за государством права учреждения подобных институтов — уж кто-кто, а «отец конституции» знал каждую ее букву. И хотя Мэдисон не смог воспрепятствовать одобрению банка обеими палатами, ему все же удалось посеять сомнения в душе Вашингтона.

Президент запросил письменные соображения Джефферсона и Рэндольфа, которые полностью поддержали своего земляка. Тогда Вашингтон, заказав на всякий случай проект вето Мэдисону, направил соображения министров Гамильтону с просьбой ответить на них. 23 февраля генеральный казначей представил президенту свое знаменитое «Мнение о конституционности банка», где развил доктрину так называемых «подразумеваемых полномочий». Это тщательно аргументированный и мастерски отработанный документ, в котором Гамильтон выступил во всем блеске своего интеллекта.

В этом состязании юристов он пункт за пунктом парирует

доводы своих оппонентов, главным образом — Джефферсона. На стороне госсекретаря буквальное толкование конституции, конкретно оговаривающей полномочия властей. Выйти за пределы этих полномочий, утверждал Джефферсон, «значит завладеть безграничной сферой власти, не поддающейся более каким бы то ни было определениям». В ответ Гамильтон делает поистине виртуозный выпад, формулируя свой главный тезис: «Всякое полномочие, предоставленное государству, является по своей природе суверенным и потому включает в себя право использования всех средств, требуемых и применимых для достижения целей данных полномочий, если только эти средства не подпадают под ограничения и исключения, оговоренные в конституции, не являются аморальными и не противоречат жизненным интересам общества».

Таким образом, кроме перечисленных в конституции полномочий, «существуют и полномочия подразумеваемые, столь же реально делегируемые государству». Единственным местом в конституции, содержащим намек на возможность расширенного толкования перечисленных полномочий, был заключительный параграф раздела восьмого, который предусматривал за конгрессом право «издавать всякие законы, какие окажутся необходимыми и уместными (выделено мною. — В. П.) для пользования как перечисленными правами, так и всеми другими правами, кои предоставляются этой конституцией правительству Соединенных Штатов или какому-либо из его депутатов или должностных лиц». Неудивительно, что обе стороны обратились прежде всего к этой формулировке.

Все эти полномочия, заявил Джефферсон, «могут осуществляться и без банка. Он, следовательно, не является необходимым и не предусматривается данной формулировкой». Даже если банк и удобен для каких-то целей, это еще не может служить доказательством его конституционности. «Если приравнять полезное к необходимому», то эта уловка может быть использована для присвоения любых полномочий, ибо «нет ни одного из них, которое хитрость не смогла бы выдать за полезное в том или другом случае».

«Степень необходимости какой-либо меры, — уходит от удара Гамильтон, — не может служить критерием законности ее использования. Этот вопрос мнений, который можно решить только опытным путем. Подлинным критерием конституционности... должно быть отношение целей и средств — характера средства, используемого для осуществления полномочий, и цели этих полномочий». Здесь Гамильтон развивал мысль самого Мэдисона, который писал в «Федералисте»: «Если ставится цель, то дозволены и средства, если придается общая власть

для достижения какой-либо цели, то сюда включаются и любые частные полномочия, служащие этой цели».

Преодолев, таким образом, главное логическое препятствие на своем пути, Гамильтон вырывается на открытый простор расширенного толкования конституции. «Средства разрешения острых национальных проблем, предотвращения кризисов и обеспечения процветания страны беспредельно разнообразны по своему виду, масштабам и сложности, что неизбежно предполагает значительную свободу в их выборе и использовании. Отсюда вытекает необходимость и целесообразность использования вверенных государству полномочий на основе принципа либерального толкования». После этого нетрудно было доказать, что Национальный банк как средство, способствующее благосостоянию страны и прямо не запрещенное конституцией, ни в коей мере не противоречит ей.

Из своего первого поединка с Джефферсоном Гамильтон вышел победителем. 25 февраля Вашингтон подписал закон об учреждении Национального банка — акт, который К. Росситер назвал «самым большим шагом к конституции, которая действует сегодня». И в самом деле, полемическое «Мнение о конституционности банка» стало классическим и проложило путь магистральному толкованию конституции США на столетия вперед. С помощью аргументации, предложенной Гамильтоном, государство получило возможность наделять себя любыми полномочиями, прямо не запрещенными конституцией. Тем самым конституции была придана эластичность, которая позволила приспособлять ее к нуждам времени без больших текстуальных изменений. В паре с другим изобретением Гамильтона — правом конституционного судебного контроля либеральное толкование конституции предоставило правящему классу США свободу как запрещения неугодных, так и принятия «необходимых» (для себя) законов.

Отсюда — весьма значительный вклад Гамильтона в конституционную систему США, восхваляемый многими поколениями американских правоведов и политиков. И здесь не обошлось без иронии: одним из главных творцов живой конституции стал человек, всю жизнь презиравший это «хилое сооружение».

Национальный банк имел у богачей громадный успех, превзошедший все ожидания его создателя. Акции на 8 миллионов долларов разошлись мгновенно в обстановке невиданного ажиотажа. В одном Нью-Йорке акции на 2,5 миллиона были раскуплены в течение часа. «Даже если бы открыли золотую гору, извергающую из кратера лаву чистейшего золота, — описывал эту сцену очевидец, — толпа не была бы более многочисленной и не проявляла бы большего стремления участво-

вать в наживе». Это, почтительно сообщал Гамильтону Ф. Эймс, доказывает «богатство и изобилие ресурсов страны, а также абсолютное доверие наших состоятельных граждан государству. Преисполненные восторга и благодарности, они знают, кого нужно благодарить, и не скрывают своей признательности».

К этому времени для всех состоятельных граждан Америки Гамильтон становится живым воплощением идеала государственного правления. Разве не он укрепил доверие имущих к государству? «Он ударил по скале национальных ресурсов, — захлебываясь от восторга, писал о кудеснике один из заискивающих журналистов, — и из нее хлынули полноводные потоки государственных доходов, он коснулся безжизненного трупа публичного кредита, и тот живо вскочил на ноги». Молодость, разнообразные таланты и головокружительная карьера Гамильтона еще более усиливали ослепительный ореол вокруг имени генерального казначея. Газеты сравнивали его с «великим Питтом», благодарные ньюйоркцы украсили городское собрание его портретом работы Трамбелла, колледжи и университеты осыпали почетными званиями. Он царит в роскошном салоне первой красавицы Филадельфии госпожи Бингхэм — своеобразной штаб-квартире федералистов, где обретаются самые богатые и самые влиятельные люди страны.

За полтора года пребывания на министерском посту Гамильтон превратился в кумира буржуазной Америки, а ведь в 33-летнем возрасте это, наверное, казалось только началом! И если даже противники уверовали в его всемогущество («Мистер Гамильтон всесилен и ни в чем не знает поражений», — с горечью констатировал Макклей), то чего же было ждать от него самого? Самые дерзкие мечты, казалось, начали сбываться. Удивительно ли, что Гамильтон стал отождествлять себя с государством, а всякое сопротивление себе и своему курсу — расценивать как покушение на государственные устои?

Но в действительности триумф этот не был чистой победой. Проталкивание его программы покупалось дорогой ценой — в стране подспудно зрела оппозиция. Цели курса Гамильтона — национальному единению — противоречили сами средства его политики, раскалывающие страну на два лагеря. Как ни тщился он доказать универсальность своего курса, его суть упрямо евидентствовала о том, что фермерская в своей основе республика управляется в интересах кучки крупной торгово-промышленной буржуазии. Конверсия государственного долга, налоги, учреждение Национального банка и разгул спекуляции, стремительное обогащение буржуазии северо-востока, соперничавшей в роскоши с европейской аристокра-

тией, — все это вызвало недовольство фермерских масс, от которых не могло укрыться авторство этой политики.

Пока глухой ропот прорывался разве только на страницы немногих демократически настроенных газет:

Казначей кричит: налог к налогу!
Еще импост и вот акциз опять,
Публичный долг — ведь благо для народа,
Его преступно уменьшать.
Что ни день, то с новым он докладом,
Чтобы знать и шпионы разезжали парадом.
Солдаты и фермеры напрасно встревожены —
Земля и воздух еще не обложены!

Но и этот ропот уже улавливали чуткие уши политиков, недовольных курсом генерального казначея. «На Юге накапливается большой заряд недовольства», — сообщал в феврале 1791 года Джефферсон Р. Ливингстону. Оппозиция Гамильтону и его окружению росла и среди политической элиты страны. Его мероприятия удар за ударом все глубже загоняли клин в союз торговой буржуазии и плантаторов, заключенный на конституционном съезде, и он уже начинал давать трещины. Конгресс быстро размежевался по региональному признаку — Север против Юга. Вот как проходило голосование по важнейшим финансовым вопросам в палате представителей.

	Север		Юг	
	за	против	за	против
Принятие долгов штатов . . .	24	9	10	18
Налог на спиртные напитки	28	6	7	15
Учреждение Национального банка	23	1	6	19

«Сейчас совершенно ясно, — писал Мэдисон Джефферсону в июле 1791 года, — в какой пропорции распределен в стране государственный долг, в чьих руках он находится и кто собирается править народом Соединенных Штатов». Старая земельная аристократия почувствовала себя обделенной, а то, что главным обидчиком был молодой и дерзкий выскочка, только усугубляло неприязнь. Даже друзья-единомышленники считали, что Гамильтон забирает слишком круто. С. Хиггинсон, например, тревожился, что его планы «чересчур жестки, стремительны и энергичны для начального периода нашего национального существования».

Постепенно улетучивались терпимость и оптимизм Джефферсона. Конверсия государственного долга, после которой, как он надеялся, «ничто уже не сможет возбудить локальные интересы», оказалась лишь прологом программы Гамильтона. За ним последовали налог на спиртные напитки и создание

банка — первая «настоящая причина оппозиции». Именно после его создания трубка калейдоскопа для Джефферсона повернулась и из разрозненных стеклышек сложился зловещий узор замысла гамильтоновцев. Джефферсон начинает прощупывать настроения на местах, искать союзников и тактику в надвигающейся борьбе. Всегда чувствительный к общественным настроениям, он начинает особенно внимательно прислушиваться к ним. «Что говорят в наших местах о нынешних налоговых мероприятиях?» — спрашивает он Мэйсона. «Так ли ваши граждане довольны действиями государства, как говорят их представители?» — выпытывает Джефферсон у ньюйоркца Р. Ливингстона. «Единственный способ устранить коррупцию из нашей нынешней формы правления, — пишет он тогда же Мэйсону, — это увеличить число мест в палате, чтобы усилить аграрное представительство, которое сможет поставить свои интересы выше интересов биржевиков».

Его отношения с Гамильтоном внешне продолжают оставаться корректными, только в деловой переписке после истории с банком подпись «с признательностью и уважением» сменилась сухо официальной формулой «ваш почтительный и покорный слуга». Для чувствительных к условностям людей XVIII века это означало очень многое. Однако Джефферсон продолжал оставаться за кулисами борьбы, главой оппозиции являлся Мэдисон. Но скоро неожиданный поворот событий выводит и его на линию огня.

Весной 1791 года все добропорядочные американские буржуа зачитывались гневными «Размышлениями о французской революции» Эдмунда Бёрка и памфлетом вице-президента Джона Адамса «Рассуждения Давиллы», также выдержанным в антидемократических традициях. Осевший во Франции Томас Пейн ответил Бёрку памфлетом «Права человека», в котором отстаивал идеи демократии и французскую революцию. В начале мая Мэдисон передал Джефферсону копию этого произведения; тот прочел его с большим удовлетворением, а затем возвратил владельцу — филадельфийскому издателю с сопроводительной запиской, в которой, в частности, говорилось: «Я был очень рад узнать, что книга эта будет напечатана у нас как публичное выступление против политических ересей, возникших в нашей среде. Не сомневаюсь, что наши граждане и на сей раз сплотятся под знаменем „Здравого смысла“».

Каково же было изумление Джефферсона, когда находчивый издатель использовал эти слова в качестве предисловия к книге Пейна, подписанного самим государственным секретарем США! «Я никогда не делал секрета из своих антимонархических и антиаристократических убеждений, — оправдывался он перед президентом, — но был смертельно

раздосадован тем, что оказался на общественной арене вопреки своему пристрастию к покою и отвращению к спорам». Но было уже поздно. Все усмотрели в этом злонамеренный выпад против Джона Адамса, и немедленно разгорелся скандал. Сын вице-президента Джон Квинси Адамс напал на Джефферсона под именем «Паббликола». Ему ответили демократические газеты, и снежная лавина памфлетной войны сдвинулась с места.

Впервые за последние годы Джефферсон оказался в роли публичного поборника демократии, это автоматически связало его имя с оппозицией гамильтоновской системе и обострило отношения с федералистами. «Полковник Гамильтон и Беквит (английский представитель в США. — В. П.) открыто нападают на меня, — рассказывал он Мэдисону об истории с предисловием, — считая, что подобные взгляды могут оскорбить лондонский двор. Гамильтон добавил, что они означают оппозицию правительству... У меня есть основания считать, что он был не выдержан в этих замечаниях». Легко представить, как далеко зашел в своих репримандах Гамильтон и как оскорбляли эти высокомерные нотации величественного государственя.

Осознание федералистами растущей опасности, исходящей от оппозиции вообще и Джефферсона в частности, отразилось и в том пристальном внимании, с каким они следили за так называемой «ботанической экспедицией» Джефферсона и Мэдисона в мае — июне 1791 года. Затеянная ими как невинная туристическая прогулка по рекам Норт и Коннектикут, экспедиция в глазах противников приобрела зловещий вид попытки двух главных заговорщиков организовать «пятую колонну» на северо-востоке страны. Когда эти двое посетили город, «наблюдались все признаки настоящего братания между Р. Ливингстоном, Бэрром, Джефферсоном и Мэдисоном», — доносил Гамильтону из Нью-Йорка верный Роберт Трауп. Письма путников содержали только описание красот природы, но вряд ли в предвидении острой политической борьбы два лидера оппозиции могли целый месяц держаться вдали от политики. Установление личных контактов с потенциальными сторонниками в оплоте федералистов оказалось весьма полезным делом. Так закладывалась основа союза Нью-Йорка и Вирджинии — опоры будущей республиканской партии.

В эти дни помимо редкостной гессенской мухи и бабочек они наверняка обсуждали и план создания своей национальной газеты в противовес влиятельному официозному органу федералистов — «Газете Соединенных Штатов», издаваемой преданным Гамильтону Джоном Фенно. Эта газета, как писал Джефферсон своему зятю накануне экспедиции, «исповедую-

шая чистый торизм, сеюшая доктрины монархии, аристократии и исключения влияния народа», давно раздражала обоих. Мэдисон с ведома Джефферсона вел переговоры с Филиппом Френно — известным демократом, «поэтом революции», убеждая его взяться за это дело. В августе 1791 года, когда нашлись подходящие издатели, Френно согласился стать редактором. Для оказания финансовой поддержки Джефферсон зачислил его в штат своего департамента на должность переводчика. Первый номер «Национальной газеты» вышел 31 октября. Борьба враждующих партий вступала в новую фазу.



Молодая Америка была отсталой полуколониальной страной, а ее проблемы — сродни проблемам современных развивающихся государств: слаборазвитая экономика с зачатками промышленного производства и преобладанием сельского хозяйства, нехватка квалифицированной рабочей силы и капитала, полная зависимость от импорта и как следствие — хронический дефицит торгового баланса. Промышленная отсталость страны в полной мере обнаружилась еще в ходе освободительной войны, выигранной в основном французским оружием. Завоевание независимости было лишь первым шагом к достижению экономической самостоятельности.

Усилившаяся конкуренция на мировом рынке ослабляла позиции американского экспорта табака, пшеницы, сахарного тростника и другого сырья. Все это создало объективные предпосылки для попыток развития собственного промышленного производства. Военные и первые послевоенные годы стали временем усиленных экспериментов с мануфактурами. К началу 90-х годов, по подсчетам Гамильтона, в стране уже было развито производство 17 видов промышленной продукции, в том числе железа, бумаги, текстиля, пороха.

Особенно быстро осваивалось текстильное производство. Охраняя свою промышленную монополию, Англия держала конструкцию первых прядильных машин в строгой тайне, но все же новые изобретения пересекали океан. Английский рабочий-текстильщик Самуэль Слейтер, эмигрировавший в Америку, по памяти воспроизвел там устройство первого прядильного станка — «прядки Дженни», а также водяной прядильной машины Эйркрайта. В 1790 году Слейтер открыл в Паутукете (Род-Айленд) первую в Америке текстильную фабрику.

На церемонии инаугурации Вашингтон демонстративно облачился в камзол из грубой шерсти, выработанной в Коннектикуте, и выразил надежду на то, что скоро в моде будет

только такое платье. Переходя от демонстраций к конкретным мерам, президент уже в первом ежегодном послании конгрессу высказался за «содействие мануфактурам», «ввоз новых и полезных изобретений» и «поощрение талантливых, искусных производителей». Внемя президенту, конгресс запросил у министра финансов план содействия мануфактурам, который бы «способствовал достижению Соединенными Штатами независимости от других государств в предметах необходимости, в первую очередь — в военных поставках». Гамильтон по обыкновению истолковал эту резолюцию предельно широко и ответил на нее в декабре 1791 года капитальным «докладом о мануфактурах». Это был заключительный из серии «великих докладов», составлявших экономическую программу Гамильтона. Первый и второй доклады заложили фундамент — создали и аккумулировали денежный капитал в руках крупной буржуазии. Теперь надлежало выстроить здание.

«Доклад о мануфактурах» готовился долго и тщательно. Самостоятельно и через своих агентов Гамильтон провел опрос сотен предпринимателей по всей стране. Те отвечали охотно и откровенно, делясь всеми успехами и горестями. Кожевника из Коннектикута возмущали низкие таможенные пошлины на седла иностранного производства; из Бостона писали, что введение поощрительных премий за выработку пеньки «значительно, сократит нашу зависимость в ней от России»; нью-йоркский торговец выражал надежду на то, что «страна будет избавлена от унижительной зависимости в простой одежде от Европы». Чаще всего жаловались на нехватку сырья, оборудования, капитала, квалифицированной рабочей силы, иностранную конкуренцию. Из тысяч таких писем возникала живая картина состояния американской промышленности, ее проблем и запросов.

Большую помощь казначею оказал его заместитель Тенч Кокс. Теоретически обобщив и заострив фактический материал, собранный Коксом в его трактате «Обзор мануфактур Соединенных Штатов», Гамильтон подчинил его одной сверхзадаче — доказательству необходимости индустриального развития страны. В XX веке не нужно доказывать ведущую роль промышленности в экономике, но в XVIII, да еще в условиях аграрной Америки, требовались изрядная прозорливость для понимания этого и еще больше — смелость для переубеждения целой страны.

Гамильтон подробно останавливается на преимуществах промышленного развития по сравнению с аграрным. Промышленный труд производительнее аграрного, так как больше поддается использованию машин и разделению труда. Кроме того, промышленное производство ведет к увеличению заня-

тости, привлекает рабочую силу из других стран, создает устойчивый и растущий спрос на продукцию земледелия. Особенно благотворным, по Гамильтону, будет воздействие промышленного развития на решение самой больной проблемы страны — преодоление зависимости от внешних рынков и импорта промышленных товаров. «Внешние рынки неустойчивы. Для создания же внутреннего рынка нет другого способа, кроме развития мануфактур. Промышленники как наиболее многочисленный после земледельцев класс населения явятся основными потребителями их избыточной продукции». Сложившиеся экономические различия между промышленным Севером и аграрным Югом еще больше цементируют внутренний рынок, усилив взаимозависимость этих районов: «взаимные нужды составляют одно из крепчайших звеньев политического союза». О том, что в такой экономической системе роль Юга сведется к положению аграрно-сырьевого придатка промышленно более развитых северных штатов, Гамильтон благоразумно умалчивал.

И здесь он круто расходится с Джефферсоном, принимавшим как неизбежность зависимость Америки от внешних рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Как ни парадоксально, гамилтоновское решение гораздо больше способствовало бы достижению джефферсоновских целей — созданию изолированной от внешнего мира, самообеспечивающейся республики.

На пути капиталистического промышленного развития США стояли, однако, серьезные препятствия, прежде всего — нехватка капитала и рабочей силы, значительная доля которых отвлекалась на освоение новых западных земель. Недостаток капитала, по мнению Гамильтона, будет преодолен политикой увеличения государственного долга, кредита и налогов. Важнейшая роль — здесь перед нами вновь предстает политик отсталой страны — должна принадлежать иностранному капиталу, который следует рассматривать не как конкурента, а как «наиболее ценное дополнение для приведения в действие нового производительного труда и полезного предпринимательства». Что же касается рабочей силы, то Гамильтон считал целесообразным максимальное расширение использования дешевого труда иммигрантов, женщин и детей, с удовлетворением констатируя, что промышленность в этом плане открывает необозримые возможности. «Следует особо заметить, — пишет он, — что женщины и дети в целом становятся более полезными, причем дети — с более раннего возраста, чем возможно при других условиях».

Это писал не злобствующий каннибал, а хладнокровный циник, для которого люди труда всегда были недочеловеками;

кроме того, он не претендовал на откровение — женский и детский труд к тому времени уже не был диковинкой и в Америке, он широко использовался и в мастерской по производству гвоздей в самом Монтичелло. Тот же цинизм проглядывает и в настояниях спешить с развитием мануфактур, пока «возбужденное состояние Европы» увеличивает приток иммигрантов в США. «Было бы преступно, — признает Гамильтон, — находить удовольствие в бедствиях других народов, но потрафить себе, предоставляя убежище страдающим от этих бедствий, — дело настолько же оправданное, насколько и выгодное».

При всей принципиальной разрешимости этих проблем зарождавшаяся национальная промышленность в условиях жесткой иностранной конкуренции, как понимал Гамильтон, не могла вырасти без поддержки государства. В отличие от Адама Смита, усматривавшего «невидимую руку», управляющую миром экономики, в спонтанных действиях частных производителей, Гамильтон считал, что на начальной стадии развития промышленности этой рукой должна быть твердая рука государства. Вчерашняя колония, Америка не могла позволить себе роскошь всецело положиться на стихийную частную инициативу. «В странах, обладающих огромным частным капиталом, — говорит Гамильтон в заключение своего доклада, — многое может быть достигнуто добровольным вкладом патриотически настроенных индивидов, но в положении, подобном нашему, государственная казна должна возместить нехватку частных ресурсов».

Поэтому ядром его доклада стала обширная программа государственного протекционизма. В соответствии с требованиями преприномавателей и общепринятой европейской практикой того времени он предлагает поставить высокий заслон протекционистских таможенных тарифов, чтобы защитить отечественную промышленность от иностранной конкуренции. Но одной внешней защиты мало там, где есть внутренние преграды — привычка к старым методам помещения капитала и хозяйствования, косность мышления и аграрные предрассудки. Массированный прорыв этой психологической блокады возможен только при помощи государства. Вновь Гамильтон демонстрирует прекрасное знание психологии предпринимателя и готовность сделать все для его успокоения: «Важно пробудить доверие (к мануфактурам. — *В. П.*) осторожных и бережливых капиталистов. А для этого нужно заставить их видеть в каждом новом и уже потому рискованном начинании гарантию поддержки государства, которая окажется достаточной для преодоления препятствий, неизбежно связанных с любыми первыми экспериментами».

Посему предлагается целая система мер по стимулированию развития промышленности: поощрительные премии за лучшую организацию мануфактур, технические нововведения и экспорт, освобождение сырья и материалов для новых производств от ввозных пошлин, запретительные тарифы на ряд иностранных товаров, содействие развитию внутреннего транспорта и т. п. В докладе подробно расписывается использование этих мер применительно ко всем основным видам промышленной продукции — от шелка до металла. При этом доверие казначея к «лучшим друзьям хорошего правления» не безгранично и не распространяется на самую чувствительную для национального могущества область — производство вооружения, которое следует передать в ведение государства. «Представляется неразумным поставить это важнейшее орудие национальной обороны в зависимость от прихоти спекулянтов и частного предпринимательства».

Объективно курс Гамильтона на промышленное развитие, безусловно, имел прогрессивное значение для укрепления независимого американского государства. Столь же бесспорно и то, что это был путь резкого усиления беспощадной эксплуатации трудящихся крупной промышленной буржуазией. Это доказала вся последующая история развития капиталистического промышленного производства в США, написанная кровью и потом миллионов пролетариев. Но вопросы цены — социальных последствий капиталистической индустриализации несколько не интересовали Гамильтона, занятого проектированием мощной промышленной империи.

«Доклад о мануфактурах» завершал экономическую программу Гамильтона, контуры его замысла стали теперь очевидны, по крайней мере для будущих исследователей. «Логически подразумеваемая экономическая реорганизация была огромной и имперской по размаху, — пишут видные современные американские экономисты Р. Тагвелл и Д. Дорфман. — Полностью фундированный государственный долг, выкачанный первоначально из класса мелких собственников и обеспечиваемый налогами на массы населения, должен был использоваться поднимающимся классом капиталистов для создания выгодных предприятий в промышленности, сельском хозяйстве и финансах». Но и эта «экономическая реорганизация» — укрепление финансовой системы, развитие промышленности, достижение экономической самостоятельности — была для Гамильтона не самоцелью, а лишь своего рода материальным обеспечением долгосрочной программы внешнеполитической экспансии США, начертанной им в «Федералисте». Создание мощного военно-экономического потенциала, опора на собственные силы служила неперемнным условием успешного

соперничества с другими государствами на мировой арене.

Именно этой цели как высшему проявлению государственной мощи в конечном счете должна быть подчинена вся экономическая, финансовая и военная политика в полном соответствии с канонами «силовой дипломатии», образно сформулированными ее проводником и идейным вдохновителем Гамильтона — Фридрихом Прусским: «Финансы, внешняя политика и армия не могут быть отделены друг от друга: они должны быть в одной упряжке, подобно лошадям в олимпийской колеснице, скачущим нога в ногу и несущим своего седока к победе». «Не только богатство, но сами независимость и безопасность страны непосредственно связаны с процветанием мануфактур, — заключал автор доклада. — Каждая страна, преследующая эти великие цели, должна стремиться обеспечить себя всем необходимым, то есть средствами к существованию... и оборонными ресурсами». Напомнив о печальных уроках прошедшей войны и последствиях предстоящих «войн или кризисов, которые всегда подстерегают государство», Гамильтон, по существу, призывал к милитаризации экономики, которую сегодня — в куда более широких масштабах — осуществляют нынешние правители Соединенных Штатов Америки.

Именно эта способность связать вопросы экономики, государственного, военного строительства и внешней политики в единую стратегическую программу, пожалуй, и выделяет Гамильтона из когорты «отцов-основателей», ставя его вровень с такими европейскими корифеями «большой стратегии», как У. Питт-младший, Ж. Кольбер и О. Бисмарк.

Предложенные мероприятия, связанные с «возмещением нехватки частных ресурсов государственной казной», нужно было еще увязать с конституцией. На сей раз он остановился на первом параграфе раздела восьмого конституции, гласящем: «Конгресс должен иметь право: налагать и собирать пошлины, налоги, подати, акцизы, уплачивать долги и принимать меры для общей обороны и общего благосостояния Соединенных Штатов...» Выражение «общее благосостояние» как нельзя лучше подходило для расширительного толкования, за него-то и ухватился Гамильтон. Этот термин, пишет он, «был, несомненно, задуман как означающий больше, чем выражено в предыдущих словах; иначе неизбежно возникающие неотложные проблемы страны остались бы безо всяких средств к разрешению. ...Не подлежит сомнению, что все вопросы, затрагивающие общие интересы образования, сельского хозяйства, мануфактур и торговли, находятся в сфере компетенции государственной власти в той мере, в какой речь идет о государственных ассигнованиях».

Подобное толкование открывало потенциально беспредельные возможности для увеличения государственных ассигнований в социально-экономической сфере, несовместимого с узкими пределами социальной активности государства, принятыми в XVIII веке. Противники сразу же воспользовались этим обстоятельством. «Если конгресс, — заявил в прениях по докладу Мэдисон, — может безгранично выделять средства для общего благосостояния, являясь единственным верховным толкователем этого термина, то... все, начиная с важнейших законодательных проблем штатов, кончая мельчайшими подробностями организации полицейской службы, будет подвластно конгрессу». «Если принять доклад, то конгресс, — жаловался сторонившийся открытых дебатов Джефферсон Вашингтону, — будет наделен огромной властью по выделению ассигнований на все, что ему покажется необходимым для общественного блага». Оба по-прежнему опирались на буквализм. «Если не только средства, но и задачи являются неограниченными, — подытоживал Мэдисон, — то лучше сразу же выбросить всю штуковину (конституцию. — *В. П.*) в огонь».

Что и говорить, Мэдисон довольно точно провидел будущие масштабы социальной деятельности буржуазного американского государства. Но кошмары обоих вирджинцев в отношении ее политических последствий не сбылись. Вмешались народные массы, которые в долгих годах борьбы вырывали у государства одну уступку за другой. В дальнейшем социальная деятельность американского государства отразила исторические завоевания трудящихся. В годы «нового курса» гамилтоновская трактовка «общего благосостояния» была возрождена сторонниками президента Ф. Рузвельта для обоснования конституционности государственных расходов на социальные нужды — еще одна историческая метаморфоза идейного наследия этого врага демократии. Но не споры о конституционности решили судьбу «доклада о мануфактурах». Конгресс воспринял его равнодушно, отреагировав незначительным повышением тарифов на некоторые товары и введением скромных государственных субсидий только для китобойного и рыболовного промыслов.

Странная судьба одного из главных творений Гамильтона! Непризнанное и забытое при его жизни, впоследствии оно принесло ему посмертную славу первого пророка индустриальной Америки, ибо страна в конечном счете пошла по этому пути. Но это — в конечном счете, а Соединенные Штаты 1792 года еще не созрели для быстрой индустриализации, и Гамильтон получил возможность убедиться в этом на собственном эксперименте с Обществом содействия полезным мануфактурам.

Это общество было задумано им как внушительная демон-

страция преимуществ капиталовложений в промышленность, как вдохновляющий пример наглядного воплощения в жизнь идей доклада. Масштабы соответствовали важности задач: капитал корпорации достигал миллиона долларов, что превышало общий фонд всех акционерных мануфактур США того времени. Общество планировалось как целый промышленный комплекс с основным упором на хлопчатобумажное производство, а его местоположением должно было стать малонаселенное местечко в штате Нью-Джерси, изобилующее лесом, водой и другими природными ресурсами. Будущий американский Манчестер нарекли городом Патерсоном в честь хлопотливого губернатора штата, добившегося для корпорации больших льгот. Акции на 600 тысяч быстро разошлись среди американских и иностранных держателей, и дело двинулось. Всеми правдами и неправдами доставались английское оборудование и специалисты — все должно было быть устроено по последнему слову техники.

Однако директора общества во главе с неугомонным аферистом Дуэром, набив карманы деньгами акционеров, скоро предпочли сложному и незнакомому делу более привычный и быстрый способ наживы — спекуляцию и жульничество. Помимо обыкновенной спекуляции ценными бумагами в стране процветало создание всевозможных акционерных обществ: банков, компаний по строительству каналов, дорог и т. п. Они росли, как грибы-дождевики, и так же легко лопались. Но до того момента оборотистые дельцы успевали одурочить немало простаков.

Самые дерзкие операции проводил Дуэр. Вместе с богатым нью-йоркским торговцем и земельным спекулянтом А. Макомбом он в конце 1791 года замыслил ни много ни мало, как скупить все государственные ценные бумаги, чтобы затем установить контроль над их рыночной стоимостью. К этой затее подключились сотни авантюристов, уверовавших в финансовый гений Дуэра. Конкурирующая группировка Ливингстонов и Крэйги в ответ скупила основную массу ценных металлов в Нью-Йорке, заставив банки востребовать свои ссуды у клиентов. Дуэр и Макомб, по уши в долгах банкам, были вынуждены продать государственные бумаги по дешевке, чтобы рассчитаться с ними. В итоге курс бумаг резко упал, и весной следующего года на бирже разразилась паника. Гамильтон предпринимал отчаянные усилия для спасения курса бумаг, Дуэра и собственной репутации непогрешимого финансиста. «Крах, связанный с моими операциями, — писал он Р. Кингу, — самый страшный из моих врагов». Через специальный фонд он скупил на несколько сот тысяч государственных бумаг для поддержания их курса, добился у банкиров

отсрочки платежей, старался укрепить доверие к бумагам, распуская слухи о предвидевшихся крупных голландских займах. Панику удалось несколько смягчить, но Дуэра уже не могло спасти ничто. Толстые стены долговой тюрьмы надежно укрыли «короля спекулянтов» и президента Общества содействия от ярости разорившихся держателей. Там и завершилась его бурная жизнь.

Биржевой крах тяжело ударил по самому обществу. Кроме Дуэра обанкротились и многие другие ведущие акционеры, значительная часть капитала компании бесследно исчезла в биржевых спекуляциях. На это наложились трудности производства: нехватка квалифицированной рабочей силы и специалистов, технические трудности освоения машинного процесса, непредвиденно высокая стоимость строительства и оборудования. Гамильтон взял строительство под собственное наблюдение, но все напрасно — Общество содействия хирело на глазах. К 1795 году уцелевшие директора закрыли предприятие ввиду больших убытков, славный город Патерсон — прообраз будущего порос травой, и только величественные развалины фабричных сооружений еще долгие годы высились мрачным монументом рискованному оптимизму генерального казначея.

Крах этого и многих других проектов помельче наглядно показал пределы возможностей индустриального развития Америки тех лет. Ни материальная база, ни людские ресурсы не были готовы к промышленному перевороту. Да и слой капиталистов-предпринимателей был еще слишком тонок. Крупные дельцы типа Дуэра — опора государства, по Гамильтону, на поверку оказались малоподходящими для отведенной им роли «капитанов индустрии». Даже первый богат страны многоопытный Роберт Моррис в конце века стал банкротом и закончил свою жизнь в нищете. Торговля и спекуляция землей оставались главной сферой приложения предпринимательской энергии и капиталов.

Существовали и более непосредственные причины провала экспериментов с мануфактурами. Начало в 1792 году большой войны в Европе перевернуло всю конъюнктуру на мировом рынке. Она сразу же увеличила спрос на американское сырье и продовольствие. Возникший торговый бум подтолкнул развитие сельскохозяйственного производства, рыболовства, судостроения и надолго отвлек внимание от мануфактур.

В то же самое время, когда Гамильтон боролся с аграрным засильем, техническая мысль подготавливала грядущий расцвет плантационного хозяйства на Юге страны. В 1793 году Эли Уитни из Нью-Хэвена изобрел первую хлопкоочистительную машину, применение которой резко повышало производитель-

ность рабовладельческого хозяйства и сделало хлопководство ведущей отраслью в этом районе. Лишь гражданская война 1861—1865 годов и ликвидация рабства окончательно расчистили путь для быстрого промышленного развития США.



Финансовый кризис весной 1792 года поколебал экономическое процветание страны и усилил голоса недовольства. Биржевая паника, связанная с операциями казначейства, представлялась убедительным подтверждением порочности новой финансовой системы, и ее критики не замедлили этим воспользоваться. «Национальная газета» перешла в открытое наступление на финансовую политику Гамильтона. «Брут», под именем которого, видимо, скрывался Мэдисон, нарисовал неприглядную картину деятельности генерального казначея: искусственное обогащение кучки кредиторов, закрепленное монополией Национального банка. Отсюда — «необходимость неограниченных налогов и пошлин, истощающих ресурсы страны во имя будущих выплат». В результате «трудолюбивые ремесленники, фермеры и беднейшие классы в целом приносятся в жертву будущим поколениям кредиторов». Это было доходчиво и убедительно.

В апрельской редакционной статье «Кто истинные друзья страны?» атаки Мэдисона становятся еще более яростными. Друзья страны не те, кто раздувал государственный долг и поощрял дух спекуляции; не те, кто путем «произвольной интерпретации и злокозненных прецедентов стремится придать конституционному государству неограниченные полномочия, придерживаясь монархических и аристократических принципов. Это — друзья свободы и народной власти, сторонники республиканской политики и противодействия духу узурпации и монархии». То звучали первые залпы «газетной войны», всю разгоревшейся к лету 1792 года.

Они ободрили Джефферсона, доселе отводившего душу только в письмах друзьям. Он решился на серьезное объяснение с Вашингтоном и, пока в письменном виде, подробно изложил ему «причины общественного недовольства», каковых набралось более 20. Фактически он высказал президенту все претензии оппозиции, сохранив при этом позу стороннего сочувствующего. Джефферсон не стал вдаваться в подробности финансовой политики Гамильтона, а остановился на ее социально-политических последствиях.

Мало того, пишет он, что зараза биржевой игры «воспитывает в наших гражданах наклонности к пороку и безделью

вместо трудолюбия и моральных устоев». Искусственно раздутый государственный долг к тому же стал «эффективным средством коррумпирования значительной части конгресса... Этот продажный эскадрон, решая исход голосования, выявил стремление избавиться от ограничений, налагаемых на конгресс конституцией». Его конечная цель — проложить дорогу замене нынешней политической системы на монархическую, по образу английской конституционной монархии. «Республиканская партия, — Джефферсон впервые употребляет здесь этот термин, именуя так противников федералистов — которая хочет сохранить существующую форму государства, находится в меньшинстве». Разумеется, столь опасная тенденция должна быть пресечена. Главная надежда — увеличение аграрного представительства в конгрессе и продолжение спасительной вахты президента Вашингтона.

В те же дни, словно отвечая Джефферсону, Гамильтон дает свою оценку ситуации в письме вирджинскому стороннику Э. Каррингтону. Он пишет, что ко времени последней сессии конгресса полностью убедился в том, что «мистер Мэдисон в сотрудничестве с мистером Джефферсоном стоят во главе фракции, настроенной явно враждебно по отношению ко мне и моему курсу, движимые, по моему мнению, взглядами, подрывающими принципы хорошего правления, опасными для союза, мира и счастья страны».

Особенно достается Джефферсону, которого, судя по всему, Гамильтон уже считает врагом номер один. Принципиальные расхождения с ним подогрелись острой личной неприязнью. Для агрессивного, прямолинейного, не знающего сомнений и задних мыслей Гамильтона госсекретарь с его выдержкой, изысканной вежливостью и интеллигентским отвращением к драке был человеком, с которым не так-то просто сойтись в поединке с открытым забралом. А желание было большое. Благо можно излить злобу на бумаге. Мэдисону Гамильтон отводит роль человека, попавшего под влияние Джефферсона и не устоявшего перед соблазном увеличить свою популярность в родном штате. Фигура же государственного секретаря приобретает прямо-таки демонические очертания. Он — олицетворение зла и главная причина возникновение оппозиционной фракции.

«Он с самого начала не принял конституции, покинув страну до того, как мы испытали все безумие ее предшественницы. Во Франции он наблюдал государство лишь в его крайних проявлениях и крепко хлебнул от французской революции в религии, науке и политике. Он уехал оттуда в момент брожения, которому сам способствовал в силу обстановки и темперамента». К этому Гамильтон добавляет неудовлетворенное

тщеславие, зависть к своим собственным успехам, жажду высшей власти, щедро наделяя Джефферсона, по своему подобию, «бездонной амбицией» и «бурными страстями». Он даже намекает на цезаристские устремления вирджинца — тема, которая развивается в написанной тогда же, но не опубликованной статье «Оправдание»: «Любая республика во все времена имеет своих цезарей и катилин... Они постоянно изображают средства поддержания общественного порядка как цепи, уготованные для народа; рассуждают о республиканских интересах, имея в виду свой собственный, с «добродетелью» и «свободой» на устах и узурпацией и тиранией в сердце».

Эти письма двух антагонистов, словно два кривых зеркала, отражающих друг друга. С одной стороны — явно преувеличенные страхи монархического переворота, с другой — еще более фантастические обвинения в цезаризме, подрыве государства и т. п. В головах противников конфликт двух группировок приобретал явно гипертрофированную форму по сравнению с диапазоном расхождения их действительных интересов.

Для федералистов менять существующий строй, учитывая силу республиканских настроений, было не только невозможно, но и не нужно. Гораздо важнее практическое содержание государственной политики, а для ее проведения в интересах северо-восточной буржуазии конституция предоставляла достаточные возможности. Государство и так принадлежало им. «Разве не ясно, — писала федералистская «Газета Соединенных Штатов» в июне 1792 года, высмеивая обвинения в монархическом заговоре, — что вся собственность, созданная банком и системой государственного долга, зависит от сохранения конституции в ее нынешнем виде? Для шести-процентовика (прозвище держателей государственных бумаг. — В. П.) было бы чудовишной ошибкой присоединяться к заговору против свободного правления — источника своего дохода».

С другой стороны, Джефферсон, Мэдисон и их сторонники, конечно, и не помышляли о «необузданной» демократии и тем более — о лаврах Цезаря и Катилины. Если кому из трех и мерещилась тога диктатора, так это самому Гамильтону.

Преувеличенные опасения обеих сторон станут более понятными, если учесть, как остро они ощущали всю неизведанность только что начавшегося беспрецедентного республиканского эксперимента. Общая неуверенность в прочности республиканского строя заставляла сторонников Джефферсона опасаться сползания к монархии, а федералистов — вырождения государства в «деспотию масс». Не покидающее американских лидеров сознание важности выбора пути для

страны делало их болезненно чуткими к любым тенденциям, противоречащим их видению будущего страны, их идеалу общественного устройства.

У Джефферсона и республиканцев, возвращенных на литературу и традициях английской парламентской оппозиции, деятельность Гамильтона вызвала прямые ассоциации с политикой премьер-министра Роберта Уолпула. Обеспечение громадного государственного долга, монополия Банка Англии, господство кабинета над парламентом, разгул спекуляции и политической коррупции, рост налогов и регулярной армии — все это служило для них стереотипом деградации государственного устройства. Сам Гамильтон, непомерное честолюбие которого было уже широко известно, естественно, предстал в роли создателя и покровителя «продажного эскадрона», ведущего дело к внедрению этого стереотипа в американскую действительность.

Что касается Гамильтона и федералистов, то они, будучи правящей партией, считали себя создателями и попечителями государства, обладающими монополией на толкование национальных интересов. Когда Гамильтон относил всю оппозицию исключительно на счет злых козней двух вирджинцев, он грешил против истины, но не против кредо федералистов. Для них самой опасной закономерностью истории, по словам их видного идеолога Ф. Эймса, была «борьба между состоятельными членами общества и недовольными подстрекателями, стоящими во главе бедноты». Народ всегда враждебен правящей верхушке, «подстрекателям» нужно лишь поднести фитиль, чтобы грянул взрыв недовольства. «Зависть к богатству, — продолжал Эймс, — ...есть тот рычаг, с помощью которого темный люд можно толкнуть на любые злодеяния».

У федералистов имелись свои основания для того, чтобы считать лидеров республиканцев-южан классическими демагогами. Они не могли поверить в искренность демократических убеждений плантаторов-рабовладельцев. «Эти апостолы свободы, с одной стороны, ратуют за ее идеалы, а с другой — куют цепи рабства», — возмущался другой известный федералист Д. Байярд.

Такой подход, явно преувеличивавший возможности «демагогов» и подстрекателей, совершенно не учитывал роли трудящихся масс в сопротивлении политике федералистов — за эту ошибку Гамильтон потом заплатит сполна.

Однако если обе стороны были по-своему искренни во взаимных гиперболизированных подозрениях, то мифология республиканцев давала им неизмеримые пропагандистские преимущества. Монархия, аристократия ассоциировались в сознании народа с недоброй памяти английским влады-

чеством, и кличка «монархист» или «монократ» была позорным клеймом в молодой республике. Размахивая пугалом монархизма, республиканцы постепенно дискредитировали федералистов в глазах широких масс. Но ближайший эффект республиканской пропаганды заключался в другом — она вывела из себя Гамильтона.

Последней каплей послужила июльская серия статей в «Национальной газете». В одной из них Френно поместил издевательское «руководство для желающих превратить ограниченное республиканское правление в неограниченное наследственное» — первым пунктом в нем стояло увеличение государственного долга и учреждение банка. В другой говорилось о правительстве, «разъеденном спекуляцией», подчеркивалась незапятнанность Вашингтона и содержался недвусмысленный призыв «отсечь гнилые сучья». На фоне подобных выражений еще контрастнее выделялось восхваление Джефферсона, этого «славного патриота», «колосса свободы», «философа и государственного мужа».

Напрасно Джей и другие друзья уговаривали Гамильтона отнестись к «демагогии» противников философски и приберечь эмоции для мемуаров. Уверенность в собственной непогрешимости и бескорыстии в сочетании с болезненным отношением к своей репутации делали его чрезвычайно чувствительным ко всякой, а тем более публичной критике. Он горько сетовал на то, что его «травят по любому поводу за непростительный грех — быть твердым и неизменным другом широких национальных принципов государственного правления». «Признаюсь, что не могу терпеливо выносить обвинения, бросающие тень на цельность моих побуждений или поведения, — жаловался он Вашингтону, — ибо знаю, что не заслуживаю их ни в малейшей степени. Возмущение подчас вырывается у меня, несмотря на все старания унять его». Он никогда не умел «унимать» своих чувств, особенно если этим чувством было возмущение.

25 июля в «Газете Соединенных Штатов» появилось письмо следующего содержания, подписанное «Т. Л.»: «Издатель «Национальной газеты» получает жалование от государства. Вопрос — за что ему платят? За переводы или за публикации, цель которых — принижать тех, кому народ поверил управление нашими общественными делами, противодействовать мерам государства и ложными инсинуациями нарушать общественное спокойствие? В частной жизни считается неблагодарностью кусать руку кормильца, но если человек нанят специально для этой цели — тогда, конечно, все как раз наоборот».

За этим последовала серия писем и статей под разными

псевдонимами — «Американец», «Катулл», «Амикус», в которых генеральный казначей ставил перед собой две задачи: доказать незаконное использование Френно Джефферсоном, а также изобразить как антиконституционные взгляды и деятельность самого Джефферсона — «главы партии», из рук которого Френно — «его верный слуга — получает свой куш». Задача заведомо невыполнимая, если учесть, что прямых улик их «незаконной связи» у автора не было, а взгляды Джефферсона при всем желании не поддавались подобной интерпретации.

Масло в огонь подлило письмо Вашингтона от 29 июля из Маунт-Вернона. В нем президент воспроизвел основные аргументы оппозиции и предложил Гамильтону ответить на них. Он не назвал источника, но по стилю и направленности обвинений тот сразу угадал авторство государственного секретаря. «Американец» теперь стал открыто требовать отставки Джефферсона: «Как можно совместить личное достоинство и преданность этому правительству с использованием средств должностного влияния для противодействия ему?»

Гамильтон лез из кожи, чтобы «сорвать маску скромного, не от мира сего философа, простого, бескорыстного американца» с «интригана-подстрекателя, тщеславного, ожесточенного соперника», каким он выставлял Джефферсона. Но доказательства, даже надуманных, не хватало, часть их была парирована вступившими в перепалку Мэдисоном, Рэндольфом, Монро, и Гамильтон увяз в трясине бесконечных сомнительных доводов и контробвинений, в которых все чаще проскальзывали обыкновенная ругань и личные оскорбления. К его бешенству, Джефферсон благоразумно устранился от личного участия в грязной шумихе, предоставляя истории и друзьям восстанавливать истину.

Вашингтон сокрушенно наблюдал, как в «газетной войне» двух министров рушатся его надежды на гармонию и единство кабинета. Мириться с этим он не собирался. Считая обоих незаменимыми, он не стал разбираться в доводах сторон, но попытался если не примирить, то хотя бы утихомирить их. В почти идентичных письмах тому и другому он выразил искренние сожаления, что «два способных человека, ревностных патриота с общими безупречными намерениями не проявляют большей терпимости в отношении мнений друг друга». Он указал на необходимость покончить с внутренними разногласиями перед лицом реальных внешних трудностей страны. Вашингтон не представлял всей непримиримости взглядов и темпераментов своих младших коллег.

Каждый из них оправдывался перед президентом, как

мог, взваливая всю вину на другого, и оба заклинали Вашингтона не покидать своего поста. Джефферсон сообщал о твердом намерении уйти в отставку к концу первого президентского срока, но не раньше, ибо он «не позволит, чтоб его отставка была связана с инсинуациями человека, чей путь с момента, когда история заметила его, усеян махинациями против свободы страны, которая не только приютила и накормила его, но и воздала ему почести». Это был один из тех редких моментов, когда Джефферсон мог действительно показаться человеком бурных страстей. Гамильтон в свою очередь заявил, что «считает себя глубоко уязвленной стороной» и не может в данной ситуации отойти от полемики. Он вел ее вплоть до декабря с результатом, обратным ожидавшемуся. Своими попытками, не достигшими цели очернить Френно и Джефферсона, он еще больше сплотил республиканцев и укрепил репутацию последнего как лидера оппозиции. Атака Гамильтона захлебнулась. Теперь наступила очередь его врагов.

Следующий раунд был разыгран уже во время осенних выборов президента, вице-президента и части членов конгресса. Поскольку переизбрание Вашингтона было предрешено его собственным согласием, борьба развернулась вокруг выборов вице-президента и конгрессменов. В первом случае федералисты отдавали предпочтение Джону Адамсу перед другими кандидатами — губернатором Нью-Йорка Клинтон и сенатором от того же штата Аароном Бэрром. Если давний противник Клинтон вызывал озабоченность Гамильтона, то возможность избрания Бэрра положительно терзала его. Бэрр был очень похож на Гамильтона: такой же молодой и бесстрашный, с блестящими способностями, честолюбивый, предприимчивый, баловень женщин, в войну — отличившийся офицер, потом — один из первых в Нью-Йорке юристов. Даже роста они были одинакового. Но Бэрр являл собой Гамильтона в гротеске — в нем всего было через край. Лишенный целеустремленности последнего, он расходовал свою необычайную энергию и способности на немыслимые авантюры, интриги, любовные приключения и денежные махинации. Гамильтон поддерживал с ним внешне приятельские отношения, которые в действительности были смесью вражды, ревности и симпатии, основанной на сходстве натур. Возможно, они могли бы быть друзьями, если бы двум великим честолюбцам не было тесно в Нью-Йорке.

Бэрра хватало и на политику, в которой его отличала редкая беспринципность. Относясь по происхождению и имущественному положению к федералистской аристократии, он не хотел быть вторым после Гамильтона среди нью-йорк-

ских федералистов и потому примкнул к республиканской фракции Клинтона, получив за это в 1789 году пост генерального атторнея штата и репутацию отступника среди сторонников Гамильтона. Но впервые пути двух соперников скрестились весной 1791 года, когда развалился союз семейных кланов Ливингстонов и Скайлеров — опора федералистов в Нью-Йорке.

В немалой степени это произошло из-за родственного рвення самого Гамильтона, нарушившего традиционное распределение политического влияния между двумя семьями, каждая из которых имела по представителю в сенате Соединенных Штатов. Добившись избрания верного ему Руфуса Кинга, Гамильтон захотел сохранить сенатором и своего тестя Филиппа Скайлера. Ливингстоны рассвирепели и, объединившись с Клинтонем, прокатили старика Скайлера на выборах. Его место занял все тот же Аарон Бэрр. С тех пор он становится злым гением Гамильтона, олицетворением наиболее ненавистного для него типа продажного демагога-политикана, аристократа, ряженого под демократа. Так было положено начало кровной вражде, замешанной на родственных, политических и психологических мотивах и приведшей через 13 лет к трагической развязке.

Этот-то человек, «Цезарь в эмбрионе», писал Гамильтон Вашингтону, «решительный, предприимчивый.., беспринципный в личной и общественной жизни», был теперь готов «стать во главе народной партии и пролезть по головам к величайшим почестям государства». «Я вижу свой религиозный долг в том, — заключал очень редко вспоминавший о религии казначей, — чтобы помешать его карьере». Гамильтон мобилизует своих сторонников в штатах в поддержку Адамса — «человека опасных взглядов, но все же честного защитника порядка и устойчивого правления», дает ему указания. Хотя Бэрр и Клинтон остались позади Адамса, результаты голосования говорили об ослаблении господства федералистов: Нью-Йорк, Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия проголосовали за Клинтона, а Кентукки — даже за Джефферсона.

Еще более показательными были итоги выборов в конгресс. Почти везде, а особенно на Юге и Западе, федералисты встретили серьезное сопротивление. Выборы вылились в серию стихийных локальных схваток, практически еще не подпадающих организационно контролю республиканцев в масштабе всей страны, разве что в идейном отношении. С подобием партийной платформы в «Национальной газете» выступил Мэдисон. Он писал о двух партиях, на которые раскололась страна: аристократической, «стремящейся заложить основы

монархии», и республиканской — «партии подлинных сторонников независимости, равноправия и свободно избираемого правительства». Первая целиком полагается на «правление титулов, денежного интереса и военной силы», вторая верит, что «люди способны сами управлять собой.., и не приемлет таких мер, которые не поддаются всеобщему пониманию и не служат общим интересам общества». Что до перспективы борьбы, то «численное превосходство республиканцев так велико, настроения так решительны, а практическая сила совместных действий... так хорошо осознается, что ни один разумный наблюдатель не удивится, если нынешнее положение изменится и государство будет управляться в духе и форме, одобряемых большинством народа».

И это писал Мэдисон, который пять лет назад больше всего на свете опасался господства «партии большинства» и измышлял хитроумные способы ее сдерживания в «Федералисте»! Новое положение партийного лидера обязывало его видоизменять устаревшие антидемократические взгляды и приспособливаться к новым веяниям.

При всем этом в диагнозе Мэдисона было много верного, отражавшего действительный рост недовольства демократического большинства страны. Хотя никто еще не носил ярлыков партийной принадлежности и точно подсчитать потери и приобретения партий было невозможно, все понимали, что подавляющее преобладание федералистов в конгрессе было подорвано. Лидеры республиканцев с надеждой смотрели в будущее. «Выборы в конгресс, — радостно сообщал Джефферсон Томасу Пинкни в Англию, — принесли уверенное большинство республиканскому интересу... Я думаю, можно считать, что нынешняя тенденция правления достигла апогея и что с началом следующей сессии конгресса она уступит место подлинным принципам конституции». Тогда же республиканцы неожиданно заполучили новое секретное оружие против Гамильтона — так называемое «дело Рейнольд».

12 декабря 1792 г. член палаты представителей от Пенсильвании республиканец Р. Мулленберг получил от своего бывшего клерка Клингмана и его напарника — некоего Рейнольда, сидевших в тюрьме за подлог, записку удивительного содержания. Они писали, что обладают сведениями, которые могут «привести генерального казначея на виселицу за участие в спекуляциях и передачу денег Рейнольду». Почуввав запах жареного, Мулленберг тотчас поделился приятной вестью с коллегами — сенатором Дж. Монро и конгрессменом А. Венаблем. В тот же день они встретились с Рейнольдом и его женой, получили от них письма Гамильтона с упоминанием каких-то денежных сумм и уверились, что наконец-то поймали

всемогущего министра на его тайном «хобби» — спекуляции государственными бумагами.

Ранним утром 15 декабря все трое с мрачно-мстительным видом явились к Гамильтону, предъявив полученные документы, и потребовали объяснений, предвкушая удовольствие вивисекторов при виде конвульсий жертвы. Чуть побледневший Гамильтон предложил отложить разговор до вечера, и тогда достопочтенные законодатели услышали совсем не то, что ожидали. Пятеро государственных мужей (пятым был свидетель — хозяин дома Оливер Уолкот), при мерцающем свете свечей с выражением предельной серьезности на лицах восседавшие в элегантном кабинете казначея, являли собой картину торжественную и в высшей степени благопристойную. Но история, поведенная Гамильтоном, была прямо противоположного свойства.

Как-то летом 1791 года, как раз когда Гамильтон был в зените славы и готовил «доклад о мануфактурах», к нему явилась некая Мария Рейнольд, вся в слезах и с просьбой о помощи: муж бросил ее на произвол судьбы и растерзание кредиторов. Всегда чуткий к хорошеньким женщинам, генеральный казначей снабдил ее деньгами, а затем, по его словам, «последовал разговор, из которого явствовало, что и другие утешения, помимо денежных, будут приняты». Отнесся подозрительно быструю податливость незнакомки исключительно за счет собственного обаяния, Гамильтон безоглядно бросился в сомнительную связь.

Скоро появился беглый муж, сердце которого было разбито — он все знал. «Вы воспользовались бедственным положением несчастной, надломленной женщины... Вы сыграли роль самого жестокого человека на земле!» Быстро справившись со своим горем, он заговорил с Гамильтоном как мужчина с мужчиной. Тысяча долларов — и он навсегда оставит счастливого соперника с прекрасной Марией. Получив отступное, он не прекратил своих набегов, ибо его денежные махинации требовали все больше средств. Когда же Гамильтон, озлобленный шантажом, решил-таки прекратить эту связь, миссис Рейнольд с профессиональным артистизмом принялась изображать поруганное чувство и отчаяние любви — вплоть до угрозы самоубийства.

Таким образом дружная чета мастеров шантажа еще некоторое время продолжала выколачивать из казначея все, что можно, пока он не нашел в себе сил выйти из игры. «Редко, — пишет его биограф Дж. Миллер, — американский государственный деятель рисковал столь многим из-за столь ничтожного». Малограмотной мошеннице удалось то, чего не удавалось

премудрой оппозиции, — провести блестящего и всесильного министра!

Скоро Рейнольд угодил за решетку, так как один из ветеранов, пенсию которого он получал, оказался живым. Оттуда он попытался вновь припугнуть Гамильтона, но тот наотрез отказался вытащить его из тюрьмы. Оскорбленный в лучших чувствах Рейнольд решил отомстить — последовал сигнал Мулленбергу.

Все это Гамильтон подтвердил пораженным конгрессменам соответствующими письмами и расписками. Сомнений не оставалось — генеральный казначей стал жертвой собственной слабости и низкой интриги. Потрясенные силой женского коварства, гости отклонялись, дав слово не разглашать постыдной тайны Гамильтона. Они были сначала джентльменами, а потом — противниками. Только Джеймс Монро, как выяснилось позднее, оказался больше вторым, чем первым.



Ободренные успехом на выборах республиканцы рвались в контратаку. Повод для нее скоро появился. В ноябре Гамильтон представил на утверждение конгресса новый иностранный заем в 2 миллиона долларов для разовой выплаты правительственного долга Национальному банку вместо серии ежегодных взносов. Зачем же так сразу обогащать «продажный эскадрон» банковских акционеров? — всколыхнулась оппозиция. Мера оказалась явно не популярной, а соблазн сорвать завесу, покрывающую предполагаемые махинации, слишком велик. Кроме того, обнаружилось, что в казначействе почему-то осталась неизрасходованной крупная сумма, предназначенная для погашения долга Франции. Для любителей сенсаций это было уже кое-что.

23 января 1793 г. 30-летний Уильям Джайлз, конгрессмен от Вирджинии и горячий полемист, выдвинул на рассмотрение палаты представителей пять резолюций. Он требовал отчета казначейства обо всех основных финансовых операциях государства, в первую очередь — по иностранным долгам, расчетам с банком и неиспользованным средствам. Гамильтон управлял государственными финансами, не трудясь информировать конгресс о своих действиях, и многие неискушенные в финансовых вопросах конгрессмены подозревали, что их водят за нос. Резолюции попали в газеты, и дело получило громкую огласку. Джайлз и стоявшая за ним республиканская фракция считали, что бьют наверняка. Если даже злоупотреблений и не обнаружится, то Гамильтону не справиться с такой геркулесовой работой до окончания сессии

конгресса в конце февраля, а значит — ходить ему всю весну и лето заклеянным тяжелым обвинением.

Но они ввязались в бой на чужой территории. Гамильтон был не только на голову выше своих противников как финансист, но и выказал в данном случае работоспособность, поразительную даже по его меркам. Проглотив негодование, забыв о сне, он за три с небольшим недели один за другим обрушил на конгресс семь огромных отчетов — море цифр, схем, сложных доводов, перемещанных с наставлениями и изложенных с профессиональной софистикой.

Республиканцы опешили при виде этого потока и растерянно жаловались на «командно-снихождительный стиль» отчетов, зато сторонников Гамильтона распирали гордость за своего кумира. «Не могут припомнить ничего подобного в партийных битвах Великобритании», — писал один; «Даже хваленые отчеты Неккера* о французских финансах слабее этих», — сообщал другой. В самом деле, и те немногие, которые одолели бесчисленные колонки, не смогли обнаружить в действиях казначея ничего криминального; казна до последнего цента была в наличии.

Гамильтон принимал поздравления, лидеры оппозиции закладывали следующую бомбу. 27 февраля, за несколько дней до окончания сессии, Джайлз предложил новый набор резолюций. В них казначей обвинялся в нарушении закона об ассигнованиях, смещении фондов, утаивании операций и неуважении к конгрессу. Расчет опять-таки делался на то, что Гамильтон не успеет отвести новые обвинения. Много позднее в бумагах Джефферсона этого периода обнаружили черновик резолюций, совпадающий с предложенными Джайлзом. Отличие, и весьма существенное, заключалось в трех дополнительных резолюциях, отсутствующих у Джайлза. В них предлагалось учредить пост казначея, независимого от Гамильтона, выдвигалось тяжелое обвинение против него в использовании фондов для обогащения спекулянтов (в виде помощи Национальному банку) и, наконец, предлагалось признать генерального казначея виновным в неисправном выполнении служебных обязанностей и потребовать его отставки.

В те же февральские дни в дневнике Джефферсона появилась следующая программа:

- разделить казначейство;
- ликвидировать Национальный банк;

* Министр финансов Франции в 1777—1781, 1788—1790 гг. Пытался спасти государство от финансового краха с помощью ряда реформ.

- отменить налог на спиртные напитки и предоставить право налогообложения штатам;
- понизить таможенные пошлины;
- изгнать акционеров.

Таков был план действий на случай отставки Гамильтона. По всей вероятности, коллеги, по зрелом размышлении, сочли эти резолюции Джефферсона чрезмерными, нереалистичными и отказались от них, но сама позиция госсекретаря говорит о многом. Его желание во что бы то ни стало покончить с Гамильтоном было так велико, что он не только преступил свои правила невмешательства в законодательный процесс, но и в редкий для себя момент ослепленности не сумел увидеть всей неосуществимости желаемого.

В своей вотчине Гамильтон был неуязвим. Одна за другой резолюции Джайлза — Джефферсона были отклонены значительным большинством, и 2 марта конгресс был распущен на каникулы.

Контратака республиканцев, так же как и яростная газетная кампания Гамильтона, захлебнулась потому, что метила слишком высоко. Бесплодность обоюдных нападков на время остудила страсти, завела партийную борьбу в тупик. Да и само размежевание конгресса было еще относительным. Экономическая политика Гамильтона разбередила страну и породила соперничающие партии, но до подлинного раскола было еще далеко. Настоящие баталии ждали впереди.



Вашингтон не зря призывал министров к единству перед лицом внешних опасностей. Домашние распри были роскошью, которую с трудом могла себе позволить американская республика. Ее положение на мировой арене оставалось очень шатким и уязвимым. Тщедушный новичок в мире гигантов — Великобритании, Франции и Испании, самим своим рождением во многом обязанный их взаимной вражде, Соединенные Штаты и после достижения независимости были обречены на опасное и сложное лавирование между ними.

Со всех сторон страну опоясывали владения недружественных колониальных империй: с севера — Великобритании, с юго-запада — Испании. Кое-как признав независимость колоний, Англия не собиралась церемониться со вчерашними подданными. В нарушение мирного договора 1783 года она продолжала занимать форты на северо-западной границе, контролировать прибыльную пушную торговлю и создавать заслон из враждебных американцам индейских племен. В 1784 году англичане закрыли вест-индские острова для американской тор-

говли. Правительство Питта не снизило даже до учреждения своего посольства в США.

Отношения с Францией — союзником и недавним товарищем по оружию складывались тоже не просто, как в этом смог убедиться Джефферсон. Заветным желанием американцев было держаться пока в стороне от европейских дел, чтобы не стать «мячом в руках европейских держав», по выражению Гамильтона. Но и оно было трудно осуществимо: Соединенные Штаты еще слишком зависели от Старого Света, чтобы суметь полностью выйти из большой европейской игры по правилам «баланса сил». В Европе назревал небывалый конфликт между Англией и Францией, и в стремлении занять позицию «третьего радующегося» США приходилось постоянно лавировать между двумя полюсами, подчас получая пинки то с одной, то с другой стороны. К тому времени в правящих кругах США уже твердо сформировалось единомыслие относительно основополагающих стратегических установок американской внешней политики — стремление к экспансии, подкрепляемое мессианской идеей «особой роли» США в мире, невовлечение в европейские конфликты при максимальном использовании в своих интересах противоречий между европейскими державами. Отмечая существование своего рода «стратегического консенсуса» «отцов-основателей», авторы вышедшего в США представительного сборника «Творцы американской дипломатии» пишут, что «с самого начала вовлечение США в мировые дела носило двойственный характер: с одной стороны, дипломатические контакты были ограничены сферами, считавшимися жизненно необходимыми для укрепления благосостояния и безопасности страны, с другой — признавалось дозволенным и даже желательным использовать возможности, предоставляемые Соединенным Штатам конфликтами в Старом Свете и распадом его политических и экономических систем. Средства достижения этих целей Америки — изоляция, нейтралитет, господство в своем полушарии, опора на высший закон и «явное предназначение», территориальная и торговая экспансия — оставались неизменно важными на протяжении всего XIX века».

Единство в оценке долгосрочных целей и основных методов их достижения отнюдь не исключало разногласий по вопросу о тактике, тем более что лавирование между соперничающими державами, ставка на ту или другую европейскую страну зависели и от расстановки сил внутри США.

Опора федералистов — торговцы и промышленники северо-востока — тяготела к бывшей метрополии, с которой их связывали давние торговые и финансовые узы, а также идеоло-

гические симпатии. В то же время плантаторско-фермерская масса республиканцев питала к Джону Буллию повышенную враждебность. У них накопилось немало обид: грабительская система закупок сельскохозяйственной продукции в колониальные времена, опустошительные походы английских войск по южным штатам в годы войны, десятки тысяч бежавших с ними рабов, огромная задолженность английским торговцам.

Для Гамильтона проанглийская ориентация была важнейшим средством осуществления его замыслов создания американской империи. Причина тому — не столько душевная привязанность к матери-метрополии, сколько простая арифметика. Государственный кредит — фундамент национальной мощи, по Гамильтону, питался за счет импортных пошлин, составлявших до 6 миллионов долларов ежегодно, тогда как внутренние поступления давали не больше шестой части этой суммы. Учитывая, что на выплату одних только процентов по внутреннему и внешнему долгу ежегодно уходило около 3 миллионов долларов, а содержание государственного аппарата вместе с военными расходами поглощало еще полтора миллиона, значение доходов от иностранной торговли было очевидным. 90% этих поступлений давала Англия. Она же поставляла фабричное оборудование и материалы, необходимые, по планам Гамильтона, для развития мануфактур. Она же являлась первой морской державой, представлявшей главную военную угрозу для США. Вывод делался один: мир и согласие с Англией любой ценой. От этого зависел успех дела всей его жизни, его место в истории. Это хорошо понимали английские представители в Америке. «Любое событие, которое может подвергнуть опасности внешний покой Соединенных Штатов, — доносил в Лондон один из них, — будет столь же губительным для системы, созданной им на благо страны, сколь для его личной репутации и будущих честолюбивых замыслов».

Умиrotворение Англии стало навязчивой идеей Гамильтона, ради которой он был готов переступить через многое. «Легче всего, — сказал он как-то, — пренебречь коренными интересами общества ради строгого соблюдения обычных правил». Из этой одержимости идеей союза с Англией родилась закулисная связь казначея с британскими агентами, принесшая ему после смерти позорную, хотя и незаслуженную славу «английского шпиона». При отсутствии официального посланника главным представителем Англии в США был майор Джордж Беквит; его Гамильтон использовал как собственный канал связи с Лондоном, который был необходим для защиты интересов страны — как он их понимал. Другое дело, что подчас эти интересы, своеобразно трактуемые Гамильто-

ном, совпадали с интересами самой Англии, что позволяло правительству Питта использовать «номер семь» (так шифровал генерального казначея в служебных донесениях Беквит) в своих целях. Гамильтон вел опасную игру.

Еще на одной из первых встреч с Беквитом в октябре 1789 года он намекнул на желательность политического союза между США и Англией. «Вы не должны упускать из виду, что в ближайшие полвека, а то и раньше, мы можем вырасти в значительную силу. Если по необходимости нам придется связаться с домом Бурбонов, то такой союз может поставить под угрозу ваши владения в Вест-Индии. С другой стороны, мы привязаны к вам крепкими узами торговой, а возможно — и политической дружбы, и наши военно-морские силы, в случае их использования в будущих войнах на вашей стороне, могут иметь очень существенное и даже решающее значение». Таким образом, Гамильтон надеялся убедить англичан в том, что их подлинные интересы заключаются в дружбе с Соединенными Штатами.

По-другому решали эту проблему Джефферсон, Мэдисон и другие лидеры республиканцев. Они иначе оценивали все основные факторы ситуации — позицию и намерения Англии, мощь и потребности своей страны, роль и обязательства по отношению к Франции. Для идеологов аграрной демократии Великобритания на время стала символом упадочнической торгово-промышленной цивилизации, преисполненной неискоренимой враждебности к оплоту свободы — США. Она понимает только язык силы. «Ничто не вернет их к рассудку, кроме физического противодействия», — уверял Джефферсон Мэдисона.

Мало того, Соединенные Штаты, считал Джефферсон, не только должны, но и в состоянии противостоять козням англичан. В отличие от Гамильтона, исходившего из военно-экономической слабости США и зависимости их от Англии, он полагал, что страна может обеспечить себя практически всем необходимым. В конце концов английские промышленные товары и оборудование — не что иное, как предмет роскоши, без которой республиканская добродетель и платежный баланс США только выиграют. Немногочисленный и действительно необходимый импорт могут предоставить Франция и другие страны. «Я считаю, — говорил он еще в 1786 году, — что торговля с Великобританией для нас разрушительна, и единственной компенсацией может быть только торговля с английской Вест-Индией. Но, поскольку нам отказано во второй, мы должны отказаться и от первой». Неминуемое в таком случае резкое сокращение поступлений в государственную казну не слишком пугало Джефферсона и Мэдисона. Они

считали, что государственный долг и расходы непомерно раздуты вследствие гамильтоновской политики и в действительности могут быть гораздо меньшими.

Только твердая политика по отношению к Англии, а не ее умиротворение, полагали оба вирджинца, способна предотвратить войну с ней. Но даже в случае войны преимущества будут на стороне США. Удаленность от Европы исключала возможность посылки англичанами достаточно большой армии для завоевания страны. Англии пришлось бы, писал Джефферсон, «покинуть океан, где мы слабы, и померяться силами на земле, где она должна будет проиграть». В такой войне, по мнению сугубо штатского человека, каким был Джефферсон, добровольное ополчение с успехом заменит регулярную армию, торговцы-каперы — военно-морской флот, а иностранные поставки — собственное военно-промышленное производство.

Эти общие установки обеих партий пришли в столкновение уже в первые месяцы существования молодого государства. В 1789 году при обсуждении внешнеторговых тарифов в конгрессе Мэдисон предложил обложить повышенными пошлинами суда тех стран, которые не заключили торговых договоров с США. Крупнейшей из них была Англия — в нее-то и целил Мэдисон. Объясняя свою позицию тем, что коммерческая дискриминация заставит Англию уступить, в душе он мирился и с обратным результатом — ответными мерами англичан и свертыванием торговли с ними. Для Гамильтона это было сущей бессмыслицей. Еще в октябре того же года Беквит предупредил его, что в случае принятия дискриминационных мер Англия ответит торговой войной. Гамильтон опасался, что за ней может последовать и война настоящая. Джефферсон и Мэдисон, саркастически писал он Каррингтону, «полны женственной привязанности к Франции и такой же ненависти к Англии». Дай им волю с их торговой политикой — и «не пройдет и полугода, как между Соединенными Штатами и Великобританией разразится война». Поэтому он заверил Беквита в своей «решительной оплозиции» дискриминационным статьям законопроекта Мэдисона и принялся через своих людей готовить его поражение в конгрессе.

Вскоре дискриминационные статьи были исключены. Принятый закон о тарифах, ставивший на одну доску недавнего врага и лучшего союзника, а на деле закреплявший монопольное положение английской торговли, стал первым заметным шагом по пути отхода от союза с Францией и переориентации на Англию. Джефферсон в ответ на протесты французской стороны предложил было пойти на уступки, но Гамильтон привел массу возражений, смысл которых сводился к тому, что обидеть Англию — значит спровоцировать торговую войну.

Франции было отказано в торговых привилегиях. «Несомненно, существует план принести интересы Франции в жертву ради мировой с Англией», — записал тогда в своем дневнике Макклей.

В 1791 году Джефферсон в докладе о внешней торговле и Мэдисон в конгрессе вновь попытались ввести дискриминационные меры в отношении Англии. И опять сторонники Гамильтона отбили атаку, предоставив государственному секретарю право сделать еще один подробный доклад через год — то есть «подставить после правой щеки левую», — мрачно резюмировал Джефферсон. Но эта победа Гамильтона имела для него свои издержки: выступая против таможенного протекционизма, он подрывал позиции федералистов среди промышленников страны и части торговцев, сражавшихся с английской конкуренцией. Умиротворение Великобритании и сохранение бюджетных поступлений от торговли с ней в данном случае оказались для него важнее, чем покровительство отечественным мануфактурам.

Летом 1790 года разыгрались другие события, которые вновь столкнули двух министров. Накануне англичане попробовали создать базу для пушной торговли в глухом местечке Нутка-Саунд на северо-западном побережье Америки. Поскольку эта территория опекалась Испанией, ее власти захватили английские суда и команду. К лету следующего года Англия и Испания оказались на грани войны. Столкновение двух колониальных империй сразу же поставило перед США весь набор важнейших вопросов, связанных с выбором политических приоритетов. Англия, в частности, могла потребовать прохода своих войск через американскую территорию к испанским владениям. Отказ был бы чреват войной с Англией, а согласие — войной с Испанией, а возможно, и с ее союзницей Францией, если та придет ей на помощь.

Вашингтон срочно запросил мнения членов кабинета по вопросу возможного требования англичан и других последствий надвигающегося конфликта.

Гамильтон ответил пространным трактатом, который можно считать наиболее полным к тому времени изложением его внешнеполитических воззрений. Он начинает с вопроса о том, в какой степени свобода действий США в данной ситуации ограничена отношениями с недавними союзниками — Испанией и Францией. Отдавая им (главным образом — Франции) должное за помощь в борьбе колоний за независимость, Гамильтон, однако, подчеркивает, что при этом они руководствовались не альтруизмом — «преданностью делу нашей независимости и свободы», а эгоизмом — «желанием уменьшить мощь Великобритании путем раскола Британской

империи. Ради этого они соединили свое оружие с нашим, испытав все издержки и тяготы войны. Цель эта была достигнута ко взаимной выгоде, а потому мы квиты».

Поэтому Франция заслуживает максимум «расположения», но никак не благодарности, этого «благородного и утонченного чувства», допустимого лишь в отношении стороны, принесшей в жертву свои собственные интересы ради интересов других.

Чувство меры в оценке дивидендов, полученных обеими сторонами, здесь явно изменяет Гамильтону, но в известной логике ему не откажешь: коль скоро Франция в союзе с США руководствовалась «просвещенным взглядом на свой собственный интерес», то и США, как, впрочем, и всякое разумное государство, должны поступать так же, а не предаваться «духу романтической благодарности, требующему принесения в жертву наших существенных интересов.., или услужливости, противоречащему нашей безопасности».

Если таковы права на расположение США главного и наиболее «либерального», по словам самого Гамильтона, союзника, то что же говорить о прижимистой Испании, которая не только отказалась признать независимость колоний, но и продолжает препятствовать американскому судоходству по Миссисипи и подстрекать западные территории США к отделению? У нее, отмечает Гамильтон, «самые ничтожные основания претендовать на наше расположение». Не меняют дела и ее союзнические отношения с Францией: «Союзник нашего союзника, как таковой, — формулирует он еще один принцип сохранения свободы рук для США, — не может иметь притязаний на нашу дружбу». Более того, в случае войны между Англией и Испанией США «должны чувствовать себя вправе, не нарушая существующих обязательств по отношению к Франции, объединиться с Великобританией против Испании, *если сочтут это соответствующим своим интересам*» (выделено мною. — В. П.). Разделавшись таким образом с союзническими обязательствами, Гамильтон подводит к главному выводу: США вольны поступать, как им заблагорассудится, считаясь только со своими собственными интересами; остается лишь определить, какой курс в данной ситуации — согласие с требованием англичан или отказ — в большей мере «отвечает интересам Соединенных Штатов».

В пользу отказа говорит угроза нарушения взаимного сдерживания Англией и Испанией друг друга на американском континенте в случае захвата Англией испанских владений. «Для нас, — продолжает Гамильтон, — безопаснее иметь на обеих наших границах две могущественные, но соперничающие нации, чем одну мощную нацию, которая сдавлирует нас с

обеих сторон». Пострадает и американская торговля, лишенная выхода в Карибское море и стесняемая неизбежными в таком случае английскими ограничениями. «Но можно ли идти на отказ, не собираясь подкреплять его силой?» А сил для вооруженного отпора Англии, как показывает Гамильтон, у американцев пока нет: «Мы только начинаем оправляться от последствий долгой, трудной и изнурительной войны. Народ едва стал ощущать сладость передышки. Мы уязвимы на море и суше, не имея ни флота, ни армии. У нас есть долг, значительный в пропорции к ресурсам, которые обстановка позволяет государству использовать. Меры, принятые недавно для восстановления кредита, будут наверняка расстроены войной, что в свою очередь приведет к подрыву кредита. Наше национальное государство еще пребывает во младенчестве. Привычки и нрав народа не способствуют щедрым поступлениям в казну, которых неизбежно потребует война».

«Единственный противовес, способный восстановить равновесие сил в войне с Англией», — это Франция, но она охвачена такими внутренними потрясениями, что «нельзя прогнозировать» будущую направленность ее политики. Отсюда — необходимость особой осторожности в отношении Англии. Но в целом, поясняет Гамильтон, «нашей подлинной позицией должно быть культивирование нейтралитета... до тех пор, пока мы как следует не оглядимся на сцене и не найдем путей изменения этой позиции к нашей выгоде». Такими «путями» могут быть переговоры с соперничающими державами на предмет «продажи нейтралитета» за хорошую цену — например, за право судоходства по Миссисипи. Но при этом совершенно необходимо как можно дольше сохранять свободу действий, ибо «стоит лишь связаться с любой из сторон, как мы сразу же утратим все преимущества нашей позиции для переговоров».

Такая линия в данной ситуации будет, по убеждению Гамильтона, соответствовать общей стратегической установке США во внешней политике: «держаться как можно дальше от всяческих иностранных связей, кроме торговых..., с крайней осторожностью относиться к (внешнеполитическим. — В. П.) системам, которые бы слишком приближали нас к одним странам и слишком удаляли от других. Любая система такого рода уязвима с той точки зрения, что она способствует возникновению ложной предвзятости у руководства нации, а нередко и подчинению ее собственного интереса интересам других». При этом принципы невовлечения в европейские союзы и сохранения свободы рук отнюдь не равнозначны изоляционизму и отказу от применения силы. Они лишь призваны обеспечить Соединенным Штатам наиболее благо-

приятные условия для преследования в дальнейшем своих интересов всеми средствами, в том числе, если это представляется целесообразным, — и военным путем. Так, решение главной ближайшей задачи территориальной экспансии США — захват районов, прилегающих к устью Миссисипи, — лишь вопрос времени. В случае если Испания не уступит их добровольно, продолжает развивать свой сценарий Гамильтон, «мы осуществим наши притязания», когда «обретем больший порядок и последовательность в наших делах». В такой войне с Испанией США, «естественно, должны искать помощи у Великобритании», что, возможно, вовлечет в конфликт Францию на стороне Испании и тем самым «произведет революцию во внешней политике» США.

В этом документе Гамильтона сформулированы основные постулаты ранней военно-политической стратегии США: «просвещенного эгоизма» как принципа свободы рук на международной арене и «баланса сил» — основной рабочей концепции стратегии США.

Гамильтон был, пожалуй, первым, но далеко не единственным среди «отцов-основателей», кто дал развернутую, аргументированную формулировку этих установок. Одно из свидетельств тому — меморандум Джефферсона, представленный по тому же поводу Вашингтону.

Государственный секретарь вторит министру финансов в оценке стратегической угрозы захвата Англией испанских владений на американском континенте: «Вместо двух соседей, взаимно уравнивающих друг друга, мы получим одного — более опасного, чем двое порознь». Не хуже Гамильтона он разбирается в тонкостях «баланса сил», осознавая все преимущества позиции «третьего радующегося» в англо-испанском конфликте. Поэтому госсекретарь также уповает на сохранение нейтралитета, в котором философ Джефферсон усматривает источник изобилия для США — «Надеюсь, что на нашу долю выпадут мир и прибыль, — пишет он в те же месяцы в частном письме. — Наша цель — кормить, а их — сражаться». Соединенные Штаты «должны радоваться хорошей цене на пшеницу, которую принесет с собой война.., и молиться о том, чтобы солдаты противника ели как можно больше». Согласен Джефферсон и с тем, что США должны в случае необходимости подороже продать свой нейтралитет — например, за предоставление независимости испанским колониям в Америке, которое расчистит путь для их последующего поглощения Соединенными Штатами. Как и Гамильтон, он высказывается за предоставление англичанам права прохода через американскую территорию, но при условии, что такое же право будет предоставлено и испанцам.

Оперируя, как и Гамильтон, категориями политики «баланса сил», Джефферсон расходился с ним лишь в вопросе о средствах ее осуществления, составляя иную комбинацию участников. В своем альтернативном сценарии (на случай невозможности сохранения нейтралитета) он допускал возможность вступления США в войну с Англией на стороне Испании, но только при условии поддержки последней Францией, то есть сохранения стратегического рисунка времен войны за независимость. В этом сказывалось не только различие их идеологических симпатий и внешнеполитической ориентации, но и глубокая приверженность Джефферсона идее необходимости сохранения системы взаимного сдерживания европейских держав на американском континенте, ради которой он был готов даже вступить в войну с Великобританией. Вы должны внушить английскому двору, писал государственный секретарь в своих инструкциях посланнику в Лондоне Г. Моррису, что «поддержание должного равновесия на наших границах так же желательно для нас, как и сохранение баланса сил на европейском континенте — для них».

Но если на уровне теории оба министра не уступали друг другу, то в практическом отношении — проведении в жизнь американского варианта политики «баланса сил» госсекретарь оказался выше своего соперника. Англия, заинтересованная в американской поддержке — или хотя бы нейтралитете — в возможной схватке с Испанией, была в тот момент готова, как подтвердили потом историки, пойти на некоторые уступки США вплоть до заключения договора о торговле. Однако Гамильтон, в обход государственного секретаря через Беквита поспешил намекнуть англичанам, что США исключают возможность совместных действий с Испанией; тем самым он фактически подорвал курс Джефферсона, направленный на оказание давления на Англию с целью получить «плату» за нейтралитет США, и невольно способствовал охлаждению интереса англичан к заключению торгового договора, к которому так стремился.

На сей раз история милостиво избавила Вашингтона и его министров от мучительного выбора. Испания, покинутая Францией, без борьбы уступила требованиям Англии. «Кризис Нутка-Саунд» остался в истории прообразом будущих схваток по вопросам внешней политики.

В 1792 году, когда вновь возникла угроза англо-испанской войны, Гамильтон рискнул предложить кабинету заключить оборонительный союз с Англией, что позволило бы отбросить испанцев с Миссисипи. Вашингтон нашел, что такое лекарство будет опаснее самой болезни. Но если Гамильтон не смог привести дело к союзу, то ему удалось, пользуясь

молчаливым согласием Вашингтона, Адамса и Джея, предотвратить дальнейшее обострение торговых и дипломатических отношений с Англией.

Кстати говоря, новейшие исследования английских историков показали, что кабинет Питта отнюдь не собирался отступить перед дискриминацией своей торговли. Соединенные Штаты в таком случае ожидала настоящая торговая война, выстоять в которой можно было бы лишь с большими лишениями. «Пример Кубы и Вьетнама доказал, — замечает современный американский историк Д. Комбс, — что целые группы народов иногда способны пожертвовать перспективой благосостояния ради национальной независимости и далеко идущих политических целей». Однако, по его собственному признанию, Америку даже тех лет невозможно сравнить с Кубой или Вьетнамом. Джефферсон ждал от соотечественников слишком многого. В то же время и гамильтоновская политика сближения с Англией могла дорого обойтись Соединенным Штатам, поставив их в опасную зависимость от бывшей метрополии.

Вашингтону покуда удавалось избегать обеих крайностей. Но вот грянул бурный 1793 год.



Еще в конце 1792 года Америку взбудоражили известия из Старого Света — падение монархии и образование республики во Франции, победа французской армии над прусской под Вальми. К началу апреля 1793 года с опозданием в два месяца до Америки докатились еще более поразительные вести: казнен король Людовик XVI, Франция объявила войну Англии, Голландии и Испании. Страну захлестнула волна солидарности с юной сестрой-республикой, бросившей смелый вызов тиранам. Многолюдные демонстрации, шумные празднования побед французского оружия, появление «республиканских демократических обществ» поддержки Франции, повсеместное увлечение всем французским — взглядами, обычаями и даже манерами, — все говорило о небывалом подъеме профранцузских и республиканских настроений. Приметой времени стало трехцветное знамя французской республики на американском «шесте свободы».

Так в сознании простого люда демократия в Америке и судьба французской революции стихийно сливались воедино. Очистительная гроза великой революции обдала свежим дыханием федералистскую Америку, воскресила демократические идеалы войны за независимость, напомнив об их неосуществленности у себя дома. «Пагубные идеи французской револю-

ции, — сообщал английский посланник в Лондон, — нашли здесь подходящую почву».

Война между Францией и Англией, с радостным удивлением констатировал Джефферсон, производит неожиданный эффект: «Дух 76-го года оживает вновь». Торжество республики во Франции укрепило его симпатии к этой стране, несмотря на то что оно сопровождалось изгнанием из страны многих его бывших друзей, в том числе маркиза Лафайета. «Я скорее предпочту увидеть опустошение этой земли, чем крушение дела (республиканской свободы. — В. П.). Пусть в каждой стране останутся только Адам и Ева, — писал он У. Шорту, — но свободные — и то это будет лучше, чем сейчас». Из простого «противовеса владычице морей» в глазах Джефферсона Франция превращалась в оплот борьбы за дело свободы, которому противостояла контрреволюционная Англия и ее «пятая колонна» в США — федералисты.

Последние с нарастающей тревогой следили за бурным революционным подъемом во Франции и оживлением мятежного духа в своей стране. Они уже давно с опаской приглядывались к происходящему во Франции. Осенью 1789 года, когда французская революция только набирала силу, Гамильтон писал Лафайету: «Со смешанным чувством тревоги и удивления наблюдаю за событиями последнего времени в вашей стране... меня пугает неистовый нрав вашего народа, который, боюсь, вам гораздо легче поднять, чем удержать в определенных рамках после того, как вы привели его в движение». «Отрава» французской революции могла проникнуть и в Америку. Заимствование идей даже первого ее этапа — однопалатный парламент, всеобщее избирательное право — означало бы потерю консерваторами в США всех позиций, завоеванных ими с 1787 года. Постепенно эти опасения сбывались, а вступление Франции в войну с благочестивой Англией окончательно превращало ее в пугало для закоренелых федералистов.

Англо-французский конфликт накладывался на политическую борьбу в самих США, усиливая ее накал и размежевание федералистов и республиканцев. Европейская война, отметил Джефферсон, «размежевала две партии с такой резкостью, какую наши собственные интересы просто не могли породить». «С одной стороны, — писал он в мае 1793 года, — светские круги Филадельфии, Нью-Йорка, Бостона и Чарльстона, аристократы; торговцы, связанные с английским капиталом; держатели ценных бумаг. Кроме того, старые тори во всех этих группах. С другой стороны — торговцы с собственным капиталом; торговцы-ирландцы; мелкие торговцы, ремесленники, фермеры и все остальные слои наших граждан».

Раскол расколом, страсти страстями, но все здравомыслящие американские деятели понимали, что в сфере государственной политики дело не сводится к однозначному выбору между Англией и Францией. Лезть в пекло большой европейской войны не хотелось никому. «Дух 76-го года», как полагал Джефферсон, надлежало «ограничить» рамками справедливого нейтралитета». На это указывал железный перст необходимости, то есть собственных интересов США. «Строгий нейтралитет в отношении воюющих держав» — такова была первая реакция Вашингтона на сообщение о войне. Но заветное положение «третьего радующегося» стало еще более труднодостижимым, чем раньше.

Союз с Францией «на вечные времена» обязывал США защищать от вражеского нападения французскую Вест-Индию. Франция реалистически оценивала военные возможности США, и в ее стратегических планах им отводилась роль поставщика продовольствия, финансовых средств и базы для снаряжения каперов. Ни в Лондоне, ни в Филадельфии этого пока не знали и с тревогой ожидали, что Франция потребует от США военной помощи. Иного хотела от американцев «владычица морей». Она требовала от них как минимум неукоснительного нейтралитета, который в условиях господства Англии на море на деле имел бы проанглийскую направленность.

С началом войны английский посланник в США Джордж Хаммонд получил указание премьера Гренвилла «сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать реализации франко-американского союза». 28-летнему Хаммонду, сменившему Беквита, в наследство от последнего достались доверительные отношения с генеральным казначеем. В Лондоне отлично знали, что имеют в лице Гамильтона убежденного сторонника проанглийского нейтралитета, на чью искренность можно положиться. И действительно, Гамильтон тотчас заверил Хаммонда, что Соединенные Штаты будут придерживаться строгого нейтралитета и не посчитаются с обязательствами по отношению к Франции, если таковые окажутся в противоречии с этим курсом. «Президент придерживается того же мнения», — многозначительно и безосновательно добавил он. Гамильтон опять выдавал желаемое за действительное. Вашингтон находился в Маунт-Верноне, и мучительные дебаты по вопросу о позиции США были еще впереди.

Не теряя времени даром, Гамильтон принялся за обработку президента. С помощью Джея он составил проект прокламации о нейтралитете и список из 13 вопросов, которые Вашингтон должен был представить на рассмотрение кабинета по возвращении в столицу 18 апреля. Сама постановка вопросов настрожила Джефферсона: принимать ли нового француз-

ского посланника, провозглашать ли нейтралитет официально, сохраняются ли в силе военные гарантии союза с Францией?

Он несколько не сомневался в необходимости признания республиканского правительства во Франции и сохранения в силе всех обязательств между двумя странами. Еще в марте он инструктировал нового посла во Франции — Г. Морриса о том, что «мы не можем отрицать ни за одной страной права, на котором основано наше собственное правление, — права нации на самоуправление в любой желательной для нее форме и на изменение этих форм в соответствии с ее волей». Именно соответствие «воле нации», а не каким-то определенным формам правления является, по Джефферсону, главным критерием законности существующего в той или иной стране государственного строя и основанием для ее дипломатического признания — передовой для своего времени принцип, который впоследствии систематически нарушали преемники Джефферсона, стоявшие у руля американской внешней политики.

Первые два вопроса — о приеме посланника и провозглашении нейтралитета — были решены кабинетом утвердительно, хотя госсекретарь протестовал против объявления нейтралитета, считая, что вначале нужно поторговаться с воюющими сторонами. Он не знал, что Гамильтон уже открыл карты англичанам, и, кроме того, считал, что только конгресс, а вовсе не президент, согласно духу и букве конституции, имеет право объявлять состояние войны или нейтралитета. Казначей парировал тем, что эти функции конгресса в промежуток между сессиями делегируются исполнительной власти. Так начался спор о полномочиях президента и конгресса в вопросах провозглашения нейтралитета или объявления войны, который идет в США и по сей день.

В виде уступки Джефферсону обидное для французов слово «нейтралитет» было изъято из текста прокламации.

Вирджинец мирился с неизбежным, но республиканец в нем скорбел о последствиях этого шага. «Боюсь, что справедливый нейтралитет, — писал он Мэдисону 28 апреля, — окажется неприятной пилюлей для наших друзей, хотя и необходимой для удержания от бедствий войны». Реакция друзей и в самом деле была резкой. «Прокламация — это злополучная ошибка, — негодовал Мэдисон. — Она ранит национальную честь очевидным пренебрежением взятыми на себя обязательствами, а народные чувства — видимым безразличием к делу свободы».

Яростные споры по вопросу о военных гарантиях заставили Вашингтона истребовать письменные соображения министров. Для Гамильтона выбора не существовало. Раз мир с Англией можно было купить лишь ценой отказа от союзнических обяза-

тельств, то она должна быть уплачена. Гамильтон, в годы войны считавший союз с Францией благословением, теперь лихорадочно ищет — и находит — основание для того, чтобы перерубить эти узы. Союз был заключен с законной королевской властью; с тех пор форма правления во Франции сменилась, а нынешнее республиканское правительство нестабильно и может опрометчиво вовлечь Соединенные Штаты в свои авантюры. Коль скоро союз становится «бесполезным, опасным и вредным, — формулирует Гамильтон закон относительности внешнеполитических обязательств, — здравый смысл и право заботиться о собственном благополучии дают нам возможность аннулировать такой договор». Тем более, что договор предусматривал гарантии на случай обороны от вражеского нападения, а Франция сама ведет наступательную войну, сочетая ее с «поощрением революции, восстаний и обещаниями братской помощи». Впрочем, он рекомендует пока не аннулировать договор, а лишь официально приостановить срок его действия до выяснения окончательной формы правления во Франции. По этим же причинам Гамильтон высказался против официального приема французского посланника, которое, по его мнению, было бы равнозначно признанию союза.

Джефферсон, не хуже Гамильтона осознавая необходимость удержать страну от войны, хотел, однако, как-то согласовать нейтралитет с моральными обязательствами в отношении Франции. Он яростно атакует Гамильтона за его этический релятивизм: каждый народ имеет право менять свой общественный строй, но это не означает отмены существующих в отношении него обязательств, ибо союзы заключаются не между правительствами, а между народами.

Здесь Джефферсон исходит из своих представлений об иерархии ценностей, считая, что индивид и его права превыше нации, а нация превыше ее государственной формы. В духе философии Просвещения, провозглашавшего универсальный характер законов разума и морали, он утверждает, что «между обществами существуют те же моральные нормы, что и между индивидами». Поэтому «договоры между нациями освящены тем же моральным законом, который обязывает индивидов соблюдать договоры, заключенные между ними».

Джефферсон признает, что иногда чрезвычайные обстоятельства могут извинить нарушение обязательств как между людьми, так и между нациями, но это возможно лишь в условиях «огромной и непосредственной опасности», грозящей разрушением государства. Большой мастер компромисса между соображениями морали и необходимости, он доказывает, что такой опасности для Соединенных Штатов, а следо-

вательно, оснований для нарушения их союзнических обязательств не существует. Допуск французских военных кораблей и каперов с добычей на свою территорию — обычное право нейтралов, которое не вызовет возражений Англии. По договору обе страны — США и Франция обязались не допускать снаряжения каперов враждебных государств в своих портах, и «мы вправе распространить запрет и на саму Францию, поскольку обратное не оговорено; мы даже должны пойти на это, исходя из принципов справедливого нейтралитета». Остаются злополучные гарантии защиты французской Вест-Индии. Но французы, надеется государственный секретарь, «будут достаточно разумны, чтобы не требовать от нас невозможного и ненужного им самим». Вероятность противного, разумеется, не исключается, но «если бы вероятность могла служить основанием для расторжения договоров, то их вообще бы не было, ибо вероятность окружает все на свете». Действительным нарушением нейтралитета, резонно заключил Джефферсон, явится расторжение договора, которое даст Франции основание для объявления войны.

На сей раз Джефферсон переиграл своего соперника. Его осторожная позиция оставляла больше свободы маневра, и потому Вашингтон согласился с ней. Гораздо разумнее, чем идти на открытый разрыв с Францией, было потянуть время, попытаться как-то совместить нейтралитет с союзническими обязательствами. На практике, однако, это оказалось делом чрезвычайно трудным. Во всяком случае американский нейтралитет никак не соответствовал представлениям о союзническом долге США нового французского посланника Эдмона Женэ,



30-летний дипломат — достойный сын Жиронды, умевшей ультрареволюционной фразой маскировать свою непоследовательность и подстегивать себя на политическое прожектерство, в то время совершал триумфальное пятидневное шествие от Чарльстона к Филадельфии. Восторженный прием вдохновил Женэ, он электризовал толпы пламенными речами и, подобно комете, оставляя за собой шлейф взбудораженных республиканцев, продвигался к столице. «Человек, которого мы опасаемся, — сообщал о нем Гамильтону сторонник из Южной Каролины, — обладает приятной внешностью и отменным сложением. Он очень активен, всегда куда-то спешит и более похож на человека занятого, нежели делового».

Инструкции, данные Женэ во Франции, предусматривали заключение нового договора с США, по которому «два народа» должны были «соединить свои коммерческие и политические интересы и образовать союз для расширения Империи Свободы». Под последним подразумевался совместный захват испанских и английских владений в Америке. Замыслы жирондистов простирались далеко: в случае неудачи или задержки с «братским союзом» предлагалось напомнить американцам о соответствующих статьях договора 1778 года, касающихся разрешения каперства, а также потребовать ускоренной выплаты революционного долга Франции в качестве финансовой помощи.

Еще в дороге, не дожидаясь официального представления, Женэ энергично приступил к выполнению своей программы по всем пунктам. В первые же дни он снарядил четыре капера — «Республиканец», «Анти-Джордж», «Санкюлот» и «Гражданин Женэ», начал набирать добровольцев для экспедиции по освобождению Флориды от испанцев. 17 мая Женэ, наконец, добрался до Филадельфии. Его встречали ликующие толпы энтузиастов и депутация республиканцев во главе с математиком Ритенхаузом — «враги и нарушители спокойствия правительства Соединенных Штатов», по определению Гамильтона. Женэ произнес очередную зажигательную речь, выразив уверенность, что «Америка отнесется к Франции, как к брату, в час опасности и бедствий». Упоенный встречей, он и не подозревал, что одновременно на митинге в другом конце города толпы торговцев выражали полную поддержку прокламации о нейтралитете.

На первых порах правительство США отнеслось к Женэ довольно спокойно, тем более что Франция, как выяснилось, великодушно согласилась забыть о военных гарантиях, а к тому же еще обещала открыть для американских судов все французские колонии. Особенно радовался госсекретарь Джефферсон, «чьи принципы, таланты и приверженность делу свободы, — сообщал Женэ в Париж, — гарантируют полный успех миссии». «Невозможно представить себе что-либо более дружелюбное и великодушное, чем цель его миссии, — с восторгом писал госсекретарь Мэдисону. — Кратко говоря, он предлагает все и не просит ничего». «Братский союз» в счет не шел, сорвать его заключение было проще простого — надо было лишь сослаться на необходимость санкционирования конгрессом.

Несколько сложнее было отделаться от просьбы об ускорении выплаты долга, так как на эти средства Женэ планировал закупать продовольствие для голодающей Франции, содержать свою миссию и субсидировать освободитель-

ный поход во Флориду. Кабинет единодушно постановил отказать французскому посланнику, ибо согласиться, как заявил Гамильтон, «значит помочь одному из воюющих». Дебатировалась лишь форма отказа: Джефферсон, в отличие от Гамильтона, считал, что отказ без всяких объяснений будет выглядеть «слишком сухо и неприятно». Казначею пришлось изобрести извиняющие обстоятельства, но Женэ от этого было не легче. Он квалифицировал решение как намерение «уморить голодом свободу и французских республиканцев». Зато Хаммонд, узнавший новость от Гамильтона раньше француза, был вполне удовлетворен.

Время шло, а проблема Женэ и французского союза не исчезала, напротив, угрожающе разрасталась. В центре ее встал вопрос о каперстве. Кабинет, к возмущению Женэ, постановил запретить снаряжение французских каперов в американских портах, но что делать с уже действующими пиратами и их добычей? Хаммонд требовал возвращения захваченных английских судов, с ним соглашались Гамильтон и Нокс. Джефферсон настаивал на сохранении добычи французских каперов во избежание столкновения с Францией. Еще дальше заходил Женэ, считавший, что Франция как союзница США вправе рассчитывать на предпочтение перед англичанами. Государственный секретарь обстоятельно и терпеливо объяснял ему, что снаряжение каперов в портах США противоречит их нейтралитету, выстроив внушительный ряд доводов из области международного права. «Давайте объяснимся как республиканцы, — отрубил в ответ посол. — Не будем опускаться до ветхозаветной политики дипломатических тонкостей!» В случае дальнейшего саботажа договора, предупредил Женэ в своем «недипломатическом» послании Джефферсону от 22 июня, он будет вынужден через голову президента обратиться к высшему авторитету — народу. Оглушенный восторженными республиканцами, Женэ возомнил, что может бросить вызов самому «отцу страны». «Я живу в вихре бесконечных приемов, — без лишней скромности сообщал он в Париж, — старик Вашингтон ревниво относится к моему успеху и тому энтузиазму, с которым весь город устремляется к моему дому».

Долготерпение госсекретаря подвергалось жестоким испытаниям, но он все еще не терял надежды сохранить «миссионерскую свободу» для блага своей партии. «Я делаю все возможное, — писал он Монро, — чтобы умерить его пыл и развеять опасное предубеждение о том, что народ Соединенных Штатов отречется от мер своего правительства». Но «гражданин Женэ» был неисправим.

7 июля Джефферсону сообщили, что бывшая английская

бригантина «Крошка Сара», захваченная французами и переименованная в «Маленького демократа», собирается выйти в море каперствовать. Губернатор Пенсильвании Т. Мифлин и его секретарь Д. Даллас — оба рьяные республиканцы — пытались уговорить Женэ отложить выход судна хотя бы до возвращения в столицу президента. В ответ они слышали отборную ругань и знакомые уже угрозы обратиться к народу. Джефферсон немедленно отправился к французскому посланнику и предупредил, что выход судна будет расценен как «очень серьезное нарушение». Женэ заверил, что оно еще не готово к отплытию и лишь спустится к устью реки. Государственный секретарь этим удовлетворился, а вечером того же дня отвел душу в письме Мэдисону, кляня этого «безрассудного, вспыльчивого, не уважающего президента» француза.

На следующее утро Гамильтон, Джефферсон и Нокс собрались у губернатора Мифлина для обсуждения положения. Они имели указание президента губернаторам штатов задерживать каперы, снаряжающиеся в американских портах. Бывшие артиллеристы Нокс и Гамильтон потребовали установить батарею на острове в устье реки для перехвата «Маленького демократа». Филадельфийские торговцы, объявили они, готовы взять расходы на себя. Джефферсон решительно воспротивился применению силы. Он еще доверял Женэ, к тому же к Филадельфии подходил французский флот, следующий из Сан-Доминго. Вооруженный инцидент мог вылиться в крупное кровопролитие, и он не собирался «доставлять удовольствие компании королей зрелищем взаимного уничтожения друг друга двумя первыми республиками на земле». Готовы ли его коллеги, язвительно осведомился Джефферсон, открыть огонь по английскому кораблю, не испробовав прежде всех других средств?

Воинственный казначей вешал, что «бездействие свергнет правительство в состояние прострации» и повлечет за собой возмездие Англии, а уж если рисковать войной, то только против Франции, «которая ставит нас перед столь ужасной дилеммой». В видимом сумасбродстве действий Женэ он узрел «план вовлечения Америки в войну с Англией». Спор зашел в тупик, а тем временем «Маленький демократ» под покровом темноты вышел в море и спокойно встал на якорь за пределами досягаемости береговой артиллерии. Гамильтон и Нокс кусали локти (у американцев не было ни единого фрегата, чтобы догнать быстроходное судно), Женэ упивался собственной хитростью, а обманутый Джефферсон утешался тем, что удалось избежать кровопролития.

На заседании кабинета под председательством Вашингтона 12 июля впервые был поднят вопрос об отзыве неугомонного

врага американского нейтралитета. Гамильтон призвал президента сделать по этому поводу публичное заявление, а Джефферсон — поделиться «своими дружескими наблюдениями» о поведении Женэ с французским правительством. Это было бы дипломатично и по-республикански. «Гамильтон, — писал он друзьям, — требует публичного обращения правительства к народу. Такой взрыв явно угрожает разрывом уз дружбы между двумя народами». Осторожный Вашингтон затребовал мнение Верховного суда, а «Маленький демократ» тем временем уже вовсю промышлял в водах Делавэра вопреки запрету правительства США.

Женэ становился балластом для республиканцев и кувалдой для федералистов, с помощью которой Гамильтон вознамерился добить союз с Францией и своих противников-франкофилов. Он вынес борьбу за пределы кабинета, развернув широкую газетную кампанию. В серии статей под подписями «Пацификус» («Миротворец») и «Не якобинец» Гамильтон взялся ответить на распространенные обвинения в том, что нейтралитет США противоречит союзу с Францией и чувству благодарности по отношению к ней. Эти обвинения были прекрасной мишенью для «тяжелой артиллерии» его изощенного цинизма. Используя аргументы, уже апробированные в закулисной борьбе, он развивает свою систему доказательств, прежде всего как бы в продолжение полемики с Джефферсоном о месте морали во внешней политике. «Самосохранение — первейший долг каждой страны... — отчеканивал «Пацификус». — Моральные нормы отношений между государствами несколько отличаются от правил, обязательных для индивидов. Долг руководствоваться в своих действиях принципом собственного благосостояния для государств гораздо более непреложен, чем для отдельных личностей. Ибо счастье целой страны неизмеримо важнее индивидуального счастья, а поведение государств имеет гораздо более устойчивые и далеко идущие последствия, нежели поведение индивидов».

Поэтому допустимый диапазон сентиментов в поведении наций и их лидеров гораздо уже, чем в поведении обыкновенных людей, выводил Гамильтон. «Правители — всего лишь опекуны счастья и интересов своей страны, и, оставаясь верными своему долгу, они не могут руководствоваться соображениями доброты или гуманности по отношению к другим народам в ущерб своим согражданам».

Логическое обоснование законности «двойной морали» — для государств и индивидов — Гамильтон подкрепляет ссылками на историю международных отношений, доказывая, что вместо моральных норм в них господствуют законы эгоизма: «Общий принцип и преобладающий мотив при

оказании услуг одной нации другой кроется в интересе или выгоде стороны, которая их оказывает».

Именно такими мотивами и руководствовалась Франция в отношении США, развивает далее свои, знакомые нам идеи Гамильтон, а потому она не заслуживает столь большой жертвы со стороны США — жертвы, несоизмеримой не только с ее выгодами для Франции, но и с теми издержками, которые понесла сама Франция в период оказания помощи колониям. Это ставит под угрозу принцип «взаимности» и «равенства» в оказании услуг — основное правило торгашеской морали, пропагандируемой Гамильтоном.

Что и говорить, он прекрасно схватил самую суть буржуазной внешней политики, предельно откровенно и исчерпывающе обосновал главный ее закон — закон силы. Недаром писания «Пацификаса» стали азбукой теоретиков и практиков внешней политики США, цинично попирающих общепринятые нормы взаимоотношений между государствами в своих имперских целях. Ее ведущий современный теоретик Ганс Моргентау видит истоки всех последующих дебатов «реалистов» и «моралистов» в США в этой схватке Гамильтона и Джефферсона по вопросу об американском нейтралитете. Моргентау, как и многие другие теоретики, не устоял перед интеллектуальным напором «Пацификаса» — он смотрит на происходившие события его глазами. Джефферсон до сих пор нередко зачисляется в кроткие идеалисты, хотя на самом деле в спорах о нейтралитете он расходился с Гамильтоном скорее в вопросе о средствах, нежели по существу.

«Пацификас» обдавал холодным душем разгоряченные головы франкофилов. Блестящий стиль «короля полемистов» не оставлял сомнений в авторстве. «Ради бога, — в тревоге призывал Джефферсон Мэдисона, — возьмитесь за перо, выберите самые разительные ереси и разрубите его на куски на глазах у всей публики». Мэдисон со вздохом надел боевые доспехи, опустил забрало с псевдонимом «Гельвидиуса» и вступил на поле битвы. Он выбрал основной участок — буквальное толкование конституции, подвергнув сомнению правомочность президента в провозглашении нейтралитета.

В следующей серии статей, подписанных «Не якобинцем», Гамильтон публично обрушился на самого Женэ. Он надменно давал ему наставления о дипломатическом этикете, возмущенно описывал его злые козни, обвинял в насаждении «якобинских» клубов и настроений, стремлении противопоставить народ правительству — словом, делал все, чтобы вызвать у читателей «стихийное и праведное возмущение».

То же самое он говорил и на заседаниях кабинета. Вместе с Женэ казначей стремился дискредитировать не только Фран-

льно, но и сочувствующих ей республиканцев, прежде всего демократические республиканские общества, в глазах президента. «Гамильтон произнес сорокапятиминутную речь, такую возбуждающую и декламационную, как будто выступал перед судом присяжных», — записывал Джефферсон. И так бывало не раз. Позже вирджинец вспоминал, что в те дни чувствовал себя гладиатором, ежедневно выходящим на арену для страданий. Совершенно, надо сказать, неподходящее амплуа для церемонного и легкоранимого дипломата. Навязанный Гамильтоном ближний бой вконец измотал его, а Вашингтон, раздосадованный резкими выпадами республиканской прессы, все чаще принимал сторону казначея, и в частности передал ему полный контроль за каперами в портах. Ожесточенность и тщетность борьбы повергают Джефферсона в отчаяние. «Зачем я здесь..! — восклицает он, изливая душу Мэдисону, — измученный с утра до ночи и день за днем трудами столь же бесполезными для других, сколь тягостными для меня самого, в одиночку ввязавшись в отчаянную бесконечную борьбу с бандой, постоянно подрывающей общественную свободу и благосостояние, вынужденный даже в редкие часы досуга находиться среди людей, в ненависти которых несколько не сомневаюсь.., оторванный от семьи и друзей, бросивший свои дела в состоянии полного расстройства — короче, отдавший все, что люблю, в обмен на то, что ненавижу, и притом без малейшей надежды на удовлетворение в настоящем или будущем».

На него вновь нахлынуло отвращение к политическим схваткам и опять неудержимо манит комфортабельное уединение Монтичелло. Он твердо решил уйти в отставку к концу сентября — после урегулирования «кризиса Женэ».

Гамильтон тем временем продолжал свою разрушительную работу, и наибольшую поддержку в этом ему оказывал... сам Женэ, которого заносило все больше. В конце июля он разразился еще одним гневным посланием Джефферсону. Утверждая, что «Соединенные Штаты приносят в жертву прибыли интересы своего союзника», посол сделал вывод о том, что «кошелек перевешивает честь в политическом балансе Америки», а «Франция наказана за свою веру в честь американского флага». Скоро Женэ получил новое подтверждение «вероломства» американцев. Внемя английским протестам, США предупредили Францию, что в случае невозвращения английских судов, захваченных французскими каперами в американских территориальных водах, правительство потребует, чтобы Франция выплатила компенсацию их владельцам. Но, ободренный присутствием французского флота, посланник не оставлял своих надежд на подрыв ненавистного

нейтралитета. «Американский народ, — информировал Женэ Париж, — просвещенный нашими усилиями относительно своих подлинных интересов, хочет войны, несмотря на свое пассивное правительство».

В этом посланец Жиронды явно просчитался. Как отмечал в своем исследовании, специально посвященном этому вопросу, советский историк Н. А. Краснов, «примеров бескорыстной помощи (со стороны американцев. — В. П.) Франции было немного. Как правило, республиканцы, не стоявшие за войну, не мыслили своего вклада в дело победы революции в отрыве от поисков путей своего собственного обогащения, поэтому развитие торговли представлялось им лучшим способом поддержания Франции».

В середине августа Гамильтон через Кинга и Джея сделал достоянием гласности угрозу Женэ обратиться к народу наперекор президенту. Учитывая авторитет Вашингтона, это был тяжелый удар, значительно подорвавший популярность французского посланника даже среди республиканцев. Кабинет уже решил выдворить его. Даже для бывших друзей Женэ стал камнем на шее, который, по опасениям Мэдисона, «утопит республиканский интерес, если не избавиться от него». 11 августа в конфиденциальном письме Мэдисону Джефферсон набрасывает новую тактику республиканцев. «В конгрессе, я полагаю, будет разумно безоговорочно одобрить состояние нейтралитета, избегая мелких придирок в вопросе о том, кому его надлежит провозглашать; полностью отречься от Женэ с выражением крепкой дружбы и верности его стране и уверенности в том, что он действовал вопреки ее интересам. Таким образом мы удержим народ на своей стороне».

Накануне Вашингтон уговорил государственного секретаря отложить свою отставку до начала следующей сессии конгресса, когда-де планирует уйти со своего поста и генеральный казначей. Джефферсон сразу же делится этим неожиданным известием с Мэдисоном, чтобы «приспособить наши планы к предстоящей ситуации». Уход Гамильтона, считает он, необходимо использовать для нового наступления на федералистов. Программа действий в конгрессе: раздел «осинового гнезда» — казначейства — на управления по таможенным сборам и внутренним налогам, отделение Национального банка от государства. Несмотря на близкую отставку, Джефферсон, как видно, не снимал с себя ответственности за выработку стратегии республиканцев.

Его планы демонтажа гамильтоновской системы были столь же нереальны, сколь расчетлива линия в отношении Женэ и нейтралитета. Республиканцы взяли ее на вооружение,

о чем свидетельствовали резолюции их митингов с выражением лояльности всему сразу — нейтралитету, президенту, Франции, только не Женэ, подвергнутому суровому осуждению. За исключением экивоков в сторону Франции, эти резолюции ничем не отличались от петиций федералистов. Двойная волна резолюций убедительно продемонстрировала неотразимую популярность нейтралитета и пределы «братской любви» к Франции. Лишь кучка радикальных республиканцев да газета Френно стояли за Женэ до конца.

Вскоре политическая горячка лета 1793 года утихла: эпидемия желтой лихорадки, вспыхнувшая в Филадельфии в середине августа, до самой зимы погрузила столицу в смертельное оцепенение. Перестали выходить газеты, едва работала почта, правительство и богачи покинули город, свыше пяти тысяч человек погибло. Самой известной жертвой эпидемии стал Гамильтон. Москиты чуть было не отправили генерального казначея на тот свет, чему никак не хотел верить Джефферсон. В письмах друзьям он твердил о постыдной мнительности Гамильтона: «Человек, столь трусливый, как он, на воде, на лошади, в болезни — удивительный феномен, если верить в мужество, которым он известен в военных кругах». Ненависть переполняла сдержанного Джефферсона.

Даже на фоне человеческой трагедии разыгрывался фарс партийной дуэли. Гамильтона лечил его друг детства Э. Стивенс — лечил холодными ваннами. Поправившийся Гамильтон через газету стал рекомендовать этот метод филадельфийским врачам. Но партийная вражда была столь сильна, что республиканцы усмотрели в этом новые козни федералистов, тем более что друг Джефферсона Бенджамен Раш лечил ту же болезнь надежным, «истинно республиканским» методом кровопускания. В уцелевших газетах закипела свара кровопускателей и сторонников холодных ванн. Республиканский метод оказался более впечатляющим. «Рецепты полковника Гамильтона, — радовался Раш, — ныне столь же непопулярны в нашем городе, как его финансовая система в Вирджинии или Северной Каролине».

Что касается всего остального, федералисты могли быть довольны — трудный год кончался в их пользу. «Как приятно видеть Джефферсона, Рэндольфа и Женэ подвешенными вместе за уши!» — искренне веселился Р. Трауп. «Нынешний горизонт нравится мне гораздо больше, чем прежде, — с удовлетворением подводил итоги Эймс в письме Гамильтону, — туч гораздо меньше». Но они надвигались вновь, на сей раз со стороны Англии.

Глава четвертая

СХВАТКА У РУЛЯ

Бывают люди, которые на всех парусах несутся по ветру монаршей милости; они мгновенно теряют из виду землю и мчатся вперед; все им улыбается, все удается; за каждый шаг, за каждый поступок их осыпают похвалами и наградами... Но в стороне возвышается утес, о подножие которого разбивается любая, самая мощная волна; влияние, богатство, угрозы, лесть, власть, милость — ничто не может его поколебать. Имя ему — народное мнение; наталкиваясь на него, эти люди идут ко дну.

Жан де Лабрюйер

То, что республиканцы в конце концов взяли верх в 1800 году, неудивительно. Поражает другое — как могла небольшая узкая группа капиталистов так долго удерживать бразды правления в преимущественно аграрной стране.

Ч. Бирд

Война, с 1792 года погрузившая Европу в кровавую бездну, стала благословением для американской экономики. Истинным экономическим содержанием американского нейтралитета была торговля продовольствием. Как и предвидел Джефферсон, Европа воевала, а Америка кормила, и такое разделение обязанностей вполне устраивало американцев любых политических взглядов. Они следовали

отеческому совету Джона Адамса — набивать свои карманы, философски наблюдая за тем, как европейцы перегрызают друг другу глотки. Но и на этом «славном» пути были свои тернии.

Гарантией высоких прибылей нейтральной торговли был принцип «свободное судно — свободный груз», который обеспечивал неприкосновенность любых товаров на борту нейтральных судов. Следуя ему, американцы с начала войны резко увеличили фрахтовую торговлю между Францией и французской Вест-Индией. Что касается «владычицы морей», то она никогда не признавала этого принципа, поскольку он лишал ее возможности извлекать преимущества из своего господства на море. Она придерживалась древнего пиратского правила, в соответствии с которым все вражеские товары, независимо от флага торговца, подлежали захвату. В новой войне, потребовавшей напряжения всех ее сил, Англия не собиралась отказываться от своей исконной тактики и допускать, чтобы ее смертельный враг снабжался из-за океана.

В июне 1793 года королевский флот получил приказ захватывать все французские товары на американских судах, курсирующих между Францией и ее колониями. В Америке предвидели возможность такого разворота событий и восприняли его как должное, но англичане пошли еще дальше. Вместе с Россией, Испанией и Пруссией они объявили блокаду Франции. Зерно и другие виды продовольствия, направляемые туда, подлежали конфискации, правда, с последующей выплатой компенсаций. Даже Гамильтон в беседе с Хаммондом протестовал против этой «чрезвычайно суровой и беспрецедентной меры». Однако англичане не остановились и на этом. 6 ноября 1793 г. король приказал перехватывать все американские суда на торговых путях, связывающих Францию с ее колониями, и отправлять их в Англию — для судебного разбирательства.

Этот крайний шаг был вызван продовольственным бумом во французской Вест-Индии. Ее жемчужину — остров Сан-Доминго охватило пламя небывалого по размаху восстания рабов, и перепуганные плантаторы спешили избавиться от всех наличных запасов продовольствия. Американские торговцы повсюду использовали этот бум, покупая зерно по дешевке и перевозя его во Францию как свой, то есть нейтральный, товар. Чтобы добычи набралось побольше, указ Георга III был объявлен лишь в конце декабря, когда английский флот уже успел захватить около 250 американских судов. Половина из них подверглась конфискации, а часть матросов — насильственной вербовке. Почти одновременно с этим пришло известие о подстрекательской речи губернатора Канады Дорчестера

перед вождями индейских племен. Он намекнул на возможность скорой войны с американцами и тогда — «пусть границу проведут воины».

Столь тяжелый удар одновременно по карману и самолюбию американцев мгновенно вызвал взрыв англофобии в стране. Даже закоренелые федералисты сжимали кулаки. «Если Джон Булль из дурацкого упрямства и гордости будет стоять на своем, отказывая в возмещении, то думаю, что разразится война», — сокрушался Эймс. Бесцеремонность Англии грозила сорвать гамильтоновскую политику умиротворения.

Если таковы были настроения федералистов, то что же говорить об остальных? Для них все было ясно: Англия ведет дело к войне. Традиционные меры республиканцев — повышение пошлин на английские товары и т. п., вновь предложенные Джефферсоном в его прощальном докладе в декабре 1793 года и Мэдисоном в конгрессе, казались теперь охваченным воинственным пылом южанам просто шуточными. «Передайте от нас Джону Буллю, — наказывали конгрессменам жители графства Галифакс (Северная Каролина), — что, если он не отречется от своей бесчестной системы угнетения, грабежа, интриг, низкого коварства и вероломства..., мы будем преследовать его со всей мстительностью и неистовым маршем гнать от озера к озеру, ровняя с землей форт за фортом».

В марте конгресс наложил месячное эмбарго на всю иностранную (преимущественно английскую) торговлю. Уже обсуждался и вот-вот мог пройти законопроект о секвестре всех частных долгов британских подданных. Федералисты противились этим мерам, тем самым укрепляя свою репутацию пособников англичан. Самый ярый обличитель федералистов в конгрессе Джайлз, выступая за полное прекращение торговли с Англией, прямо указывал на причины их осторожности. «Говорят, что прекращение торговли уменьшит поступления в казну. Но разве так рассуждала Америка во времена Декларации независимости? Откуда эта перемена в настроениях? Корень зла, — продолжал Джайлз, — в финансовой системе страны, обрекающей ее на зависимость от Англии».

Военная горячка охватила страну, в первую очередь южные и центральные штаты. Там маршировали добровольцы, бурлили митинги и демонстрации, патриоты «угощали» дегтем и перьями проанглийски настроенных торговцев. Шквал антибританских настроений увлекал за собой и федералистов, которые нашли спасительную тактику — переговоры с Англией при наращивании военной мощи на случай их провала. «Наш долг ясен, — писал оракул федералистов Эймс. — Мир! Мир! До последнего дня, пока его можно сохранить. А война, когда она придет, будет свалена на наших фракционеров как дело их рук».

В те критические дни балансирования на грани войны Гамильтон делал все возможное, чтобы предупредить или хотя бы отсрочить роковое столкновение с Англией. Он взывает к благоразумию англичан через Хаммонда, с огромным трудом тормозит принятие новых антианглийских мер в конгрессе, а главное — сдерживает Вашингтона, не устая повторяя ему, что война с Англией — это катастрофа. Силы слишком неравны: Великобритания и «народ, только что ставший государством, вчерашняя колония — если и Геркулес, то Геркулес в колыбели... Мы забываем, — увещевал он, — как мало можем ущемить сами и как сильно могут ущемить нас».

Это были весомые аргументы, особенно для главнокомандующего, знавшего цену войне и воинственности политиканов. 8 марта Гамильтон в специальном меморандуме президенту изложил программу преодоления кризиса из трех главных пунктов: укрепление портов, дополнительный набор в армию 20 тысяч человек и отправка в Лондон посла для переговоров. Через день состоялось секретное совещание федералистских лидеров конгресса. Присутствовавшие на нем сенаторы О. Элсворт, Дж. Кэбот, К. Стронг, Р. Кинг поддержали предложения Гамильтона и направили к президенту своего эмиссара. Седовласый Элсворт передал Вашингтону единодушное мнение своих коллег: в Лондон должен отправиться Гамильтон, «чьи качества дают ему абсолютное преимущество перед остальными». Но он «не пользуется общим доверием страны», — засомневался президент. Да и к самой идее переговоров он склонился лишь в конце марта, когда стало известно об отмене ненавистного ноябрьского указа Георга III, но слух о возможном назначении Гамильтона уже распространился, всколыхнув республиканцев.

Саму затею они принимали только как проведение переговоров «с позиции силы», требуя предварительно «показать зубы» англичанам — провести через конгресс законы о полном прекращении торговых отношений с Англией и секвестре английских долгов. «Мы уже столько от них стерпели, — сетовал Джефферсон, — что неминуемо обречем себя на оскорбления и в будущем, если только не станем вести себя сейчас очень смело». С уходом в долгожданную отставку в начале года его воинственность явно возростала. А тут еще кандидатура Гамильтона — «ничего более оскорбительного нельзя было предложить». Он готов даже поверить сплетням о том, что Гамильтон запросит политического убежища в Великобритании («в Америке становится для него слишком жарко»), — неудивительно, дает волю своему сарказму Джефферсон, если он там получит хорошую пенсию, как и предатель Арнольд.

Тем не менее республиканцы не спешили воспользоваться столь легким способом избавления от своего главного врага. На Вашингтона обрушился град писем, умоляющих не дать Гамильтону «продать родину Джону Буллю». Как ни хотелось казначею сесть за стол переговоров с Питтом и самому привезти желанный мирный договор, в этих условиях он вынужден был отказаться от назначения в пользу верховного судьи Джея. Президент одобрил эту кандидатуру, и 19 апреля сенат после ожесточенной перепалки утвердил назначение.

Решение начать переговоры предотвратило принятие жестких антианглийских мер, федералисты в последний момент отвели топор республиканцев и взяли дело урегулирования в свои руки. «Более дерзкого партийного маневра еще не было, — писал позже Джефферсон, — ибо это действительно попытка партии, обнаружившей утрату большинства в одной палате, принять с помощью исполнительной власти и другой палаты закон, который авторитетом договора свяжет руки враждебному органу (палате представителей. — В. П.) в его стремлении ограничить торговлю государства-патрона».

В официальных инструкциях государственного секретаря Рэндольфа перед Джеем ставились следующие задачи: заключить торговый договор на условиях неограниченного допуска американских судов в Британскую Вест-Индию, признания принципа «свободное судно — свободный груз» и исключения продовольствия из числа контрабандных товаров; добиться полного подтверждения условий мирного договора 1783 года, касающихся фортов на северо-западной границе, возвращения беглых рабов или компенсации за них, а также возмещения ущерба, причиненного американской торговле королевским указом от 6 ноября 1793 г. Другой набор рекомендаций составили Гамильтон, Кинг, Кэбот и Эллсворт. Они были готовы признать тоннажные ограничения на американские суда, допускаемые в Вест-Индию, а также пожертвовать правилом о «свободных судах». В них многозначительно отсутствовал пункт о возвращении беглых рабов, а в качестве запасной уступки англичанам резервировался отказ от повышения пошлин на английские суда и товары. Это были явно партийные рекомендации.

После отъезда Джея за океан в политической жизни наступило относительное затишье. Конгресс придерживается твердого нейтралитета, писал Гамильтон вдогонку Джею, Франция последовала примеру Англии и стала перехватывать американские суда, направляющиеся к английским берегам, что несколько успокоило антибританские страсти.

В июне Гамильтона ждал еще один успех. Специальный комитет палаты представителей по его собственному настоя-

нию провел тщательную проверку казначейства и был вынужден полностью реабилитировать всеведущего казначея. Однако он не собирался почивать на лаврах — было ясно, что исход партийной борьбы решится не здесь. «Если миссия Джея окажется успешной, — выражал общие надежды федералистов Эймс в письме Гамильтону, — боюсь, наши милые демократы утратят слишком много влияния, чтобы быть надежными защитниками от „поползновений аристократии“». Гамильтон откладывает свою отставку из-за «событий последнего времени, которые сделали перспективу мира очень проблематичной», как он объясняет Вашингтону. Урегулирование отношений с Англией было слишком важным делом, чтобы бросить его на полпути и даже чтобы полностью передоверить многоопытному Джею.

Следить за ходом самих переговоров и быстро реагировать на изменения в обстановке не представлялось возможным уже в силу самого расстояния — вести из Европы шли в среднем около месяца. Однако у Гамильтона была прямая связь с Гренвиллем через Хаммонда, и он мог использовать ее для блокирования возможных опрометчивых, на его взгляд, шагов Джея. Одним из них могла стать попытка припугнуть Англию присоединением США к странам так называемого второго «вооруженного нейтралитета» — Швеции и Дании, которые планировали создать лигу для вооруженной защиты нейтральной торговли от разбойничьих рейдов английского флота. Угроза присоединения США к этой лиге в действительности была фиктивной, так как правительство Вашингтона уже отвергло эту идею в принципе. Но она вполне могла служить средством дипломатического шантажа в переговорах с Англией, что и предусматривалось инструкциями Рэндольфа — в случае крайней необходимости.

Дабы не «спугнуть» Англию, Гамильтон решил выбить этот козырь из рук Джея. В начале июля он заверил Хаммонда, что Америка не присоединится к странам «вооруженного нейтралитета», ибо это «противоречит ее подлинным интересам». Хаммонд правильно истолковал слова генерального казначея как достоверное выражение истинных намерений кабинета и незамедлительно сигнализировал в Лондон. В итоге Гамильтон, как выразился К. Бауэрс, «стоя за Джемем, держал зеркало, в котором отражались карты американской стороны для обозрения обходительного и улыбающегося Гренвилля». Этот поразительный, граничащий с изменой ход Гамильтона служит первым пунктом обвинения в пособничестве Англии, справедливо предъявленного ему историками. Вопрос состоит лишь в определении размеров ущерба.

Американские историки, начиная с профессора С. Бемиса, в 20-х годах нашего столетия впервые осветившего эти события, традиционно считали, что действия Гамильтона резко подорвали позиции Джея на переговорах и тем самым значительно усугубили унижительный характер заключенного договора. Скрупулезные и фундаментальные исследования последнего времени показали, что «неосмотрительность» Гамильтона имела более скромный эффект. Сама угроза присоединения Соединенных Штатов к странам «вооруженного нейтралитета» не была для англичан столь значительной, чтобы заставить их пойти на серьезные уступки. Создатель первого «вооруженного нейтралитета» — Россия стала к тому времени союзницей Англии, а без нее военно-морская мощь Швеции и Дании, даже при поддержке США, не имевших тогда военного флота, не могла обеспечить целей «вооруженного нейтралитета», и это отлично понимали в Лондоне. Гренвилль имел на переговорах слишком прочные позиции, чтобы дрогнуть под угрозами Джея, к которым последний, кстати, и не стремился прибегать. Это объяснялось не только военно-экономическим превосходством Великобритании, но и тем, что правительство Питта слишком хорошо сознавало как степень торгово-экономической зависимости Соединенных Штатов от Англии, так и решающее воздействие этой зависимости на политику федералистов. Пока власть в заокеанской республике принадлежала этой партии во главе с осмотрительным реалистом Вашингтоном и энтузиастом англо-американского сближения Гамильтоном, Лондону — при условии что он воздержится от крайностей — опасаться было нечего.

Поэтому исход переговоров был предопределен. Нет ничего удивительного в том, что Джей не добился выполнения даже федералистской программы, хотя подошел к этому довольно близко. Англичане согласились в течение двух лет эвакуировать свои форты на северо-западной границе, создать смешанные арбитражные комиссии для рассмотрения вопроса об ущербе, нанесенном американской торговле, и открыть свою Вест-Индию для американских судов водоизмещением не выше 70 т. А главное — была ликвидирована непосредственная угроза войны.

Но за это Джею пришлось заплатить унижительно высокую цену: запрет на секвестр английского долга, 12-летний мораторий на повышение таможенных пошлин на английские суда и товары, отказ от компенсации за беглых рабов, запрет на экспорт американского сахара, хлопка, кофе, какао и патоки в Вест-Индию, отказ от принципа «свободное судно — свободный груз», сохранение частных земельных владений англичан в Северной и Южной Каролине, туманное определение контра-

банды, которое при желании можно было распространить и на продовольственные товары.

Нетрудно заметить, что эти условия ущемляли в первую очередь интересы плантаторов и отношений с Францией и лишь во вторую — торгово-промышленной буржуазии. «Договор Джея» был заключен между Англией и федералистской буржуазией США за счет Франции и аграриев-республиканцев. Это обещало ему дурную славу и трудную судьбу.

Англо-американские переговоры находились еще в самом разгаре, когда в Западной Пенсильвании разразился так называемый «бунт из-за виски», вызванный налогом на спиртные напитки и винокурни. Стихийно образовавшиеся отряды терроризировали и изгоняли сборщиков налогов, жгли дома законопослушных земляков и налоговые списки, а в конце июля взяли штурмом усадьбу главного окружного инспектора. Это был настоящий бой — с жертвами с обеих сторон. 1 августа сообщение о происшедшем достигло Филадельфии.

Гамильтон отреагировал мгновенно. Мало того, что налог на виски был самым доходным из всех внутренних налогов, бунт представлялся ему порождением «общего духа беспорядка», как он писал Генри Ли, посеянного республиканской оппозицией. К тому же это было первое серьезное антиправительственное выступление со времени принятия новой конституции. Поэтому Гамильтон расценил его как решающее испытание молодого государства: подавление бунта надлежало превратить в убедительную демонстрацию всеокрушающей государственной мощи. Речь идет о том, «сможет ли государство отстоять себя», говорил он президенту, настаивая на немедленном использовании военной силы.

Вашингтон не нуждался в уговорах — восстание Шейса было слишком свежо в памяти. Он оценил происшедшее как «удар по основам закона и порядка» и объявил о своей решимости «пойти так далеко, как только позволяют конституция и законы». Самое большее, что позволяла в таких случаях конституция, — это созыв ополчения соседних штатов. В отсутствие Нокса, отлучившегося для присмотра за своими землями, Гамильтон с согласия Вашингтона взял на себя обязанности военного министра и с энтузиазмом принялся готовить карательную экспедицию.

Как всегда в критические моменты, из-под его пера вперемежку с циркулярами и ведомостями вылетают полемические статьи, на сей раз — под подписью «Туллий». Псевдоним должен был напоминать о борьбе Цицерона против заговора Катилины. Доводы «Туллия» просты: налог на виски отождествляется с законами и конституцией, конституция — со священной волей народа, а сопротивление налогам соот-

ветственно — с подрывом прав большинства. Вопрос, оказывается, сводится к тому, «будет ли править большинство».

Пользуясь случаем, Гамильтон растолковывает соотечественникам смысл республиканской добродетели, заключающийся в законопослушании. «Большая и хорошо организованная республика вряд ли может утратить свою свободу иначе как по причине анархии, к которой ведет неуважение к законам». «Государство, — демонстрирует «Туллий» железный кулак буржуазного правопорядка, — подразумевает контроль закона или силы. Если закон разрушается, его заменяет сила».

В конце октября 12 тысяч «стражей законности» (из расчета по два на каждого исчисленного бунтовщика) во главе с Вашингтоном и Гамильтоном выступили в западную Пенсильванию, дабы сокрушить «гидру анархии», как выразился генеральный казначей. Объединенный отряд ополчения состоял преимущественно из зажиточных филаделфийцев, а также жителей Нью-Джерси и Вирджинии, среди которых были и республиканцы. «Виски бойз» поначалу были настроены решительно: «Мужчины, взращенные на виски, уничтожат армию водохлебов». Однако при виде столь превосходящей силы неприятеля фермеры мгновенно рассеялись. «О мятеже кричали, против него вооружались, но нигде не смогли обнаружить», — насмешничал Джефферсон в письме Монро. Перед друзьями он не скрывал своего сочувствия пенсильванцам, называл налог на виски «бесчеловечным», а действия мятежников просто «небольшим буйством».

Не встретив и следа сопротивления, Гамильтон и сменивший Вашингтона губернатор Вирджинии Г. Ли погнали свой отряд через Аллеганские горы, чтобы водрузить знамя победы в самом сердце мятежного Запада. Гамильтон лично руководил допросами пленных, но все его рвение оказалось напрасным: главные зачинщики сумели скрыться, «преступную» связь видных республиканцев с мятежниками доказать не удалось. Из пойманной «мелочи (числом 150 человек. — В. П) лишь двое бедных негодяев, — писал Гамильтон, — были осуждены на смерть: один — почти идиот, другой — жалкий попутчик в деле мятежа». Вашингтон помиловал обоих, на том великий поход и кончился.

Генеральному казначею положительно не везло с военной славой. Республиканская пресса открыто высмеивала незадачливого полководца и «крестовый поход кредиторов, спекулянтов и банковских директоров» против бедняков. Гамильтон молча сносил оскорбления («Давно уже я научился ни в грош не ставить «общественное мнение», — писал он Вашингтону), оставив за собой решающий ход. Ему удалось убедить президента и даже Рэндольфа в том, что бунт развязали де-

мократические республиканские общества Пенсильвании.

Вашингтон уже со времен Женэ относился неприязненно к этим франкофильствующим организациям, и последние беспорядки переполнили чашу его терпения. В ноябрьском послании конгрессу он описал возникновение и подавление бунта, связав его с деятельностью «антигосударственных самочинных обществ». Цель Гамильтона была достигнута. Проклятие президента рикошетом ударяло по республиканской оппозиции в целом, к которой эти общества примыкали с левого фланга. Для республиканцев направление удара было очевидным. «Расчет делался на то, — говорил Мэдисон, — чтобы связать демократические общества с отвращением к бунту, республиканцев в конгрессе с самими обществами, а президента выставить напоказ как главу враждебной им партии». Продолжая свято верить в то, что он выше всех партийных распрей, Вашингтон на деле все теснее сближался с федералистами.

Демарш президента заставил Джефферсона на время забыть о хозяйственных делах. «Осуждение демократических обществ, — писал он Мэдисону, — один из чрезвычайных актов наглости фракции монократов, которые мы наблюдаем в таком множестве. Остается удивляться, как президент мог позволить себе стать инструментом такого наступления на свободу дискуссий, слова и печати». Именно с этого момента он начинает всерьез сомневаться в мудрой беспристрастности Вашингтона.

Новые козни «монократов» растравляли старые обиды, которые тяжким грузом разрушенных надежд осели в душе Джефферсона. Страну по-прежнему вели не в том направлении. «Я напрасно искал оправдания вооружению одной части общества против другой, объявлению гражданской войны, долготерпению перед пинками и издевательствами наших врагов и выступлению из-за пустяков против наших друзей; оправдания увеличению государственного долга на миллионы и т. д. и т. п....». Отшельник Монтичелло ничего не забыл, но, скорбя о том, до чего довели страну федералисты, отнюдь не рвался в бой — «свою отставку я не променяю на все блага вселенной». Он надеется на изменение соотношения сил в конгрессе, на скорый уход со сцены Гамильтона и подспудно наводит Мэдисона на мысль о «более величественном и действенном poste» для него — президентском.

Что же касается Гамильтона, то для него год заканчивался неплохо. От Джея пришло сообщение о благополучном завершении переговоров, в стране установился порядок, оппозиция приумолкла. Однако пять лет государственной службы оставили его с «чистыми и пустыми руками», как

острил Эймс, предельно измотанным и обремененным все растущей семьей. Особенно тяготило затянувшееся безденежье. Этого никак не мог понять Талейран, сблизившийся с Гамильтоном за время своей двухлетней эмиграции в Америке. Часто видя поздней ночью свет в кабинете Гамильтона, он задавался вопросом: как может этот человек, которого он ставил потом вровень с Наполеоном, сидя на миллионах, сам оставаться в стесненных обстоятельствах?

Когда создавалась американская республика, подразумевалось, что управлять ею будут люди обеспеченные, привлекаемые на службу отечеству, подобно древним римлянам, не жадной обогащения, а чувством общественного долга. Однако вскоре богатых энтузиастов поубавилось, а прочие явно не могли удовлетвориться тем, что имели. Рэндольф, например, человек среднего достатка, за годы службы наделал долгов на 50 тысяч, которые его потомки выплачивали почти 100 лет. Трехтысячного жалования Гамильтона не хватало даже на светские расходы, и ему грозила судьба Рэндольфа. Выбора уже не оставалось, нужна была по крайней мере передышка — и обстановка тому благоприятствовала. «Пусть моя отставка вас не тревожит, — писал Гамильтон свояченице Анжелике Чёрч, с которой, как уверяли злые языки, его связывали не только родственные узы, — в обществе все в порядке. С бунтом благополучно покончено. Государство укрепило свою репутацию и мощь, а наши финансы — в самом цветущем состоянии. Внеся вклад в укрепление национальных финансов, я удаляюсь, чтобы немного заняться своими собственными, которые явно в этом нуждаются».

Оставалось только сдать дела Оливеру Уолкоту и сделать последние распоряжения. Гамильтон сочиняет прощальное послание — план выкупа государственного долга. Противники не верили своим глазам — главарь «монократов» отказывается увековечить господство кредиторов! Тем не менее они дружно высказались против его проекта, ибо он был рассчитан на 30 лет и предусматривал сохранение всех внутренних налогов до 1801 года, а налоги, разумеется, были еще менее популярны, чем государственный долг. Между тем в действиях Гамильтона не было ничего сверхъестественного. Политическая цель государственного долга как цемента союза была достигнута, государственный кредит обрел устойчивость, и теперь можно было вернуться к ортодоксальной экономической мудрости. Доклад завершался настоящим гимном «бессмертному» кредиту и наставлением беречь его, как зеницу ока.

Последний доклад Гамильтона был представлен конгрессу 16 января 1795 г., а 31 января генеральный казначей стал частным гражданином американской республики. Впереди

спокойная доходная юридическая практика и маленькие радости тихой жизни, которым уже давно предавались многие друзья военных лет. Бывший адъютант Вашингтона Джеймс Макгенри пишет ему: «Я строил дома, обрабатывал поля, сажал деревья и сады, забавлялся небольшими эссе, раз в год писал стишки для удовольствия жены, время от времени обзаводился детьми и всегда чувствовал себя счастливым. Почему бы и тебе не заняться тем же?» Роберт Трауп предлагал другое — спекуляции государственными бумагами с привлечением иностранного капитала. «Ты же знаешь, что без состояния человек — ничто в этой жизни».

Ответ Гамильтона многое проясняет в его планах и настроениях. Он отказывается от предложения Траупа, но не из принципиального отвращения к спекуляции, а «потому, что на свете всегда должны быть дураки, которые жертвуют личными интересами во имя общественных, получая взамен поношения и неблагодарность; потому, что, как нашептывает мне тщеславие, я должен быть одним из этих дураков и держать себя в состоянии, наиболее пригодном для оказания услуг... Предстоящая игра может оказаться решающей. Ставкой в ней может стать не что иное, как подлинная свобода, собственность, порядок, религия и, конечно, головы. Я сделаю все возможное, чтобы защитить твою и свою... Быть может, это чрезмерная утонченность, это гордость, я знаю! Но она есть часть моего плана быть верным самому себе».

Нет, не для Гамильтона была тихая гавань семейного счастья. Даже в час удаления от дел он не мыслил себя вне политики. Слишком много вложил он в это государство, чтобы безучастно наблюдать за его дальнейшим курсом. Борьба не окончена, честолюбие не удовлетворено. Траупу все это казалось нелепым донкихотством: «Как я уже не раз говорил, вашим друзьям когда-нибудь придется схоронить вас за свой счет».

Страна между тем уже стояла на пороге новых потрясений, которые потребовали от Гамильтона предельного напряжения сил.



«Договору Джея» не везло с самого начала. Судно, на котором его текст переправлялся в Америку, перехватили французы, и предусмотрительный курьер выбросил его за борт. Копия в пути тоже задержалась и достигла Филадельфии лишь 7 марта 1795 г. — через три дня после роспуска потерявшего терпение конгресса. «...Договор должен говорить сам за себя», — писал Вашингтону Джей, оставшийся в Англии для лечения. Это его решение оказалось весьма удачным, оно

сохранило Джею не только здоровье, но и, возможно, саму жизнь. Договор, действительно, говорил сам за себя — его тягостные условия превзошли худшие опасения федералистов.

Гамильтон сразу же принялся спасать соглашение, хотя в разговоре с Талейраном окрестил его «отвратительным», а самого Джея — «старой бабой». Винить, впрочем, нужно было самого себя. Когда терзаемый сомнениями Вашингтон спросил его совета, он был уже во всеоружии и ответил подробным, на сорока страницах разбором договора.

Гамильтон использовал всю свою изобретательность, чтобы доказать его приемлемость: серьезное возражение, в сущности, вызывает только статья 12, касающаяся запрета на экспорт, писал он, ибо никто не может запрещать Соединенным Штатам экспортировать свою собственную продукцию. В целом же важнейшее значение соглашения, подчеркивал экс-казначей, в том, что оно «закрывает основные противоречия между двумя странами.., дает нам возможность избежать, наконец, вовлечения в ужасную войну, разрушающую ныне Европу, и сохранить для себя состояние мира на значительный срок».

Вместо того чтобы вдаваться в подробности унижительных немедленных последствий договора, Гамильтон умело акцентирует тему долгосрочных выгод страны. «По здравом размышлении, величайший интерес страны во внешних сношениях — это мир. Степень торговых преимуществ, приобретаемых по тем или иным соглашениям, гораздо менее существенна. В условиях мира сама сила обстоятельств позволит нам быстро продвинуться в торговле. Война, разразись она сейчас, нанесет глубокую рану нашему росту и процветанию. Если же мы избежим войны еще 10—12 лет, то сможем встретить ее тогда с большими силами, заявить и энергично отстоять любые справедливые притязания на большие торговые преимущества, чем те, которыми обладаем сейчас». Вашингтон был «чрезвычайно удовлетворен» доводами бывшего адъютанта.

При ретроспективном взгляде Гамильтон во многом оказался прав. «Договор Джея» вовсе не поработил Соединенные Штаты. Издержки «худого мира» с лихвой компенсировались преимуществами нейтральной торговли. Общий ее объем за 1791—1800 годы увеличился на 260% и превысил 200 миллионов долларов. Экспорт вырос с 19 до 94 миллионов, причем более половины его приходилось на реэкспорт — посредническую торговлю между европейскими государствами и их колониями. Это было подлинно «золотой век» торгового мореплавания США, как называют его потом историки. «В то время как великие торговые нации ссорились из-за мировой фрахтовой торговли, — писал американский экономист

Э. Богарт, — Америка утащила кость, за которую они грызлись».

С другой стороны, резкий проанглийский крен, зафиксированный «договором Джея», неминуемо должен был обострить отношения с Францией. Угроза одной войны сменялась угрозой другой. Но все это выявилось несколько позже.

Созванный на специальную сессию сенат одобрил договор 20 голосами против 10 с оговоркой о статье 12. Сенаторы торжественно поклялись хранить обсуждение в тайне, но нашлись республиканцы, которые передали текст договора в редакции своих газет. Страна, и без того взбудораженная пугающими слухами, буквально взорвалась. Удар пришелся по самому чувствительному месту — молодому национальному самолюбию. Для широких масс договор поставил точки над «i»: федералисты теперь полностью ассоциировались с раболепием перед ненавистной Англией, а республиканцы — с продолжением героической традиции освободительной борьбы.

4 июля — в день независимости — отряды кавалерии в столице разгоняли демонстрации вокруг пылающих чучел Джея. Депутация во главе с А. Далласом и судьей Т. Маккином торжественно сожгла текст договора перед домом английского посла. Дело дошло до уличных драк и поединков. Гамильтон также не остался в стороне: вызвал на дуэль Дж. Никольсона — бывшего морского офицера, члена нью-йоркского Демократического общества, который обозвал его «подстрекателем-тори». Никольсон извинился, но столкновения с «большим зверем» — народом Гамильтон не избежал. На одном из митингов в Нью-Йорке его забросали камнями, прежде чем он заговорил. Окровавленный оратор успел лишь произнести: «Если вы прибегаете к таким сокрушительным аргументам, мне остается только уйти». Кинг острил: «Они хотели вышибить вам мозги, чтобы сравняться с вами». Но Гамильтону было не до острот. Волнения настолько встревожили его, что, не полагаясь на нью-йоркское ополчение, он попросил преемника Нокса Тимоти Пикеринга отменить приказ о выступлении в поход регулярных воинских частей. Лучше гражданская война, чем война с Англией. Это и было сделано. Еспышки насилия даже играли на руку федералистам, принявшим позу защитников закона и государства. «Договор пройдет, невзирая на чернь», — упорствовал Эймс.

Республиканцы атаковали «договор Джея» со своих принципиальных позиций. Мало того, что он по всем статьям ущемлял материальные интересы плантаторов, договор лишал республиканцев самого действенного оружия против Англии — возможности торговой дискриминации и к тому же подрывал если не букву, то дух союза с Францией.

Джефферсон, только что давший обет не читать газет, опять оказался вовлеченным в закрытую политическую дискуссию. В письмах он называл договор «союзом Англии и англоманов против конгресса и народа Соединенных Штатов», «памятником глупости или предательства». «Говорят, — выражал он мнение земляков и свое собственное, — что, пока все были заняты в трюме починкой парусов, срашиванием концов — каждый своим делом, а капитан сидел в каюте с вахтенным журналом и картой, мошенник-лоцман завел корабль во вражеский порт». В данном случае Джефферсон не имел в виду лично Гамильтона, однако, зная он все обстоятельства подготовки и заключения «договора Джея», он бы наверняка еще до профессора Бемиса заключил, что это был, по существу, «договор Гамильтона». Пока вирджинец по-прежнему воздерживался от непосредственного вовлечения в политическую борьбу, ограничиваясь приватными выражениями солидарности с делом республиканцев.

Их пресса неистовствовала, особенно выделялся голос «Катона» — Роберта Ливингстона. Гамильтон решил нанести массированный ответный удар, чтобы сразу подавить огневые точки противника. По примеру «Федералиста» он создал синдикат под названием «Камиллус» в составе Кинга, Джея и себя самого. Выбор псевдонима был, как всегда, не случаен: именно этот герой Плутарха отогнал когда-то галлов от ворот Рима. Из 38 статей «Камиллуса», вышедших с конца июля 1796 года, Гамильтон написал 28, задуманных как энциклопедия внешнеполитического реализма, очищенного от эмоций и морализирующих сентенций. Здесь Гамильтон проявляет редкую изощренность и красноречие для доказательства одной простой мысли: США — еще слабая страна и потому должны жить строго по средствам, тщательно соизмеряя свои желания и возможности; роскошь эмоциональных импульсов и завышенных притязаний им пока не по карману. «Мощное государство зачастую может себе позволить риск надменно-резкого тона в сочетании с правильной политикой, но государству слабому это практически недоступно, без того чтобы не впасть в опрометчивость. Мы относимся к этому последнему разряду, хотя и являемся зародышем великой империи».

Гамильтон не устает подчеркивать, что сие прискорбное состояние для США не вечно, дайте только срок — и будущая империя заговорит совсем иначе: «Через 10—20 лет мира мы сможем в наших национальных решениях взять более высокий и повелительный тон», а пока «надо напрягать всю нашу ловкость и осторожность, чтобы удержаться от войны как можно дольше и оттянуть до поры зрелости ту борьбу, для которой

детство плохо приспособлено... Мы должны быть достаточно разумны, чтобы видеть, что сейчас неподходящее время для пробы сил».

Тем более, что и глобальный «баланс сил» складывается в пользу Великобритании; на ее стороне не только Испания и Австрия, но и другая «величайшая держава Европы — Россия, славящаяся упорством в достижении своих целей». Она может стать «огромной гирей на чаше весов» европейских войн, ибо и самой Франции, прозорливо замечает Гамильтон, «разумеется, не справиться с Россией». В заключение «Камиллус» вдохновенно воспекает компромиссы — «отдушину для национальной гордости», «мост, по которому противоборствующие страны могут отступить с честью и без кровопролития с поля соперничества».

Эти взвешенные рассуждения «Камиллуса» стали в США каноническими, но в целом здесь гораздо больше, чем в «Федералисте», ощущаются чисто партийные, конъюнктурные моменты. Сказывалось крайнее напряжение политической борьбы. Гамильтон обвиняет республиканцев в «разжигании народного недовольства» и «использовании его в своекорыстных целях»; грозит гражданской войной, которая неизбежно вспыхнет в случае войны с Англией «ввиду происков некоей партии, глубоко зараженной принципами якобинства». Он едко высмеивает жалобы республиканцев Юга на «аморальное» поведение Англии в вопросе возвращения беглых рабов — гораздо аморальнее «вернуть в рабство людей, уже получивших освобождение».

Удары «Камиллуса» сыпались с беспощадной методичностью в течение всей второй половины 1795 года. Вашингтон одобрительно кивал головой, но некоторые из федералистов сочли рвение Гамильтона чрезмерным. «Орел Юпитера держит в своих когтях молнии, но мечет их не в титанов, а по воробьям и мышам», — изрек Эймс. По достоинству оценили «Камиллуса» и противники. Находясь под свежим впечатлением от статей, Джефферсон дал самую лестную характеристику талантам своего врага, которые, впрочем, он всегда ценил высоко. «Гамильтон — это подлинный колосс антиреспубликанской партии, он один стоит целого войска, — писал он Мэдисону. — Они (федералисты. — *В. П.*) уже очутились в ущелье, где с ними можно покончить, но чрезмерная успокоенность республиканцев позволит его талантам и неутомимости вытащить их оттуда. С нашей стороны он встречает лишь посредственный отпор; откровенно говоря, когда он вступает на сцену, никто кроме вас не может противостоять ему. Ради бога, возьмитесь за перо и дайте фундаментальный ответ». Но Мэдисон на сей раз не стал вступать в единоборство. Недавно

обретенное супружеское счастье с милой Полли Тодд совсем не располагало к столь изнуряющим баталиям.

При всех своих полемических достоинствах «Камиллус» не мог решить исход борьбы вокруг «договора Джея». Весь июль Вашингтон не решался поставить под ним свою подпись, что положило бы конец формальностям. Под влиянием Гамильтона и других видных федералистов он, наконец, склонился к подписанию, но в этот самый момент пришло известие о новом королевском указе от 25 апреля, приравнивавшем продовольствие к контрабанде и фактически запрещавшем экспорт американского продовольствия во Францию.

Недальновидность и бесцеремонность англичан привели в отчаяние даже Гамильтона. «Английское правительство — такие же идиоты или мерзавцы, как наши якобинцы!» — взорвался он и в сердцах посоветовал Вашингтону отложить ратификацию до отмены злополучного указа. Вашингтон через Рэндольфа сообщил об этом решении Хаммонду. Тот предложил отменить указ... на время ратификации. Возмущенный цинизмом лощеного молокососа, Вашингтон отшвырнул все бумаги и 15 июля непроницаемо-мрачный скрылся в Маунт-Верноне. Федералисты подверглись пытке мучительного ожидания. «Если отсрочка завершится отказом, мы пропали, — паниковал Д. Кэбот. — Вся существующая система погибнет». Влиятельный Эллсворт предсказывал: «Если президент не решит быстро и правильно или решит неверно, счастливый жребий изменит ему». Однако энергичный преемник Гамильтона Оливер Уолкот, в отличие от прочих, не терзался, а действовал. 30 июля он сообщил Гамильтону: «Я нашел нить, которая выведет нас из любого лабиринта». Что это была за нить?

Несколькими месяцами раньше английская разведка перехватила секретное донесение французского посланника в США Д. Фосе. Из него следовало, что государственный секретарь Рэндольф не только доверял Фосе государственные секреты, но и просил денег якобы для поддержки «бунта из-за виски». В критический для судеб договора момент Хаммонд ознакомил своих доверенных лиц из партии федералистов Уолкота и Пикеринга с этим компрометирующим Рэндольфа и Францию документом. Он рассчитал верно. Министры немедленно вызвали Вашингтона из Маунт-Вернона и рассказали ему все. Президент допросил, а затем сместил Рэндольфа и 11 августа принял решение подписать договор с Англией. В конце августа он уже поручил Гамильтону, и в отставке остававшемуся его главным советником, подготовить проект послания конгрессу с обоснованием «договора Джея», а также спросил его мнение относительно будущего состава кабинета.

Историки расходятся в оценке причин этого поворота Вашингтона. Интересно, что 10 августа Гамильтон через Уолкота вновь рекомендовал президенту подписать договор, отступив от своей предыдущей позиции. Учитывая влияние Гамильтона на Вашингтона, это вполне могло быть решающим толчком, а дело Рэндольфа — лишь последней каплей.

Вашингтон вновь бросил свой еще огромный авторитет на чашу весов в пользу федералистов, но и его уже не было достаточно. Оппозиционная пресса неустанно размывала ореол «отца страны». «Праведный гнев уязвленного и оскорбленного народа не достиг глаз Святого Вашингтона», — саркастически писала газета «Аврора». Республиканцы не собирались сдаваться. Обе партии предельно драматизировали ситуацию. «Подлинное спасение нашей страны зависит от поражения договора», — уверял Д. Бэкли, правая рука Мэдисона, нью-йоркского республиканца де Вит-Клинтона. Неудивительно, что партийная вражда достигла небывалого доселе эмоционального накала. «Принципиальная разница между республиканцами и монархатами настолько велика и очевидна, — писал Джефферсон Джайлзу в декабре 1795 года, — что держаться середины было бы также аморально, как болтаться между партиями честных людей и мошенников». Федералисты, естественно, так же смотрели на республиканцев.

Последний шанс сорвать договор представился республиканцам в конце февраля 1796 года, когда палата представителей приступила к рассмотрению вопроса о выделении ассигнований на создание арбитражных комиссий во исполнение «договора Джея». Здесь и развернулось решающее сражение. Палата затребовала от президента все документы, относящиеся к заключению договора. Вашингтон по совету Гамильтона наотрез отказался предоставить их — к восторгу федералистов. «Будь прокляты его добродетели, они губят страну!» — вырвалось у Джефферсона в частном письме. В ответ первый в истории США кокус (совещание партийной фракции) республиканского руководства в палате постановил отказать в ассигнованиях. 15 апреля Мэдисон внес соответствующую резолюцию. Отказ в ассигнованиях означал бы торпедирование договора.

Разгорелись ожесточенные двухнедельные дебаты, которые вели, с одной стороны, Мэдисон, Галлатин, Ливингстон и Джайлз, с другой — Сэдживик и Грисвольд. Одновременно обе фракции пытались завоевать общественность путем митингов, петиций и т. д. Профедералистские деловые круги не остановились перед прямым экономическим бойкотом и шантажом. Они нагнетали страхи перед угрозой войны и призывали к верности президенту. В результате этой

психологической обработки уверенный перевес республиканцев сократился «путем перебежек и отлыниваний до восьми-девяти голосов» и «продолжал таять вплоть до решающего дня», жаловался Мэдисон Джефферсону 23 апреля.

Исход борьбы все же оставался неясным, и Гамильтон даже подготовил план действий на случай отказа палаты в ассигнованиях: президент заявляет протест палате — сенат рекомендует ему приступить к исполнению договора — Вашингтон приносит извинения Англии. «От этого зависит слава президента и безопасность конституции. Здесь все пойдет в ход», — отмечает он.

Наконец, 29 апреля было проведено первое голосование — 49 против 49! Напряжение достигло предела. И тогда пробил «звездный час» Фишера Эймса. До синевы изнуренный долгой болезнью, он все же добрался до конгресса и вложил все свое знаменитое красноречие в короткую и страстную проповедь, потрясшую собрание. Он призвал конгрессменов «остановиться и подумать о неизбежных и очевидных опасностях прежде, чем шагнуть в бездонную черную пропасть». Отвергнуть договор — значит оставить пограничные форты в руках англичан — подстрекателей индейцев. И тогда «тму ночи озарит пламя пожарищ ваших жилищ. Ты отец — кровь сыновей оросит твое кукурузное поле. Ты мать — военные кличи нарушат покой младенца в колыбели... Сегодня мы должны держать ответ перед вдовами и сиротами, которых породит наше решение, перед несчастными заживо сожженными, перед своей страной, совестью и самим богом». Сентименты разбавлялись метафоризированными подсчетами грядущих барышей: «Огромный урожай нашего нейтралитета — всего лишь семена, которые, если их посеять, дадут не поддающуюся измерению жатву процветания». И напоследок — пронзительные, проникающие в сердце слова: «Моя непосредственная заинтересованность в происходящем меньше, чем у кого бы то ни было. Ни у кого из вас нет меньших шансов, чем у меня, быть свидетелем всех последствий. И все же, если ваш голос поднимется против, даже я, сколь ни слаба и почти сломлена моя жажда жизни, могу пережить правительство и конституцию своей страны».

«Боже, как он велик!» — прослезился кремнеподобный Джон Адамс, а с ним и многие другие. На следующий день палата одобрила выделение ассигнований 51 голосом против 48. По наивно-романтизированной версии этих событий победа федералистов целиком и полностью является заслугой «златоуста» Эймса. В действительности же дело решали не столько красивые слова, сколько некрасивые дела, ибо за кулисами шла отчаянная схватка за несколько голосов колеблющихся

республиканцев Нью-Йорка, Пенсильвании и Мэриленда, которые держали баланс голосования. В ход пускались любые средства — от подкупа до шантажа. Ф. Мулленберга, например, «достали» через сына, влюбившегося в дочь одного федералиста. «Если вы не отдадите нам свой голос, ваш сын не получит мою Полли», — предупредил один родитель другого. Мулленберг выбрал счастье сына. Другие просто не явились на голосование. Семь перебежчиков-республиканцев против трех у федералистов решили исход схватки.

Причина поражения, с горечью писал Мэдисон в Монтичелло, заключается прежде всего в «нестойкости, глупости, порочности и дезертирстве наших друзей». При всем этом голосование показало, что в конгрессе сложились две очень сплоченные партийные группировки: 93% федералистов голосовало против 87% республиканцев, доля независимых беспартийных членов упала с 42% в 1790 году до 7% в начале 1796 года. Сплачивание республиканцев реально возглавлял Мэдисон, который в то время оставался действующим руководителем своей партии. Джефферсон был скорее символическим лидером — образ всеведущего закулисного режиссера, руководящего всеми действиями из Монтичелло, существовал лишь в воображении его самых лютых врагов.

Горечь поражения не затуманила проницательного взгляда Джефферсона и не подорвала его оптимизма. Он видел, что победа далась федералистам дорогой ценой: их покинули последние южане, а также значительная часть судовладельцев, промышленников и торговцев, задетых условиями «договора Джея». Кроме того, федералисты оказались дискредитированными в глазах широких масс как прислужники ненавистной английской короны, а популярность республиканцев возросла. Именно к этому времени складывается широкая коалиция республиканской партии — к плантаторам и фермерам начинает примыкать часть городской буржуазии и ремесленников, страдающих от английской торгово-промышленной конкуренции. В долгосрочной перспективе все это должно было дать свои плоды. В получившем впоследствии широкую огласку письме Джефферсона своему старому итальянскому приятелю Филиппу Маццей (апрель 1796 г.) чувство оптимизма сочетается с прогрессирующим разочарованием в Вашингтоне. «Вас хватил бы удар, если бы я назвал имена отступников, предавшихся этим ересям (т. е. монархическому англофильству. — В. П.), людей, бывших Самсонами на поле брани и Соломонами в государственных делах, но оказавшихся преданными продажной Англией. Короче, мы сможем сохранить свободу, которую получили, только неустанными трудами и лишениями. Но мы сохраним ее: перевес сил и средств на

стороне добра столь велик, что исключает опасность применения против нас силы. Мы должны лишь пробудиться и разорвать лилипутские веревки, которыми они связали нас во время первого сна после тяжелых трудов». Нынешняя сила федералистов, верно предвидел Джефферсон, вскоре обернется их главной слабостью. «Ничто не может поддержать их, кроме колоссальных заслуг президента перед народом, — писал он в июле Монро, — и с его отставкой преемник, если окажется монократом, будет опрокинут республиканскими убеждениями избирателей, а если республиканцем, то, конечно, даст ход этим убеждениям и восстановит гармонию между правителями и управляемыми. А пока — терпение...»

Джефферсон ошибался в одном — надеясь, что правое дело восторжествует без его непосредственного участия. В год выборов республиканцы не собирались держать втуне огромный политический капитал — имя Томаса Джефферсона. Репутация революционных лет, достойная служба во Франции, отождествление с делом республиканизма в 1790—1793 годах и даже последующий выход из правительства — все превращало его в наиболее популярного лидера партии.

Об этом твердили ему Мэдисон, Монро, Джайлз и даже А. Бэрр, совершивший далекое паломничество из Нью-Йорка в Монтичелло. Джефферсон в письме Рутледжу смиренно утверждал: «Тщеславие мое давно умерло..., я не рвусь править людьми». Он просит только одного — дать ему возможность продолжать «сажать горох, зерно и прочее...». Похоже на категорическое отречение? Но процитируем то же письмо дальше: «...до тех пор, пока наши восточные друзья (федералисты. — В. П.) будут бороться со штормом, который собирается над нами, и, возможно, потонут в нем. Сейчас, конечно, не время домогаться руля».

Надвигавшимся штормом было неминуемое резкое обострение отношений с Францией после утверждения «договора Джея», и Джефферсон вовсе не хотел таскать каштаны из огня для федералистов. Он согласен разве лишь на пост вице-президента, который, с одной стороны, даст ему возможность находиться у центра событий и, с другой — оставит достаточно времени, чтобы наслаждаться «философскими вечерами зимой и сельскими полднями летом». Философствовать и сажать горох — пока шторм не утопит «восточных друзей». Покуда он отмалчивался, но и этого молчания для его приверженцев было достаточно, чтобы начать продвигать его кандидатуру. «Война скоро начнется вновь, — предсказывал летом 1776 года Эймс. — Вопрос о том, кому быть президентом и вице-президентом, положит конец вооруженному нейтралитету. Нашим кандидатом будет мистер Адамс, их — Джефферсон».



Выборы 1796 года стали, по существу, первыми настоящими президентскими выборами в истории США. Уход Вашингтона был делом решенным, и впервые высший государственный пост реально оспаривался представителями двух соперничающих партий. Вице-президент Джон Адамс являлся если не абсолютно бесспорным, то единственно возможным кандидатом федералистов, который мог рассчитывать на широкую поддержку по всей стране. Наряду с Джефферсоном Адамс был одним из последних знаменитых «отцов-основателей», оставшихся к тому времени на национальной политической арене. Среди федералистов в популярности с Адамсом мог бы поспорить только Джей, но его большую политическую карьеру перечеркнул злополучный договор. Что касается Гамильтона, то даже он сам не обманывался насчет неприемлемости собственной кандидатуры. Единственное подобное предложение поступило к нему от легислатуры торгового Род-Айленда — скромный утешительный приз.

Послужной список Адамса, с точки зрения федералистов, был далеко не безупречен. В бытность свою вице-президентом он в основном поддерживал их программу, но не скрывал своей неприязни к банкам и высоким налогам и сохранял дружеские отношения с Джефферсоном и некоторыми другими республиканцами. Даже в своем теоретическом консерватизме он слыл «еретиком» среди «правоверных» федералистов. Адамс не доверял аристократии так же, как и народу, и потому стоял за строго сбалансированное правление, в котором аристократический сенат сдерживался бы подлинно демократической палатой. В отличие от большинства собратьев-политиков, он не умел принаравливаться к вкусам публики, не укрывался псевдонимами, а открыто и методично излагал свои взгляды в пухлых тяжеловесных трактатах. Последняя и самая главная проблема состояла в том, что его сильно недолюбливал сам некоронованный глава партии — Гамильтон. Их обоюдная неприязнь зародилась еще в 1788 году, когда Гамильтон тайно маневрировал в президентских выборах против Адамса, чтобы обеспечить победу Вашингтону. С тех пор между ними установились холодные отношения: психологически они были несовместимы, а главное — Адамс был не таков, чтобы стать послушной глиной в руках Гамильтона. Однако первый был необходим второму для решения главной задачи: «Все личные и частные соображения надо отвести, все должно служить великой цели — исключить Джефферсона!» А уж затем можно было подготовить и «исключение» самого Адамса.

План Гамильтона на этот счет был прост: в те годы избиратели голосовали за кандидатов на два высших поста в государстве попарно, не делая между ними различий, и получивший большее количество голосов становился президентом, а меньшее — вице-президентом. Поэтому нужно сделать так, чтобы федералистский кандидат в вице-президенты получил больше голосов, чем Адамс. Вначале на роль дублера предлагался ветеран Патрик Генри, обратившийся к тому времени в федералиста, а после его отказа — Томас Пинкни из Южной Каролины. Он получил известность после того, как ему удалось заключить в 1795 году договор с Испанией, временно открывший американцам доступ к Миссисипи. (Испанцы пошли на эту уступку во многом из опасений, что будет создан англо-американский союз, предвестием которого им представлялся «договор Джея».) Кандидатура Пинкни понравилась Гамильтону — неопытный в большой политике, всем ему обязанный, Пинкни будет послушным президентом.

Его расчет строился на том, что на Северо-Востоке Пинкни получит равное с Адамсом количество голосов, а на Юге, в первую очередь в Южной Каролине, удастся «оторвать» от непопулярного там Адамса несколько решающих голосов в пользу каролинца Пинкни.

К лету 1796 года обе партии были уже готовы к решающей схватке и ждали только одного — публичного отказа Вашингтона от переизбрания на третий срок. Президент следовал совету Гамильтона «тянуть с заявлением как можно дольше», чтобы оставить оппозиции меньше времени для развертывания избирательной кампании. Лишь 19 сентября, за полтора месяца до самих выборов, Вашингтон огласил свое знаменитое «прощальное послание» — пожалуй, самый известный результат его сотрудничества с Гамильтоном.

Еще в мае президент послал ему примерные тезисы, в которых выделялись две темы: воздержание от политических связей с Европой и укрепление союза в противовес партийной вражде. Бережливый Вашингтон присоединил к ним и первый проект послания, написанный Мэдисоном еще в 1792 году в духе торжественной оды республиканизму, но предоставил Гамильтону свободу «придать материалу любую форму». Сознвая политическую и историческую значимость документа, Гамильтон отнесся к поручению с предельной ответственностью. Необычно долго для человека, всегда писавшего в большой спешке, — почти три месяца трудился он над посланием, тщательно взвешивал каждое слово, пробовал на звучание каждую фразу, не раз перечитывал написанное жене. Скупые тезисы Вашингтона он развил и связал воедино, воплотив в стройную систему доказательств, добавил свои

аргументы и акценты, убрал нотки личной обиды президента и отлил все в монументальную художественную форму.

«Моей целью, — пояснял он Вашингтону, — было сделать этот документ важным и полезным надолго.., отразить в нем мысли и чувства, способные выдержать испытание времени, и содействовать вашей грядущей славе». В итоге небольшая ритуальная речь превратилась в политическое завещание Вашингтона, кредо всей партии федералистов и один из самых известных документов американской истории.

Увидев текст, Вашингтон был приятно изумлен и лишь чуть подправил стиль. За исключением краткой вводной части, где объявляется решение президента уйти в отставку, все обращение состоит из «советов старого и преданного друга» американскому народу. Обыкновенно оно приводится в качестве библии изоляционизма США, и только. В действительности же внешней политике отводится лишь заключительная часть документа, а основное место в нем уделено внутренним вопросам, главным образом опасности оппозиционных партий и межпартийной вражды вообще. Прежде всего Вашингтон завещает беречь и крепить основу союза — государство, «залог вашей политической безопасности и процветания .., политическую крепость, на которую всегда будут нацелены батареи внутренних и внешних врагов».

В послании торжественно предается анафеме любая оппозиция государству и конституции. «...Всяческое противодействие исполнению законов, все общества и союзы любого внешне благовидного свойства, в действительности имеющие целью направлять, контролировать, запугивать или препятствовать нормальному обсуждению и действиям конституционных властей, подрывают этот главный принцип (обязанность каждого гражданина безоговорочно подчиняться государству. — *В. П.*) и ведут к фатальным последствиям». Вашингтон подробно останавливается на «губительном воздействии партийного духа», который разжигает враждебность одной части страны против другой, нередко подстрекая на беспорядки и восстания, и «открывает дверь иностранному влиянию и коррупции, которые получают облегченный доступ к самому правительству через каналы партийных страстей».

Даже спокойная величавость этих строк не может скрыть их антиреспубликанского острия; как застывшая лава, они напоминают о накале партийных страстей тех давних лет. В заключении внутривластного раздела завещалось беречь общественный кредит и исправно платить налоги — пожелание явно гамильтоновского толка.

Знаменитая внешнеполитическая часть обращения задумана Гамильтоном как кодификация и канонизация в устах «отца

нации» принципов внешней политики, разработанных на практике при его активном участии, и в то же время — как приложение общих правил и вечных законов, открытых наукой о мировой политике, к конкретным американским условиям. Поэтому он раздвигает скупые тезисы Вашингтона в широкой исторической перспективе, превращая их в свод «общих принципов» и «великих правил поведения» США в мире на долгие годы вперед.

Вторая писаниям «Пацификуса» и «Камиллуса», обращение призывает к проведению сугубо эгоистической внешней политики: «Страна, которая предается привычной ненависти или привычной привязанности в отношении другой, является в какой-то степени рабом — рабом собственной враждебности или привязанности, любой из которых достаточно, чтобы сбить ее с пути своего долга и интереса... Нет большего заблуждения, чем рассчитывать на реальные одолжения друг другу в отношениях между странами».

В послании воспроизводится оценка стратегических интересов США в Старом Свете, данная Гамильтоном еще в «Федералисте»: «У Европы — свой собственный набор основных интересов, не имеющих к нам никакого отношения или очень отдаленное... Было бы, следовательно, неразумно для нас вовлекаться искусственным путем в извечные превратности ее политики...»

Из двух основных исходных установок выводится «великое правило поведения» для США в отношениях с иностранными (а по существу, европейскими) государствами — «расширяя наши торговые отношения, иметь с ними как можно меньше политических связей». В США эти заветы традиционно считаются заповедью изоляционизма, хотя на самом деле, как показано, в частности, в работе Г. А. Трофименко «США : война, политика, идеология» речь шла о сохранении свободы рук на международной арене. Во-первых, авторы обращения вовсе не абсолютизировали принцип «невовлечения» в европейские дела, признавая целесообразность «временных союзов в чрезвычайных обстоятельствах», во-вторых, и это главное, они отнюдь не собирались ограничивать свою свободу действий в Западном полушарии, а в долгосрочной перспективе — и в Европе. Хотя Гамильтон из дипломатических соображений воздержался от подтверждения своей агрессивной империалистической программы в Западном полушарии, общая установка «отцов-основателей» на достижение со временем «позиции силы» по отношению к потенциальным противникам в послании сохранилась. «Наше уединенное и отдаленное положение склоняет нас и дает возможность к проведению иного курса. Если мы пребудем единым народом под эффектив-

ным правлением, то недалеко то время, когда мы сможем не считаться с материальным ущербом от нападков извне... и выбирать между миром и войной, как нам подскажет наш интерес, направляемый справедливостью». В черновом варианте Вашингтона та же мысль была выражена еще более откровенно: «Если наша страна сможет прожить в мире еще в течение двадцати лет..., то ее население, богатство и ресурсы будут, по всей вероятности, такими, что... позволят ей вообще не считаться с любой державой земли в справедливых делах». «Моим главным соображением, — говорится в послании президента, — было выиграть время для нашей страны...»

Почти 20 лет спустя то же самое и еще более выразительно скажет экс-президент Джефферсон: «В течение ближайших двадцати лет нам следует рассматривать мир как высшее благо для нашей страны. К концу этого периода нас будет двадцать миллионов по числу, но сорок — по силе, когда мы столкнемся с голодными и рахитичными рекрутами — нищими и карликами из промышленных мастерских Великобритании». Заветный рубеж сведения счетов со Старым Светом приходилось все время отодвигать в будущее; мысль «отцов-основателей» далеко опережала свое время и возможности самих США. Пройдет еще около полутора веков, прежде чем Соединенные Штаты Америки всерьез и открыто начнут претендовать на роль мирового жандарма. Но общие принципы внешней политики США, канонизированные Вашингтоном и Гамильтоном в «прощальном послании», надолго переживут их самих.



«Прощальное послание» прозвучало для обеих партий гонгом, возвестившим о начале избирательной кампании. Страна еще не остыла после яростных дебатов вокруг «договора Джея», и выборы, по существу, превратились в референдум по вопросу о внешнеполитическом курсе федералистов. Республиканцы стремились монополизировать положение «партии мира», обвиняя федералистов в разжигании войны с Францией. В компрометации Вашингтона и его политики их пресса побила все прежние рекорды. К старым обвинениям в монархизме и англomanии прибавились новые: главнокомандующий, оказывается, шпионил в пользу англичан еще в годы освободительной войны! Дальше идти было некуда.

Поклоннику английской конституции Адамсу тоже доставалось изрядно, благо его собственные сочинения предоставляли удобную мишень. «Томас Джефферсон первым написал Декларацию независимости, — гласила одна из пенсильван-

ских предвыборных листовок, — он первый провозгласил священный закон равенства всех людей. Джон Адамс утверждает, что все это ложь, что одни должны рождаться королями, а другие — дворянами... Кого из них, свободные граждане Пенсильвании, вы выберете своим президентом?»

Федералисты не оставались в долгу. Большую известность получил памфлет У. Смита и Гамильтона «Разбор притязаний Томаса Джефферсона» — настоящая антиджефферсоновская энциклопедия всех реальных и выдуманных пороков республиканца. Он предстал врагом кредита, религии, союза и Джорджа Вашингтона; трусливым философом, истинное призвание которого — «насаживать на булавки бабочек и насекомых, а также изобретать вращающиеся стулья на благо своих сограждан и всего человечества».

Федералисты не спешили облачиться в боевые доспехи, услужливо подsunутые им республиканцами. Форсированное обострение отношений с Францией и угроза войны с ней могли сослужить плохую службу в выборном году. «Для нас, — внушал Гамильтон Вашингтону осенью 1796 года, — чрезвычайно важно избежать разрыва с Францией, а если это невозможно — продемонстрировать народу недвусмысленное стремление к этому». Они рязались в тогу истых патриотов и выставляли республиканцев марионетками Франции. Неожиданную поддержку в этом им оказал французский посланник П. Адэ. В ноябре, накануне решающих выборов в Пенсильвании, он обратился к избирателям через республиканскую «Аврору» с призывом голосовать за Джефферсона — «верного друга Франции», грозя в противном случае войной. Беспрецедентный в истории США пример открытого иностранного вмешательства в ход выборов!

Адэ и стоявшая за ним Директория повторяли роковую ошибку Женэ, непомерно преувеличивая франкофильство республиканцев. Действия Адэ поддержала лишь кучка экстремистов, а лидеров партии эта медвежья услуга только покорила. Год спустя Адэ трезво оценил «верного друга Франции». «Мистер Джефферсон любит нас потому, что ненавидит Великобританию, — писал он в Париж, — но завтра он может изменить свое мнение о нас, если Великобритания перестанет страшить его. Поборник свободы и Просвещения, восхищающийся нашими усилиями в собственном раскрепощении и просвещении рода человеческого, Джефферсон, повторяю, прежде всего — американец и, как таковой, не может быть искренним нашим другом».

Джефферсон старался философски воспринимать двойной поток панегириков и ругани в свой адрес. «По правде сказать, я не узнаю себя под пером как друзей, так и врагов. К несчастью

для нашего спокойствия, незаслуженные оскорбления наносят раны, которые незаслуженные хвалы не в силах излечить». По негласной традиции, оба кандидата в избирательной кампании не участвовали, но у Джефферсона за спиной стояла сплоченная партия и верный Мэдисон, а у Адамса — коварный властолюбивый Гамильтон.

Но замысел Гамильтона не удался полностью. Федералисты Новой Англии вопреки его настояниям не поддержали чужака Пинкни из боязни, что он сможет обойти популярного в этих штатах Адамса. Перспектива избрания малоизвестного каролинца президентом страшила их больше, чем вице-президентство Джефферсона. Таким образом, Джефферсон едва не стал президентом — он получил 68 голосов выборщиков, всего на три меньше, чем Адамс. Жертвой закулисных махинаций стал Аарон Бэрр. Дабы получить голоса Нью-Йорка, республиканцы выставили его в вице-президенты, посулив поддержку всей своей партии. Но при голосовании он был покинут Югом и пришел в выборной гонке последним.

Бэрр и Адамс ничего не забыли и не простили. Еще во время избирательной кампании доброхоты всех мастей разжигали подозрения Адамса насчет Гамильтона. Жена Адамса Абигаиль — единственный непогрешимый авторитет для своего крайне недоверчивого мужа твердила ему о закулисной роли Гамильтона — «тонкого интригана с амбициями Юлия Цезаря». «Я знаю его как тщеславного гордеца, — соглашался Адамс, — и готов признать его таланты, но ничуть не боюсь его». Подозрения скоро превратились в твердую уверенность. «В этих выборах затевались такие маневры и комбинации, которые удивят тебя.., — писал новый президент супруге 12 декабря. — В стране есть один неустанный дух, который охватывает ее целиком, где бы он ни был. Его нужно держать на прицеле и не позволять слишком многого».

Как бы ни подбадривал себя Адамс, он не представлял, насколько плотно был окружен со всех сторон «неустанным духом». Федералистский кабинет, доставшийся ему в наследство от Вашингтона, полностью состоял из людей Гамильтона. Все они: генеральный казначей Оливер Уолкот, госсекретарь Тимоти Пикеринг, военный министр Джеймс Макгенри, — были назначены Вашингтоном по рекомендации Гамильтона и не принимали ни одного важного решения без его ведома. Люди, лишенные особых талантов, они охотно подчинялись воле и интеллекту своего патрона. «Я хочу, чтобы вы не только видели все карты, но и сами вели игру», — расшаркивался перед ним Пикеринг. Стандартным обращением к Гамильтону самого неспособного, но и самого преданного из них — Макгенри было: «Мой дорогой Гамильтон! Не поможете ли вы мне, а

вернее, нашей стране, своими соображениями и предположениями по поводу прилагаемых документов?»

Примерно такие же отношения связывали Гамильтона с лидерами федералистов в конгрессе — сенатором от Массачусетса Т. Сэдживиком, спикером палаты представителей Д. Дэйтоном и др. Это, пожалуй, единственный подобный случай во всей истории США, когда стоявший за кулисами лидер партии мог направлять действия как исполнительной, так и законодательной власти, что было явно не под силу президенту Адамсу.

Вполне сознавая взаимное отчуждение президента и федералистского руководства, лидеры республиканцев принялись было культивировать его, надеясь добиться раскола враждебной партии. Инициатива принадлежала Джефферсону. Уже 1 января 1797 г. в письме Мэдисону он зондирует почву о возможности перетягивания Адамса на свою сторону как «единственного надежного барьера против Гамильтона». В качестве первого шага он предлагал собственноручное послание Адамсу, в котором было все: и дружеское предупреждение об «интригах вашего архидруга из Нью-Йорка», и смиренное отречение в пользу Адамса «от высших восторгов управления штормом, от общества шпионов и подхалимов во имя спокойного сна и компании соседей-друзей и собратьев-тружеников земли», и убеждение в том, что Адамс спасет страну от войны. Всегда осторожный, Мэдисон оставил это письмо у себя. О расположении республиканцев Адамсу уже дали почувствовать через третьих лиц, атаки партийной прессы против него прекратились, и такое послание могло только слишком тесно связать республиканцев с неизвестной пока политикой нового президента. Джефферсон согласился с этим.

Гамильтон довольно спокойно наблюдал за этой кампанией по обработке Адамса. Как и Мэдисон, он понимал, что одной личной неприязни между ним и президентом еще недостаточно, чтобы расколоть партию; для этого нужны гораздо более серьезные политические пертурбации. Но и в них не было недостатка в эти бурные для Америки последние годы XVIII столетия.

Соединенным Штатам предстоял очередной мучительный тур лавирования между Англией и Францией. Правительство Вашингтона предотвратило дальнейшее обострение отношений с Великобританией дорогой ценой — «договор Джея» создавал основу для серьезного конфликта с Францией. Директория по достоинству оценила этот успех федералистской дипломатии: Франция, заявила она, предпочитает открытых врагов предателям-друзьям. Сразу же после ратификации договора в США последовали ответные меры Франции, в

точности перенявшей прежнюю английскую тактику в отношении американских торговых судов. В октябре 1796 года Адз уведомил об этом Пикеринга, а в ноябре, в разгар предвыборной кампании, опубликовал в газетах соответствующую ноту Франции, объявив к тому же о временном разрыве нормальных дипломатических отношений между двумя странами.

Новый кризис развивался аналогично предшествовавшему англо-американскому. «Наши отношения с Францией достигли критической точки, — с тревогой писал Гамильтон Вашингтону в январе 1797 года. — Мы, кажется, находимся с нею в том же положении, что были с Великобританией к моменту, когда туда отправился Джей». Его предположения были также аналогичными тогдашним: переговоры и укрепление обороны.

Вашингтон на пороге отставки не стал провоцировать еще один внешнеполитический кризис и ограничился отправкой в Париж нового посла Ч. Пинкни на смену непокорному Монро с наказом как-нибудь успокоить французов. «Президент удачно выходит из игры, как раз когда пузырь грозит лопнуть, предоставляя ношу другим», — заметил Джефферсон. Действительно, Адамс получал тяжелое наследство, и недаром его обуревали мрачные предчувствия. «С половиной континента на руках, — ворчал он, — не считая Англии, Франции, старых тори и всех якобинцев страны, я приобретаю дьявольское бремя». Именно динамика развития франко-американских отношений определила весь ход политической борьбы следующих четырех лет — всего президентства Адамса.



Едва Адамс успел вступить в должность, как стало известно об оскорбительном отказе Директории принять нового посла Ч. Пинкни. Это было равносильно окончательному разрыву дипломатических отношений. Пузырь кризиса лопнул, откладывать решение стало уже невозможно. Гамильтон тем временем уже подготавливал мнение кабинета. В инструкциях министрам он рекомендовал направить во Францию специальную миссию с участием Мэдисона или даже Джефферсона и подробно развивал программу укрепления обороноспособности страны: строительство военно-морского флота, вооружение торговых судов, создание 25-тысячной временной армии, введение дополнительных налогов. Но главный упор делался на предотвращение войны. «Вы должны сделать все возможное для избежания разрыва.., — наставляет он Уолкота. — Посылка миссии обезоружит оппозицию и может привести к заключению нового договора с Францией, аналогичного «договору Джея».

Мирные переговоры с «якобинцами», да еще при участии Джефферсона... Такое миролюбие со стороны воинствующего

франкофоба может показаться необъяснимым, если не учитывать серьезного поворота, происшедшего к тому времени в титанической борьбе Франции со странами коалиции: выход из войны Пруссии, а затем и Испании; блистательные, потрясшие весь мир победы французской армии под предводительством молодого Бонапарта, сокрушившего в начале 1797 года в сражениях при Риволи и Мантуе основные силы Австрии. На стороне Англии оставалась еще могущественная Россия, но и ее дальнейший курс после смерти Екатерины II и воцарения Павла I становился малопредсказуемым. «Император Павел ведет себя в лучшем случае неопределенно, — писал членам кабинета Гамильтон, пристально следивший за изменениями в европейском „балансе сил“. — Преемник всегда отличается от своего предшественника, а этот, кажется, еще и реформатор. Кто знает, к чему он склонится в конечном итоге?» Россия, продолжает Гамильтон, вполне может выйти из войны, в таком случае Франции будет противостоять только Великобритания, но и ее положение стало весьма критическим: банкротство английского банка, мятежи на флоте, сильные волнения в Ирландии. В Нормандии с конца 1797 года готовилась армия вторжения на Британские острова, командующим которой вскоре был назначен все тот же непобедимый Бонапарт. Р. Кинг, сообщая Гамильтону из Лондона о «невероятных» победах французов, с ужасом писал об их секретных, «еще более гигантских планах», которые «изменяют лицо Европы и охватят все уголки земного шара». Неудивительно, что Гамильтон боялся полного разрыва с «политическим монстром, коему суждено иметь противником одну только Англию».

Не сегодня-завтра Англия, казалось, может пасть или заключить мир с Директорией, и тогда «кто может гарантировать, что мы не останемся в одиночестве перед лицом французского диктата?» С военной точки зрения война с Францией в данной ситуации была бы самоубийством. «Потерять мы можем очень многое, а выиграть не можем ничего», — резюмировал Гамильтон в письме Макгенри. Поэтому-то он и стоял за «сочетание энергии с осторожностью».

Но не все федералисты были готовы к примирению с «политическим монстром». Пикеринг и Уолкот воспротивились было идее отправки в Англию специальной миссии, но призывы Гамильтона не поддаваться эмоциям, а главное — само давление его авторитета сделали свое дело. «Я не настолько несведущ относительно степени вашего влияния на друзей правительства, — ворчал Пикеринг, — чтобы не понимать, что, если известно, что вы — за посылку миссии, то значит так тому и быть».

Независимо от Гамильтона, к идее миссии и созыва специальной сессии конгресса пришел и Адамс. В начале марта он советовался с Джефферсоном по поводу включения последнего или Мэдисона в состав миссии. Но вице-президент не пошел ему навстречу. Когда 14 апреля Адамс запросил предложения кабинета, они во многом совпали с его собственными. Президент направил их конгрессу 16 мая точно так, как хотел Гамильтон: твердо, «по-мужски», продемонстрировав Франции жесткость американской позиции. Никто не верил своим глазам. Федералисты не могли нарадоваться решительности президента. Республиканцы срочно предали его анафеме. «Президент, избранный перевесом всего в 3 голоса, — негодовала «Аврора», — подло обманул надежды народа на мир. И этот жулик, случайно ставший президентом, воображает себя государством! Бедный старик, как он обманывается». Им вдруг все стало ясно: Адамс попал в сети федералистов, которые сознательно ведут дело к войне. Принятие конгрессом программы Адамса, считал Джефферсон, выставит страну «в угрожающем виде» и «спровоцирует враждебные действия другой стороны». А что может быть бессмысленнее, чем столкновение «республик, искренне любящих друг друга?» Джефферсон, как и все республиканцы, отлично понимал все внутривнутриполитические последствия войны с Францией: республиканская оппозиция будет раздавлена. «Если война начнется, господство тори укрепитя».

Обе партии нуждались в мире, но федералистов больше всего устраивал мир на грани войны, постоянный кризис, который помог бы держать оппозицию в узде. Действительная область согласия между ними во внешней политике была достаточно широкой — политика «баланса сил», предусматривавшая сохранение и использование в своих интересах вражды двух «центров силы» в Европе. Редко в чем Гамильтон и Джефферсон проявляли такое единство. Как ни ненавидел Англию вирджинец, еще больше он опасался ее поражения в войне с Францией. «Покорение Англии было бы всеобщим бедствием, — писал он, — к счастью, это невозможно».

Но в горячке яростного столкновения иных интересов скромные проанглийские и профранцузские симпатии неизбежно раздувались и еще более обостряли межпартийную вражду. В мае 1797 года, например, разразился страшный скандал, когда американские газеты перепечатали появившееся во французской печати уже упоминавшееся гневное письмо Джефферсона Филиппу Маццеи. Вице-президент предстал в нем не только хулителем Вашингтона, но и рьяным апологетом Франции — «страны-матери, обеспечившей свободу и независимость» североамериканской республике. Это резко диссони-

ровало с оживлением националистических и антифранцузских настроений в стране.

Все эти события сорвали наметившееся было перемирие между Адамсом и республиканцами, вновь подхлестнули политические страсти. Джефферсон познал дотоле неиспытанный остракизм со стороны администрации и федералистского общества Филадельфии. Это было время, когда, по его словам, «люди, близко знакомые на протяжении всей жизни, перебежали на противоположную сторону улицы и отворачивались друг от друга, чтобы не пришлось приложить руку к шляпе». Старинная дружба с Адамсом была принесена в жертву политике, президент больше ни разу не посоветовался с ним. Джефферсон стал нежеланным гостем в светских салонах столицы, где царил воинственный шовинистический дух.

Именно в это время он впервые полностью вступает в права лидера республиканской партии. За какие-то несколько месяцев философ из Монтичелло превратился в матерого политика, неутомимого тактика и стратега партии. Этому способствовали и чисто внешние обстоятельства: с уходом Мэдисона лидером республиканской фракции в конгрессе стал недавний иммигрант швейцарец Галлатин, которому не хватало национальной популярности. К тому же пост вице-президента служил идеальной позицией для роли партийного лидера.

Джефферсон начинает бурную закулисную деятельность по укреплению своей партии. Он обласкал обиженного Бэрра, завязал отношения с умеренными федералистами типа Э. Рутледжа из Южной Каролины. Он направляет республиканскую прессу, укрепляет партийную дисциплину в конгрессе. С тревогой угадывали федералисты скрытую активность вице-президента, ставшего, по словам Сэдживика, «душой оппозиции».

Тем временем военная программа Адамса буксовала в конгрессе. Ненависть к Франции была еще не столь велика, чтобы заставить его одобрить такие традиционно непопулярные меры, как увеличение армии, военных расходов и налогов. И хотя экстремисты обеих партий неистовствовали («спор» республиканца М. Лайена и федералиста Р. Грисвольда с использованием в качестве последних аргументов трости и каминных щипцов «украсил» парламентскую историю США), ни один из крупных пунктов программы, кроме отправки миссии во Францию, не был принят специальной сессией из-за сопротивления республиканцев и умеренной части федералистов. В конце июня конгресс был распущен, и тут же федералисты получили неожиданный удар — всплыло «дело Рейнольд».

Четыре с лишним года эта история была достоянием лишь узкого круга республиканцев. Кроме трех свидетелей в нее были посвящены Джефферсон, Мэдисон и клерк палаты представителей Беркли, у которого хранились копии всех документов, связанных с этим делом. Когда федералистам в июне 1797 года удалось, наконец, изгнать Беркли из палаты, немедленно последовал акт мщения — он передал документы журналисту Джеймсу Каллендеру. Беркли знал, кому доверить такое дело: Каллендер, высланный из Англии за печатную клевету, стал ведущим мастером диффамации в Америке. За соответствующее вознаграждение он мог очернить любого самым убийственным образом: талант, пользовавшийся большим спросом в раздираемом партийными распрями Новом Свете. Принципы его мало интересовали, но в это время он состоял в услужении у республиканцев и пользовался покровительством самого Джефферсона.

В начале июля в печати появились первые антигамильтоновские памфлеты Каллендера в виде выдержек из готовящегося издания его «Истории США в году 1796». Помимо старых обвинений в спекуляции, подкрепляемых письмами Рейнольда, в них фигурировало и новое: невинной жертвой преступных наклонностей бывшего казначея была объявлена «соблазненная и покинутая» Мария Рейнольд.

Гамильтон обратился к трем республиканским участникам «тайной вечери» 15 декабря 1792 г. с просьбой публично подтвердить свои тогдашние заверения в его непричастности к денежным махинациям. Согласились все, кроме Монро, тяжело пережившего свою отставку и считавшего Гамильтона причастным к ней. Он заявил, что доказательства казначея тогда его не убедили. Каллендер в наглых письмах подзуживал главу федералистов, пытаясь спровоцировать его на открытую перепалку в печати.

Чрезвычайно шепетильному в вопросах своей публичной репутации Гамильтону казалось, что его загоняют в угол. «Кажется, здесь заговор с целью вынудить меня к официальной защите, — пишет он Монро, — хотя вы знаете, что чрезвычайная щекотливость этой истории может оказаться для меня невыносимой». Монро упрямо стоял на своем, и дело едва не дошло до дуэли, но это никак не способствовало публичному оправданию Гамильтона. Тогда в последней попытке защитить свое доброе имя он решает на отчаянный шаг: вновь проделывает то же, что и четыре года назад перед республиканской депутацией, но на этот раз уже перед всей страной. Друзья безуспешно отговаривали его от этой безумной затеи. 25 августа в газетах появляется ответ Гамильтона на памфлеты Каллендера, впервые подписанный его собственным именем.

Во всей американской политической литературе не сыскать, пожалуй, более отчаянного крика души и вместе с тем более самонадеянной декларации. Статья начинается яростным обвинением «якобинского духа», для которого «нет ничего святого». И если эти нападки — не что иное, как «заговор порока против добродетели, — вопрошает Гамильтон, — не должен ли я быть скорее польщен тем, что так долго служил объектом его преследований?.. К чести человечества надо сказать, что немного можно найти людей, оклеветанных и преследуемых по столь ничтожному поводу, как я». А ведь общеизвестно, что «еще ни один человек в общественной жизни не имел столь незапятнанной репутации безупречной честности в денежных вопросах, как я на посту генерального казначея».

Гамильтону не откажешь в искренности, но на фоне последующих признаний взятый им тон был неоправданно высокомерным. Гамильтон не просто признал, что его «подлинное преступление заключается в любовной связи» с Марией, но и подробно изложил все перипетии взаимоотношений с четой Рейнольд, стараясь придать своей версии максимальную убедительность и достоверность. Только стремление «стереть еще более серьезное пятно со своего имени» заставило его причинить этим признанием такую боль жене. В заключение Гамильтон процитировал все письма к нему супругов Рейнольд.

Враги и рассчитывать не могли на такую удачу. Признание в супружеской неверности не помогло Гамильтону убедить сограждан в своей служебной безупречности и, конечно, не прибавило ему популярности. Написанное кровью сердца стало предметом бесчисленных издевательств республиканской прессы. «Нельзя представить большего позора, чем это произведение, — злорадствовал Каллендер в письме Джефферсону. — Полсотни лучших перьев Америки не смогли бы написать против него больше». Надо отдать должное вице-президенту — он не присоединился к общему улюлюканью. Слишком уж неприглядная получилась история. Скандал лишил Гамильтона последних шансов на выборную политическую карьеру, и можно представить, какой глубокий след ожесточения оставил он в его душе.

Последовавшая затем зимняя сессия конгресса не смогла вывести правительство из тупика вынужденного бездействия. «Законодательная власть расколота, а партии преисполнены такой враждебности, какую только можно себе представить, — писал сенатор Д. Росс Вашингтону. — Та или другая партия должна добиться решительной победы, чтобы государственная машина смогла заработать по-настоящему». Хотя притеснение американской торговли со стороны Франции возрастало, посылка специальной миссии в составе умерен-

ных федералистов Ч. Пинкни, Д. Маршалла и Д. Джерри, как и когда-то миссии Джея, поддерживала надежды на урегулирование отношений и тормозила принятие ответных мер. Конгресс погрузился в напряженное и тягостное ожидание. Любой резкий поворот событий легко мог склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Каждый усматривал в молчании послов то, что хотел. Джефферсон расценивал его как «свидетельство мира» и надеялся если не на братские чувства, то по крайней мере на благоразумие Франции, заинтересованной в американской торговле. Адамс готовился к худшему и обсуждал с министрами возможные альтернативы в случае провала переговоров: объявление войны, эмбарго, союз с Англией.

Мнение кабинета по-прежнему определял Гамильтон. Он высказался против формального объявления войны Франции, которое, по его мнению, не даст никакого выигрыша и только закроет возможность переговоров, а также против заключения союза с Англией, ибо и без него «в силу общности интересов мы получим от нее столько же», в случае же «падения Англии союз этот поставит под удар и США». Короче, он стоял за сохранение свободы рук и усиление военной программы. И еще: необходимо объявить день поста и молитв — «глупо не использовать религиозных чувств нашего народа» в борьбе с «политическим фанатизмом» атеистической Франции. Раз Гамильтон вспомнил о религии, значит речь шла уже о тотальной мобилизации средств.

А в это время в Париже творились удивительные дела. Американская миссия прибыла туда еще в октябре и долго ждала официального приема у министра иностранных дел Талейрана. Ее члены ломали головы по поводу загадочного поведения французов. Прозрачные намеки трех местных финансистов — посредников министра не доходили до неискушенных в тонкостях европейской дипломатии американцев, пока, наконец, им не было заявлено прямо в лоб: «Вы должны заплатить, заплатить много денег!»

Министр, оказывается, хочет получить в качестве задатка «на сладенькое» 250 тысяч долларов (1,2 миллиона ливров) для себя лично и крупный заем на льготных условиях — для Франции. Для великого циника Талейрана, превратившего свое ведомство в доходное место, то была обычная практика, но «с этими упрямыми янки» он просчитался. Оскорбленные дипломаты хлопнули дверью, и Джерри с трудом уговорил коллег повременить с отъездом. Напрасно Талейран подсылал все новых посредников: Д. Трамбелла, Бомарше и даже приемную дочь Вольтера — очаровательную маркизу де Вилле, скрасившую послам не один холостяцкий обед, напрасно их

пугали мощью Франции и совестили былым французским великодушием. Ответ, отчеканенный Чарлзом Пинкни, был однозначен «Ни гроша!» Впрочем, в одном Талейран преуспел. Обласкав более миролюбивого и покладистого Джерри, он расколол делегацию. 19 марта, после окончательного отказа в официальном приеме, Пинкни и Маршалл потребовали паспорта, а Джерри, считая себя последней надеждой на сохранение мира, остался. «Я остаюсь, чтобы предотвратить войну», — заявил он. Джерри был нужен Талейрану как заложник «партии мира» в самой Америке. Хотя Директория, по совету самого же Талейрана, и решила поугагать США, она считала своей задачей «избежать вынужденного разрыва, который неизбежно бросит США в объятия Англии». Ход Талейрана опирался на военную мощь Франции и силу про-французских пацифистских настроений республиканцев, по-прежнему преувеличиваемую в Париже. Этот блеф дорого обошелся Франции.

В начале марта в столицу США начали поступать тревожные сообщения из Парижа. 19 марта Адамс без всяких подробностей информировал конгресс об отказе Директории принять миссию и в энергичных выражениях призвал к укреплению обороны. Скрытность президента не устраивала экстремистов обеих партий. Слух об оскорбительном обращении с миссией уже пронесся, но республиканцы не верили ему, считая враждебной пропагандой, а федералисты хотели убедиться окончательно. Совместно они потребовали от президента передачи депеш миссии конгрессу. Джефферсон неодобрительно смотрел на эту затею. Его одолевали «мрачные предчувствия». «Вопрос мира и войны зависит теперь от того, как ляжет монета, — пишет он 29 марта Мэдисону. — Если мы продержимся хотя бы этот сезон, то будем спасены».

Гамильтон знал больше других. Пикеринг раскрыл ему сенсационное содержание депеш, и оно привело его в восторг. Еще недавно выступавший против вмешательства палаты представителей во внешнеполитический процесс, он теперь горячо поддерживает идею истребования злополучных депеш.

3 апреля Адамс охотно передал документы конгрессу, и вскоре они стали известны всей стране. Эффект, как и с «договором Джея», был потрясающий. Все общественное внимание сразу же сфокусировалось на оскорбительном поведении Талейрана и его агентов, названных в депеше «х», «у» и «z». Под таким названием кризис и вошел в историю. Электролизирующий эффект поразительных новостей усиливался тем, что они совпали по времени с другим известием — о январском 1796 года указе Директории конфисковать все американские суда, имеющие английские товары на борту.

Скоро французские каперы, преступавшие и эти широкие права, действовали уже в виду американских берегов у Лонг-Айленда и в заливе Делавэр.

Франция отчасти из-за опрометчивых действий своих дипломатов от Женэ до Талейрана предстала зловещей силой, нагло диктующей американцам свои условия. Так ее и изображали в газетах — в образе устрашающего пятиглавого (по числу членов Директории) чудовища, протянувшего к Америке окровавленные лапы и злобно рыкающего: «Денег, денег!» Светлый облик великодушного союзника был давно забыт, а исподволь копившееся недовольство французской политикой вылилось теперь в открытую антифранцузскую истерию.

Партии поменялись местами, и теперь уже федералисты пожинали плоды своего давнего крестового похода против революционной Франции. Резкая смена общественных настроений сделала их героями дня, защитниками интересов страны от иностранного агрессора и его внутренних приспешников. Дело «хуз», по словам Джефферсона, «было для них настоящим даром небес, и они выжали из него все». Федералисты подстегивали и без того распалившуюся горячку воинственного шовинизма. Гамильтон строчил гневные статьи, в которых клеймил Францию и ее «пятую колонну» — республиканцев-якобинцев. Красок он не жалел: «Как пророк Магомет, тираны Франции рвутся вперед с алкораном в одной руке и мечом в другой, унижая, покоря, обращая в свою веру». Федералистская пресса запугивала французским вторжением и внутренней изменой. Был объявлен и состав будущей американской Директории, которую-де «принесут на штыках» французы: Джефферсон, Мэдисон, Монро, Бэрр.

Даже рассудительный Вашингтон верил в то, что французское нашествие, если оно состоится, будет поддержано «якобинским восстанием» внутри страны с целью низвержения федералистского государства. Приватно он называл республиканцев «проклятием страны». Адамс вдохновенно отвечал на шапкозакидательские петиции и напутствовал с балкона толпы, марширующие под звуки марша «Адамс и Свобода»: «К оружию, мои молодые друзья, к оружию!» Президента пьянила собственная внезапно подскочившая популярность. Даже отборная ругань республиканской прессы в адрес «старого, сварливого, лысого, слепого, беззубого калеки Адамса», казалось, только придавала ему сил. «Истинные патриоты» нацепили черные кокарды и ленты (знак федерации) и избивали республиканских любителей трехцветных кокард.

Для республиканцев наступили тяжелые дни. «Искусная интерпретация депеш федералистами, — сетовал Джефферсон

в письме Мэдисону, — нанесла такой удар по настроениям республиканцев, какого не было со времен завоевания независимости». Виня во всем Талейрана, вице-президент по-прежнему считал, что Директория не хочет войны и главным препятствием на пути урегулирования остается воинственная позиция Адамса и его «ястребов». В то же время он опасался, что в новой обстановке колеблющиеся республиканцы могут поддержать военную программу федералистов, дабы «смыть с себя пятно сторонников Франции».

Так оно и получилось. Под давлением кризиса жесткая оборона республиканцев в конгрессе оказалась прорванной. Что можно было противопоставить популярному лозунгу федералистов «Миллионы на оборону, ни цента для дани»? «В этой обстановке, — резюмировал в конце апреля Джефферсон, — они проведут все, что хотят». До конца сессии конгресс принял целую серию чрезвычайных законов: отмена действующих договоров с Францией и прекращение торговли с ней, увеличение до 20 тысяч регулярной и создание 10-тысячной временной армии, строительство фрегатов и учреждение военно-морского министерства, разрешение захвата французских каперов, 5-миллионный заем правительству, 2-миллионный прямой налог на дома и рабов, репрессивные законы «Об иностранцах» и «О подстрекательстве к мятежу».

Федералисты подвели страну к порогу войны, но не могли решиться на последний шаг — ее официальное объявление. Многие из наиболее рьяных домогались этого как панацеи. «Мы должны объявить войну, чтобы республиканцы вновь не обрели почву, утраченную после дела «хуз», — считал Сэджвик. «Ничто, кроме открытой войны не может спасти нас, — доказывал С. Хигинсон, — и чем серьезней и кровопролитней она будет, тем больше наши шансы на безопасность в будущем». Но Гамильтон сумел сдержать их — если и быть войне, то пусть Франция выступит первой. Реализм еще не изменил ему.

Но какую же роль собирался играть в этих многообещающих коллизиях сам Гамильтон? В апреле он отказался от места сенатора, предложенного губернатором Нью-Йорка Джеем. На примете было кое-что поинтересней. Вновь создаваемой армии потребуются руководство, и уже в мае он пишет откровенное письмо ее наиболее вероятному командующему — Вашингтону: «Если мне предложат пост, на котором мой вклад будет стоить тех жертв, которые придется принести, я охотно пойду в армию». Таким постом, поясняет он, может быть только должность генерал-инспектора, заместителя главнокомандующего.

2 июля конгресс одобрил предложение Адамса поставить

во главе армии Вашингтона в звании генерал-лейтенанта. Гамильтон торжествовал: Вашингтон слишком стар, реальным командующим будет генерал-инспектор. Это понимал и Адамс и потому предложил на этот пост старших по рангу — генералов Нокса и Линкольна. Но кабинет и сам Вашингтон твердо стояли за полковника Гамильтона. Для начала главнокомандующий послал президенту терпеливое разъяснение, в котором дал свою самую известную оценку бывшего адъютанта. «Некоторые считают его честолюбивым и потому опасным. То, что он честолюбив, я вполне признаю, но это честолюбие похвального толка, заставляющее человека добиваться превосходства во всем, за что он берется. Он очень деятелен, обладает быстрым умом и великолепной интуитивной способностью находить правильные решения — качества, необходимые для человека военного... Его потеря была бы невозможной».

Адамс встал на дыбы и только второе письмо-ультиматум Вашингтона с угрозой отставки заставило президента подчиниться. «Вы впихнули его мне в глотку!» — в бешенстве начертил он в ответ. Итак, Гамильтон получил генеральские эполеты и вошел в состав кабинета, фактически узурпировав обязанности Макгенри. В новой, с иголочки, форме он был просто неотразим, этот молодежавый, безукоризненной выправки генерал Гамильтон. Что касается роста, то ведь и Бонапарт был невысок. Заветная мечта исполнилась. Но что дальше? Какие планы вынашивал глава федералистов?

Они были грандиозны, как никогда. Перспектива войны с Францией открывала немислимые доселе внешнеполитические перспективы: тесное сближение с Англией, совместный захват испанских владений в Америке. Еще в январе Гамильтон дал Р. Кингу инструкцию прозондировать у премьер-министра Питта возможность взаимодействия английского флота и американской армии в освобождении Северной и Южной Америки от испанцев. «Обе Флориды должны быть наши, — заявил Гамильтон, — а англичане могут получить южноамериканские владения Испании».

Эта идея нашла еще одного неожиданного сторонника — известного латиноамериканского революционера Франциско де Миранда. Он посвятил всю свою жизнь делу изгнания испанских колонизаторов и находился тогда в эмиграции в Лондоне. Миранда знал и ценил Гамильтона как человека широкого размаха. За полмесяца до Кинга Миранда предложил ту же идею Питту, который выслушал его с интересом.

Странный складывался треугольник: Миранда — Кинг, за которым стоял Гамильтон, — Питт. В нем причудливо сплетались устремления трех выдающихся людей своего

времени: страстное желание освобождения родины, дерзкие мечты о военной славе и хладнокровный захватнический расчет. В конечном итоге эти устремления доказали свою принципиальную несовместимость.

Замысел англо-американского союза против Франции уже со времени заключения «договора Джея» Питт хранил в запасе. Теперь новая обстановка и появление на авансцене Миранды и Кинга побудило премьер-министра выдвинуть его на передний план. В начале июля английский посол в США Р. Листон получил из Лондона инструкцию по поводу предварительных переговоров с США о союзе и совместных военных действиях. Они предусматривали завоевание Флориды и Луизианы американцами, Санто-Доминго — англичанами; главной ударной силой должен был стать королевский флот, усиленный американскими матросами. В конце июля Листон сделал формальное предложение о союзе Пикерингу, а затем и лично президенту Адамсу.

В отличие от ярого англофила Пикеринга, Гамильтон настороженно отнесся к английским предложениям. Он был еще в достаточной степени реалистом, чтобы понимать всю трудность заключения открытого союза с Англией в условиях растущих изоляционистских и нейтралистских настроений. Беспокоило его и стремление Англии оставить за собой военный контроль. Но это были проблемы, поддающиеся урегулированию. Главное заключалось в том, что наконец-то складывались благоприятные условия для осуществления гигантской военной операции, захватившей воображение Гамильтона.

Удар по испанской колониальной империи — здесь был ключ к установлению господства США над южной оконечностью Северной Америки, а затем и над всем Западным полушарием. «Мы непременно должны иметь в виду захват Флориды и Луизианы, а также присматриваться к Южной Америке», — рассуждал Гамильтон. Смутные мечты первых американских экспансионистов, выраженные им еще в «Федералисте», облекались в плоть и кровь конкретных военно-стратегических замыслов, и осуществить их, конечно же, призван был он, Александр Гамильтон.

Пусть американская армия еще невелика, но и силы испанцев на исходе: в Луизиане всего тысяча солдат, и разве не завоевал Писарро полконтинента всего с 300 конкистадорами? Было от чего закружиться голове человека, с детских лет убежденного в том, что его ждет слава великого полководца. Как зачарованный, следил он за небывалыми победами молодого Бонапарта, этого «непревзойденного завоевателя, от дел которого трудно оторваться!» Полководческий гений

Бонапарта покорил всю Европу, но Новый Свет еще только ждал своего завоевателя. Захватническая война будет прибыльным предприятием и скоро станет популярной в стране; с ним снова Вашингтон, который осенит ее, а заодно и Гамильтона своим авторитетом. Как и на заре юности, Гамильтон готов сказать: «Хочу, чтобы была война».

Постепенно он настолько свыкся с этой мыслью, что еще до своего назначения генерал-инспектором самонадеянно заверил Миранду: «Командование, естественно, падет на меня, и я надеюсь, что не обману ожиданий». Но авантюризм Гамильтона имеет свои границы: «Я смогу принять в войне личное участие только при условии поддержки правительства моей страны».

Окончательно утвердило Гамильтона в его намерении очередное изменение в соотношении сил в Европе: разгром французского флота Нельсоном в Абукирском заливе 1 августа 1798 г., после которого армия Бонапарта оказалась запертой в Египте, складывание второй антифранцузской коалиции в составе Англии, Австрии, России и Турции. Франция уже не казалась столь всемогущей. Через Кинга и кабинет Гамильтон усиливает нажим на Адамса, которого теперь бомбардируют предложениями о военном союзе с Англией сразу с трех сторон: английский посол, Кинг и Пикеринг. Президент дал понять, что пойдет на такой союз лишь в случае действительной войны с Францией.

Одновременно генерал-инспектор приступает к непосредственному планированию военной операции. Он ввел в курс дела командующего западным гарнизоном генерала Д. Уилкинсона, но сразу же выявились и препятствия: до объявления войны Франции Вашингтон не разрешил Гамильтону даже подтянуть гарнизон Уилкинсона к испанской границе у местечка Нэтчез. Опять война с Францией... Все упиралось в это. И Гамильтон, прежде сдерживавший своих более агрессивных коллег, теперь сам постепенно склоняется к ней. Мираж близкой славы великого полководца начинает ослеплять его, застилать глаза, теряющие былую зоркость реалистического видения. Стране посылается «благородное знамение», «великая судьба», пишет он в октябре Кингу, «мы, бесспорно, должны пойти на открытый разрыв с Францией».

Поскольку все силы Франции были брошены на борьбу с Англией, Гамильтон надеялся, что разрыв этот не обернется большой франко-американской войной, а лишь предоставит Соединенным Штатам желанный предлог для удара по испанским владениям. «Если мы ввяжемся в войну, — пишет он в декабре генералу Дж. Ганну, — наша задача сведется к тому, чтобы напасть там, где мы можем. Францию нельзя рас-

смагивать отдельно от ее союзников (т. е. Испании с ее владениями в Америке. — В. П.). Соблазнительные цели будут у нас под рукой». В январе следующего года он инструктирует федералистского конгрессмена Гаррисона Отиса относительно необходимости провести законопроект, устанавливающий крайний срок урегулирования отношений с Францией — 1 августа 1799 г. Затем должно последовать объявление войны Франции и Испании.

Бонапартистские замыслы Гамильтона кажутся игрой эксцентричного ума, однако они имеют вполне материальное содержание: установление господства американского и английского торгового капитала в Западном полушарии. Внешнеторговый тоннаж США к 1800 году составлял около половины английского, и значительная часть торговцев северо-востока была не прочь занять положение полноправного партнера в англо-американской торговой системе. Джордж Кэбот, лидер оплота федералистской партии — массачусетской «хунты», так расшифровал меркантилистскую подопку вынашиваемых планов: «Я абсолютно убежден, что Великобритания в сотрудничестве с нами может господствовать на море в противовес всей Европе, за исключением одной России. Если война продлится еще несколько лет, наши страны получат исключительное право торговли во всей Америке, Африке и лучшей части Европы и Азии, а колонии и союзники Франции, подчиняясь необходимости, будут принимать торговые суда тех, кто в состоянии удовлетворить их нужды». За мечом романтика войны последовали бы алчные торговцы.

Привлекательность латиноамериканского проекта для крайних федералистов усиливало и то, что пользующаяся в стране популярностью война за новые территории усилила бы позиции «партии войны» и дала бы ей возможность душить оппозицию. Ура-патриотический угар не мог продолжаться долго в условиях мира. «Всеобщий энтузиазм и единство всей страны», предупреждал Гамильтона Кинг, не сохраняется без «какой-нибудь значительной цели, которая захватила бы народ». «Развязывайте войну, называя ее самообороной, — наставлял Пикеринга Эймс, — твердите гражданам об опасности и постепенно подводите их к войне».

Еще летом 1798 года на гребне шовинистической истерии были приняты репрессивные законы «Об иностранцах» и «О подстрекательстве к мятежу». Первый был направлен против французов, проживающих в США. Таких насчитывалось около 30 тысяч, в массе своей республиканцев. Он давал президенту в мирное время высылки любого из них по одному подозрению в «антигосударственной деятельности» и устанавливал жесткую систему периодической регистрации

всех иностранцев. Закон «О подстрекательстве к мятежу» карал тюрьмой и штрафом любые организованные попытки противодействия властям, а также лиц, виновных в «скандальных или угрожающих» заявлениях в адрес государственных деятелей: президента, министров, членов конгресса. Он ставил вне закона практически любую оппозицию, попирал билль о правах и ударял прежде всего по республиканской прессе. По символическому совпадению он был принят 4 июля — в день независимости, что дало федералистам возможность связать его с автором исторической декларации. На своем юбилейном митинге в Нью-Йорке они пили за нового Самсона — «Джона Адамса — да побей он тысячу французов именем Джефферсона!»

Гамильтон не был инициатором этих мер, но полностью одобрил их после принятия, требуя лишь особого подхода к иностранцам «хорошего поведения» и предостерегая против ненужной жестокости. Его экстремизм лежал глубже. Заткнуть рот оппозиции недостаточно, это лишь наркоз, а нужна серьезная хирургическая операция — реформа государственного устройства, которая бы навсегда гарантировала общество от подобных рецидивов фракционности и дисубординации.

К этому мнению Гамильтон пришел в конце 1798 года — после того, как легислатуры Вирджинии и Кентукки объявили репрессивные законы неконституционными, а Вирджиния стала усиливать ополчение на случай возможной военной угрозы со стороны северо-восточных штатов. В письме спикеру палаты Дэйтону, написанном в начале 1799 года, он предлагал ужесточить судебную систему и репрессивные законы, разделить большие штаты на малые округа, иначе «они всегда будут соперничать с общей главой, пускаться в махинации против нее и в иных случаях могут добиться успеха». Эта стрела явно целила в сердце республиканизма — Вирджинию. Вскоре Гамильтон писал Сэдживику, что, не колеблясь, использует регулярную армию, чтобы «подавить непокоренный и могущественный штат».

Судя по этим наметкам, Гамильтон был готов пойти далеко, и кто знает, где бы он остановился? Истощенный десятилетней ожесточенной политической борьбой, утративший всякую надежду на общественное признание и законный путь к высшей власти, он, казалось, получил, наконец, последний шанс в виде кризисной ситуации, открывавшей новые возможности. Гамильтон не скрывал своего недовольства конституцией. «Можно ли было ожидать, — спрашивает Д. Адэр, автор этюдов о Гамильтоне, — что он смог бы устоять от соблазна «реформировать» ее силой в чрезвычайной обстановке воспламенившегося военного кризиса 1799 го-

да..? Разве не был Александр Гамильтон единственным из ведущих отцов-основателей, обладавшим стремлением, волей и способностями к политике цезаризма, который почти создал для себя возможность испробовать роль, успешно сыгранную его современником Наполеоном?» Вот именно — «почти». Слишком жесткие пределы ставила действительность тому насилью над историей, которое задумал Александр Гамильтон.



Все планы крайних федералистов зиждились на войне или во всяком случае сохранении крайней напряженности в отношениях с Францией. Только этим можно было оправдать наращивание армии, налогов, чрезвычайное законодательство. И вот эта опора их замыслов зашаталась: Франция все меньше «подыгрывала» федералистам. Скандал «хуз» и последовавшая вслед за ним военная мобилизация встревожили Талейрана и Директорию. Талейран поспешил уйти в тень, свалив вину за обострение отношений на анонимных провокаторов и самих американских посланников — «упрямых и неуклюжих людей», но это мало что меняло. Американцы готовились к войне.

Летом — осенью 1798 года на воду были спущены первые фрегаты — «Юнайтед Стейтс», «Констелейшн», «Конститушьон», намного превосходившие размерами и вооружением крупнейшие французские корабли. Строились и суда помельче, вооружались торговцы. Скоро молодой флот показал свою силу. К зиме прибрежные воды были очищены от французских каперов, значительная их часть захвачена, а в большом морском бою у острова Невис «Констелейшн» пленил «Инсургента» — один из лучших фрегатов французского флота. Необъявленная «квази-война», как ее нарекли, оборачивалась явно не в пользу Франции. К тому же она мешала ввозу из США продовольствия и других товаров, в которых по-прежнему нуждалась сама Франция и ее колонии в Вест-Индии. Все это вместе с возросшей опасностью англо-американского союза вынуждало Талейрана к большей осторожности в отношениях с заокеанской республикой.

В конце июля Директория по его совету прекратила каперство в Вест-Индии. Используя оставшегося в Париже члена американской дипломатической миссии Джерри, посланника США в Гааге Уильяма Меррея и другие косвенные каналы, Талейран начал склонять Адамса к мирному урегулированию.

В то же время сближение с Англией наталкивалось на серьезные препятствия. В военном отношении оно зашло довольно далеко: англичане поставили для борьбы с Францией пушки, стрелковое оружие, боеприпасы, конвоировали американские

торговые суда в Атлантике, защищая их от французских каперов. Но притеснения американской торговли с Францией и ее колониями продолжались, так же как и насильственный захват американских матросов для службы в королевском флоте. Как-то один ретивый английский капитан даже снял пятерых якобы беглых английских матросов с американского военного корабля «Балтимор». Правительство США было бессильно помешать этому, поскольку флот его величества господствовал на море и составлял передовую линию обороны в морской войне с Францией.

Не менее серьезные преграды планам федералистов постепенно выростали и в самих США. При всем разгуле националистических эмоций страна вовсе не хотела воевать. В конечном счете кризис «хуз» привел лишь к ликвидации профранцузского крена в общественных настроениях и возобладанию стремления к «равноудаленности» США от Франции и Англии. Чрезвычайные законы не оправдали себя: дав пищу республиканской пропаганде, они в то же время не сумели парализовать оппозицию. Тогдашний карательный аппарат государства был слишком неуклюж и маломощен, а сопротивление им слишком велико для того, чтобы обеспечить исполнение драконовского законодательства. Закон «Об иностранцах» практически не применялся, хотя тысячи французов сочли за благо покинуть США по собственной инициативе.

По закону «О подстрекательстве к мятежу» было вынесено всего 17 приговоров, но и те в большинстве своем обернулись в общественном мнении против самих гонителей. Были осуждены также несколько редакторов ведущих республиканских газет, а главный объект преследований — редактор филадельфийской «Авроры» Б. Раше умер перед самым процессом. Но их преемники упрямо продолжали войну с администрацией. Осужденные превратились в мучеников. М. Лайен, единственный республиканский конгрессмен, упрямый на четыре месяца за решетку, руководил оттуда своей избирательной кампанией и был с триумфом переизбран в конгресс.

Даже курьезы, случавшиеся ввиду особого служебного рвення некоторых федералистских судей, играли на руку республиканцам. В Дэдхеме (Массачусетс) местные блюстители порядка осудили нескольких человек за установку «шестов свободы» — старых революционных символов, сочтенных теперь «деревянными божками мятежа». В Ньюарке (Нью-Джерси) некоего Болдуина привлекли к суду только за то, что он при виде президентского экипажа и салютующих гвардейцев произнес: «Вот едет президент, а они стреляют ему в зад».

Дело получило большую огласку, и республиканские газеты долго склоняли на все лады вышеупомянутую часть тела президента, утверждая свое право на свободу слова.

При всей шумихе вокруг чрезвычайных законов отнюдь не они, непосредственно затронувшие лишь узкий круг людей, сыграли решающую роль в подъеме антиправительственных настроений. Содержание большой постоянной армии и усиление налогового бремени для выполнения военной программы федералистов — вот что било по каждому рядовому американцу. К 1799 году федеральный бюджет вырос почти в два раза по сравнению с 1796 годом в основном за счет военных расходов. Новый налог на дома и рабов охватил практически всех землевладельцев и значительную часть городского населения. Налоги вообще плохо приживались в стране, а тем более поборы на содержание армии, которой не с кем было воевать.

Как и во время «бунта из-за виски», сбор нового налога опять встретил сопротивление в Пенсильвании, но уже не со стороны анархистов-пионеров, а обычно законопослушных немецких фермеров. То был плохой признак для федералистов. Партия торговцев в аграрной Америке могла преобладать, только опираясь на фермерство прибрежных районов, занятое производством экспортной продукции. Теперь и эта опора начала трещать.

В начале марта группа вооруженных фермеров под руководством аукционера Фрайса освободила из тюрьмы в Бетегейме несколько злостных неплательщиков налогов. Операция вошла в историю под названием «бунта Фрайса». Гамильтон вновь поспешил использовать этот случай для демонстрации беспощадности государства в полном подавлении любого социального протеста. Он предупредил Макгенри об опасности «превращения бунта в восстание в результате первоначального применения недостаточной силы». Лучше перебраться в другом направлении: «Где бы ни появилось государство с оружием в руках, оно должно представлять Геркулесом и внушать уважение демонстрацией силы».

Регулярные части, как и следовало ожидать, легко управлялись с бунтовщиками. Фрайс и его помощники были приговорены к смертной казни за государственную измену. Впечатление триумфа карающей десницы государства несколько смазал президент. Несмотря на требования Гамильтона и кабинета дать «необходимый урок ради безопасности государства», Адамс помиловал осужденных.

Все новые поборы неумолимо гасили и без того ослабевающий с каждым месяцем воинственный дух. Набор в армию застопорился, в ней оказалось больше офицеров-федералистов,

чем солдат. В начале 1799 года генерал-инспектор оставил юридическую практику и занялся исключительно армией. Для Гамильтона вновь наступил период лихорадочной активности. Он увлеченно вникал во все: тактику и организацию, обучение личного состава, вопросы снабжения, лично следил за набором и даже придумывал новую военную форму. Но и эти его огромные усилия не спасли положения — временная армия по-прежнему существовала в основном на бумаге. Вся военная программа федералистов, проскочившая через конгресс в момент скоротечного всеобщего возмущения действиями Франции, повисла в воздухе.

Мало кто понимал суть происходящего так отчетливо, как Джефферсон. Философ-стоик, бесстрастно вззирающий с заоблачных высот чистого разума на разгул политической истерии, — таким он хотел казаться себе и другим в это тяжелое время. «Сейчас, когда кипят все страсти, — пишет он 9 мая Д. Льюису-младшему, — тот, кто сохраняет хладнокровие и не поддается заразе, настолько выпадает из общего тона, что в любом обществе оказывается в изоляции». По преданию, он находил прибежище лишь в научных кругах филладельфийского «философского общества», избравшего его своим председателем. «Я сменил свое здешнее окружение в соответствии с желанием, — пишет он дочери, — оставил богачей со всеми их обедами и приемами, общаясь исключительно с людьми науки». В действительности, и в мыслях, и в делах своих он был гораздо больше подвержен «политическим страстям», нежели хотел признаться даже самому себе. Вице-президент не только внимательнейшим образом анализировал ситуацию, но и активно вмешивался в нее. Из всех сил стремясь предотвратить назревавшую войну с Францией, он решился на крайний шаг. Через посланца Талейрана и своего давнего знакомого Виктора Дюпона, которого Адамс отказался принять, Джефферсон не только растолковал французам всю близорукость их политики, толкающей США к союзу с Англией, но и раскрыл военные планы федералистов в отношении испанских владений, державшиеся в секрете даже от конгресса. Тем самым вице-президент авторитетно подтвердил худшие опасения Талейрана и укрепил его в намерении пойти на мировую с американцами. Джефферсон, разумеется, действовал из лучших побуждений, считая, что цель оправдывает средства, как и Гамильтон 3 года назад во время переговоров с англичанами, но его биографы недаром до сих пор обходят этот эпизод стороной.

Не была для него загадкой и внутренняя подоплека планов федералистов. Подавление оппозиции, увеличение налогов, разбухание военной машины, возможный союз с Англией —

все это представлялось логическими ступенями деградации республиканского правления, перестройки его на английский манер. На этот раз в своем ортодоксальном предвидении Джефферсон был ближе к истине, чем когда бы то ни было. Больше всего его убедили в этом чрезвычайные законы — «отвратительное явление, достойное VIII или IX века», как писал он Мэдисону. Решительное проведение их в жизнь означало бы конец всякой оппозиции и могло проложить пути трансформации республиканского строя. Не случайно именно эти законы толкнули Джефферсона на самый энергичный его шаг как лидера оппозиции. Речь идет о знаменитых резолюциях Кентукки и Вирджинии.

Весть о принятии чрезвычайных законов застала вице-президента на отдыхе в Монтичелло. Должно быть, он немало передумал, прежде чем решиться действовать. Открытый личный протест был бы слишком опасен, да и не в характере Джефферсона — можно чего доброго и самому угодить в тюрьму за подстрекательство к мятежу, как случилось с беднягой-редактором У. Дюаном, ордер на арест которого пришлось подписать собственной рукой. Парламентские методы оказались недостаточными. Исполнительная и судебная власть также в руках федералистов. Что же можно противопоставить диктату федерального правительства? Ответ напрашивался сам собой — власть и права штатов. В августе Джефферсон составил проект резолюции против чрезвычайных законов, который сначала предназначался для Северной Каролины, а затем был переадресован в соседний Кентукки. Лидер местных республиканцев Д. Брекенридж внес его от своего имени, и в начале ноября резолюция была принята легислатурой. Подлинное авторство документа хранилось в глубокой тайне и стало известно только много лет спустя.

Резолюция исходила из договорной теории происхождения союза. Его создатели — штаты — объявлялись главными арбитрами, следящими за соблюдением конституции, правомочными как выявлять превышение федеральной властью своих обозначенных полномочий, так и «определять способы устранения этих нарушений». В данном случае расширенное толкование суверенитета штатов служило защите демократических прав, но нетрудно заметить, что в своем логическом развитии эта доктрина приводила к противопоставлению центральной власти штатам и, вполне возможно, к расколу федерации.

Такое развитие предусматривалось и самим Джефферсоном в тексте резолюции. Она наделяла каждый штат «естественным правом... аннулировать своей властью» любые федеральные законы, противоречащие, по их мнению, конститу-

ции. Это означало бы открытый вызов федеральной власти, поэтому Брекенридж и его коллеги поспешили изъять из проекта соответствующий абзац и сам термин «нуллификация» («аннулирование»). В принятой резолюции осталось доказательство неконституционности чрезвычайных законов и призыв к их отмене конгрессом, однако на следующий год в новой резолюции Кентукки открыто воззвал к «нуллификации».

Как следует из сравнительно недавно обнаруженного письма Мэдисону, написанного Джефферсоном в августе 1799 года, гипотетически он допускал возможность отделения от союза, «столь ценимого нами», ради сохранения прав самоуправления, которые «мы так берегли и в которых видим залог свободы, безопасности и счастья». Но это редчайший пример такого рода, результат свойственного Джефферсону «умозрительного» экстремизма, от проявления которого на практике его надежно хранило не только сдерживающее влияние соратников, но и собственный инстинкт умеренности.

В октябре 1798 года в Монтичелло Джефферсон обсуждал с Мэдисоном план действий, и последний, по-видимому, предостерег его от крайностей, ибо сходная резолюция, составленная Мэдисоном и принятая легислатурой Вирджинии, была гораздо сдержаннее джефферсоновской.

Через несколько десятилетий развитая до крайних пределов доктрина прав штатов и «нуллификации» стала знаменем рабовладельческого Юга в борьбе с промышленным Севером за сохранение рабства. И по сей день она состоит на вооружении реакционеров всех мастей для противодействия либеральному законодательству, которое трудящиеся вырывают у федерального правительства. Такова историческая метаморфоза этого принципа, к которой Джефферсон, разумеется, не причастен.

Тогда, в горячке борьбы за существование партии, его заботили не столько доктринальные нюансы, сколько непосредственный политический эффект резолюций. В быстро меняющейся обстановке он вовсе не хотел связывать себя жесткими путями догматизма. Хотя Джефферсон и писал Мэдисону в ноябре, что следует придерживаться принципов этих резолюций, он вместе с тем предупреждал: «Нужно оставить все в таком состоянии, чтобы мы не были абсолютно обязаны доводить их до крайности и в то же время были свободными в их использовании в зависимости от обстановки».

Резонанс резолюций оказался скромнее, чем ожидалось. Ни один штат не поддержал Вирджинию и Кентукки, движение за отмену чрезвычайных законов не достигло своей цели. Весь арсенал средств партийной борьбы был, казалось, исчерпан. Но Джефферсон не впал в отчаяние. Скрупулезный анализ ситуации убедил его в том, что на стороне республиканцев

самый верный союзник — время. Политическая истерия, вспыхнувшая после скандала «хуз» («болезнь воображения», как называл ее Джефферсон), скоро пройдет, писал он Тэйлору, «и врач уже находится на пути к больному в облике налогового инспектора». Он давно ждал и много раз предсказывал, что демократический инстинкт народа должен поднять его против федералистов, но никогда еще его вера в республиканские добродетели не имела под собой столь прочного фундамента.

Джефферсон самым тщательным образом подсчитывает рост военных расходов и налогов, справедливо усматривая в этой простой арифметике ключ к разгадке сложных социальных хитросплетений. «Кошелек — вот главное вместилище чувствительности народа, — пишет этот знаток народных чаяний в конце сентября А. Роуэну. — Его вытряхнут как следует, и тогда народ прислушается к истине, которая иначе никак не доходит до него». Несколько позже в письме Монро он привел все факторы, действующие против федералистов: «чрезвычайные законы, прямой налог, дополнительная армия и военно-морской флот, ростовщический заем для осуществления этих безумств, перспектива дальнейшего увеличения налогов... вербовщики, слоняющиеся по дворам и отрывающие работника от его плуга». Поэтому «немного терпения, — успокаивал он Тэйлора, — и мы увидим конец правления ведьм, рассеивание их чар и народ, вновь обретший здравый смысл, возвращающий государство к его истинным принципам».

Отсюда — тактические рецепты: федералисты сами роют себе могилу, не нужно им мешать; лучше всего — спокойное выжидание и осторожное подталкивание событий путем просвещения народа. Силы партий после выборов 1796 года примерно равны, понимал Джефферсон, одного Юга недостаточно, чтобы свалить федералистов. Ключевое значение имели густонаселенные центральные штаты, в первую очередь Пенсильвания. Поэтому главное — не делать грубых ошибок, избегать крайних мер, которые могут остановить намечающееся изменение в соотношении сил. «Всякое поспешное или угрожающее действие может нарушить благоприятное расположение срединных штатов и объединить их в принятии мер, губительных для нас», — делится он с Мэдисоном в январе 1799 года.

Джефферсон мыслит как партийный лидер, жертвующий доктринальной чистотой во имя прагматической цели — сколачивания коалиции большинства. Этого никогда не умел Гамильтон. Поэтому вице-президент сдерживает своих рьяных коллег по партии вроде Тэйлора, призывающих к отделению южных штатов; поэтому он очень опасается превращения локальных волнений в вооруженные бунты. «Любое подобное

насилие, — пишет он Э. Пендлтону после начала бунта Фрайса, — остановит благоприятное развитие общественного мнения и сплотит народ вокруг государства. Это не та оппозиция, какую приемлет американский народ. Устраните угрозу силы, и они изживут порочные методы правления с помощью конституционных методов выборов и петиций».

Но Джефферсон был слишком опытным политиком, чтобы полностью уповать на стихийное пробуждение одурманенного федералистами народа. Процесс этот явно нуждался в стимулировании и руководстве. «Здесь двигателем является пресса. Каждый обязан внести свой вклад кошельком и пером», — внушает он друзьям. С конца 1798 года Джефферсон берет на себя всю работу по координации республиканской пропаганды: заказывает, проверяет и рассылает статьи и памфлеты, организует сбор средств и новые партийные издания. Он черпает надежду в сообщениях о миролюбивом повороте в политике Директории, исходящих от французских друзей — Вольнея, Дюпона, посылает к Талейрану своего гонца — доктора Джорджа Логана. Не часто встречался в истории США такой занятый вице-президент.

На этот раз расчет Джефферсона оказался безошибочным. Но не он один разглядел слабину курса крайних федералистов. Не укрылась она и от президента Адамса. Его расхождения с экстремистами имели к тому времени уже свою историю.

Первым по порядку и значению яблоком раздора стала армия. При всех своих воинственных кличах Адамс как истый республиканец с самого начала противился созданию большой постоянной сухопутной армии. Другое дело — морской флот, не несущий угрозы военного деспотизма. «Я всегда требовал, — вспоминал он впоследствии, — „кораблей, кораблей!“ А коньком Гамильтона было — „войск, войск!“» Армия пала еще ниже в глазах Адамса, когда оказалась под началом Гамильтона. Последней надеждой президента было использовать ее как кормушку для своих потенциальных сторонников из числа колеблющихся республиканцев в ключевых штатах — Нью-Йорке и Пенсильвании. Но командующий и его заместитель допускали в армию только правоверных федералистов, и кандидатуры, предложенные Адамсом на высокие командные посты, были категорически отвергнуты. Собственное бессилие приводило президента в ярость. Легко ли было самолюбивому Адамсу ощущать себя «всего лишь вице-королем при Вашингтоне, который в свою очередь был вице-королем при Гамильтоне!»

По мере того как армия превращалась в тяжелое для народа бремя, а ее назначение становилось все более неопределенным («Вероятность встречи с французской армией на суше не больше,

чем на небесах», — ворчал президент), Адамс переходил к открытому бойкоту всей военной программы. Не хуже Джефферсона он понимал, что военные расходы «подрывают авторитет правительства больше, чем все другие его акты». «Эта проклятая армия будет погибелью для страны!» — кричал он на Уолкота. Адамс сделал все от него зависящее, чтобы оттянуть набор во временную армию до весны 1799 года, а к тому времени никто уже не хотел воевать.

Некоторые историки до сих пор объясняют этот зигзаг Адамса его интуитивной ненавистью к Гамильтону. На деле мотивы и действия президента были куда более рациональными. Он быстрее и раньше крайних федералистов понял, что план Гамильтона в худшем случае грозит ввергнуть страну в пучину гражданской войны, а в лучшем — подготовить крах федералистской партии. Адамс не просто мстил Гамильтону, но и спасал свою политическую карьеру, стремясь создать опору из умеренных обеих партий, которая бы вынесла его к президентскому креслу на следующих выборах. К осени 1798 года в руках у Адамса оказался важный козырь — он удостоверился, что войны с Францией не будет.

Первое надежное заверение в миролюбивых намерениях Директории он получил от Джерри, вернувшегося в США в начале октября. Федералисты встретили Джерри как предателя, намалевали на его доме кровавую виселицу, но Адамс принял его дружелюбно и внимательно выслушал. Позднее он писал, что Джерри «спас страну для мира».

Об искренности поворота Талейрана сообщали и другие источники, например сыновья президента, находившиеся на дипломатической службе, Меррей и др.; они же советовали послать в Париж новую миссию. Кабинет и слышать не хотел об этом, требуя заведомо невозможного — чтобы Франция первой прислала своих послов. Пути Адамса и крайних федералистов расходились все дальше: те становились все агрессивнее, в отчаянии пытались хвататься за соломинку войны, а президент с каждым днем все больше склонялся к миру. Когда Адамс прослышал о плане Гамильтона наделить президента полномочиями объявлять войну без согласия конгресса, его негодованию не было предела. «Из нас двоих кто-то определенно рехнулся, — возмущался Адамс в письме жене. — Он не имеет понятия о характере, принципах, мнениях и предрассудках этой страны. Если конгресс согласится с таким планом, это приведет к восстанию всю страну от Вирджинии до Нью-Гемпшира. Не нравится мне эта храбрость, которая растет по мере уменьшения опасности».

В декабрьском послании конгрессу президент оставил дверь для переговоров открытой, подтвердив свои прежние условия:

миссия будет послана только после получения гарантий ее достойного приема. Адамс еще не знал, что такие гарантии уже даны и плывут в Америку. Это было письмо Меррея с приложением послания Талейрана французскому послу в Гааге Л. Пишону. В нем Талейран, цитируя собственные слова Адамса, заверял, что американские послы будут приняты как представители «свободного, независимого и могущественного государства».

Адамс получил письмо Меррея в начале февраля — почти одновременно с конфиденциальным посланием Вашингтона, в котором тот осторожно напоминал о том, что «американский народ жаждет мира». Адамс понял, что Вашингтон не будет противиться проведению переговоров. Заручившись молчаливым согласием главнокомандующего и полуофициальными гарантиями Франции, президент почувствовал себя хозяином положения и принял самое важное в своей жизни решение: 18 февраля он без уведомления кабинета передал в конгресс письмо Талейрана Пишону и объявил о назначении Меррея послом на переговоры с Францией.

Джефферсон, как президент верхней палаты зачитывавший послание президента в сенате, едва не выронил бумагу из рук от изумления. «Вчера было объявлено о событии событий, — писал он на следующий день Пендлтону. — Что бы ни случилось дальше, решение президента обрекает на провал любые усилия, направленные к войне». Крайних федералистов, несмотря на все предшествующие ему симптомы, решение Адамса также застало врасплох. Столь вопиющего самоуправства от него не ожидали.

Как и Джефферсон, они прекрасно понимали значение происшедшего — Адамс заложил мину под самый фундамент всей их программы. «Трудно представить более разрушительный и ошеломляющий шаг», — писал Гамильтону Сэджвик. «Удивлению, возмущению, скорби и отвращению» не было предела, вспоминал Кэбот. Однако умеренные федералисты в администрации — министр юстиции Ч. Ли и военно-морской министр Стаддерт — поддержали Адамса. Экстремисты с нетерпением ждали инструкций от своего предводителя в Нью-Йорке. Гамильтон посоветовал оказать нажим на президента, а в случае неудачи хотя бы расширить состав миссии за счет надежных федералистов.

Но, как выражалась его верная Абилайль, Адамс был «сделан не из ивы, а из дуба — его можно вырвать с корнем или сломать, но не согнуть». Он пригрозил уйти в отставку и уступить свое место Джефферсону. Сенату удалось лишь дополнительно ввести в состав миссии О. Элсворта и Патрика Генри, замененного потом другим федералистом — У. Дэви.

Только угроза отставки президента предотвратила открытый разрыв между Адамсом и фракцией Гамильтона. Последний, однако, не терял надежды вернуть контроль над положением. Он продолжает переписку с Мирандой и Кингом, бьется над проблемой комплектования армии, пытается с помощью кабинета сорвать или оттянуть отправку миссии во Францию.

Президент после своего решительного демарша надолго удалился в родное поместье Квинси, и Гамильтон начал подталкивать кабинет к самостоятельным действиям. «Если шеф безучастен, — наставляет он Макгенри, — его министры должны быть более едины и решительны в своем плане действий». Наконец, в сентябре, бросив армию, он мчится в Трентон — временную резиденцию правительства на время эпидемии желтой лихорадки в Филадельфии, — чтобы на месте самому руководить действиями кабинета. Там его и застаёт Адамс, чье возвращение было ускорено тревожными слухами об интригах министров. Последовало тягостное объяснение. Гамильтон долго доказывал нецелесообразность заключения мира с Директорией, пуская в ход последние козыри — нестабильность режима, слухи о готовящейся реставрации Бурбонов, победы Суворова в Италии. Но Адамс стоял, как скала, и, напротив, ускорил отправку послов. В начале ноября они отплыли во Францию. Это был только первый из заключительной серии ударов, нанесенных Гамильтону судьбой.

Следующим стала внезапная кончина Вашингтона в декабре 1799 года. Еще осенью некоторые отчаявшиеся федералисты пытались склонить престарелого генерала к мысли вновь баллотироваться в президенты, но в ответ получили лишь суровое предупреждение: «В то время как поведение антиков отличается твердостью, наши фавориты меняются каждый день... если федералисты будут гоняться за личностями, а не принципами, их дело скоро погибнет». Мудрый совет пропал втуне, и вот Вашингтона не стало, а с ним и спасительного ореола его имени. Для Гамильтона потеря была невосполнима. Только теперь он понял, какое место в его жизни занимал Вашингтон. «Для меня он был защитой и притом чрезвычайно необходимой», — писал он секретарю главнокомандующего. «Не могу выразить, насколько сохранение его доверия и дружбы было бы необходимо для меня в будущем», — признался Гамильтон вдове покойного. Он как будто предвидел последствия будущих крайностей в своем поведении, от которых прежде его нередко ограждало здравомыслие старого патрона. Вопреки процедуре Адамс и не подумал назначать генерал-инспектора на освободившееся место главнокомандующего.

Неуклонно сокращалось и влияние Гамильтона на конгресс.

Под воздействием военной горячки федералисты победили на выборах 1798—99 годов, но большую часть «пополнения» составляли новые политики умеренного толка, предпочитавшие сдержанный курс Адамса. По словам Сэджвика, то была «тень федерализма», лишенная прежней «твердости, выдержки и ума». Уже в начале 1800 года конгресс сократил военные расходы и приостановил дальнейший набор в армию. Планы великих завоеваний рушились на глазах нетерпеливого полководца. Страна жаждала спокойствия, а не имперской славы. «Америка, если ей суждено достичь величия, — с горьким сарказмом поведал Гамильтон Сэджвику, — должна будет ползти к нему. Что же, быть посему. Медленно, но верно — неплохое правило. Улитки — премудрые создания». «У меня смешливое настроение, — мрачно шутил он в письме У. Смитту. — Что еще остается нам в этом лучшем из возможных миров?»

Он казался таким отчаявшимся, что Генри Ли счел нужным утешить его: «Больно видеть вас столь подавленным... Будьте верны себе и боритесь с врагами до победы». Сконфуженный проявлением собственной слабости и не терпящий сочувствия Гамильтон отвечает: «Вы ошибаетесь на мой счет. Поверьте, я далек от отчаяния. Страна слишком молода и сильна, чтобы утратить свое политическое здоровье; что же касается меня, то я стою на таком основании, которое рано или поздно обеспечит мне триумф над всеми врагами. Но покуда я не совсем бесчувствен к той несправедливости, которой время от времени подвергаюсь и жертвой которой стал сейчас. Такая чувствительность, возможно, есть следствие преувеличенной оценки собственных услуг, оказанных Соединенным Штатам. Но в таких случаях каждый судит сам за себя, и если человек подвержен тщеславию, то он должен мириться и с теми горестями, которым оно же подвергает его. Однако, невзирая на собственное недовольство, я ни в коем случае не пойду войной против общественного интереса. Он для меня священ».

И это были не просто слова. При всем своем ожесточении фактический командующий армией Гамильтон не переступает последней роковой грани, за которой начинается измена и государственный переворот. Возможно, это комплимент не столько его принципам, сколько чувству реальности. Во всяком случае Бэрр потом корил его за то, что он упустил такую блестящую возможность «изменить государственный строй». Гамильтон возразил что-то насчет морали. «Великие души не считаются с мелочной моралью», — парировал Бэрр. Но это было бы практически неосуществимо ввиду настроений и обстановки в стране, продолжал Гамильтон. «Здесь все зависит от оценки

человеческих страстей и способа влияния на них, — невозмутимо ответственал Бэрр. — Бонапарт бы не считал такой план узурпации утопическим».

Гамильтон оставался на высоте положения и позднее — в декабре 1800 года, когда поступили вести о заключении нового договора с Францией. Этот договор аннулировал союз 1778 года и предусматривал нормализацию торговых отношений между двумя странами, включая признание прав нейтральной торговли. Пойдя на эти уступки американцам, первый консул Наполеон, сбросивший к тому времени Директорию, рассчитывал вовлечь США в новый «вооруженный нейтралитет», создаваемый североевропейскими странами. Поскольку освободиться от «опутывающего союза» удалось только ценой отказа от требований возместить ущерб, нанесенный действиями Франции американским торговцам, большинство федералистов было против ратификации договора. Гамильтон же понимал, что добиться от Франции большего «при нынешнем состоянии европейских дел и настроений народа» нельзя, и приложил все силы для ратификации соглашения.

Но враги наносили все новые удары. На выборах в нью-йоркскую легислатуру 1 мая Бэрру удалось объединить фракции Ливингстонов и Клинтона и вырвать победу у федералистов. Легислатура избирала выборщиков, и потому победа республиканцев в Нью-Йорке имела огромное значение для исхода президентских выборов. Через три дня Адамс одним ударом расправился с гамильтоновскими министрами — Макгенри и Пикерингом, выведя их из состава кабинета и объявив тем самым открытую войну крайним федералистам. И, наконец, временная армия пришла в такой безнадежный упадок, что 1 июня Гамильтон был вынужден подать в отставку. Это уже походило на катастрофу, и его меланхолия сменилась приступом бешеной ярости. Слепленный ею, Гамильтон совершает один промах грубее другого.

Он пытается переиграть «битву за Нью-Йорк» и ради этого пишет письмо губернатору Джею с просьбой изменить метод избрания выборщиков: пусть их выбирает не легислатура, а непосредственно избиратели. «Во времена, подобные тем, в которые мы живем, нельзя быть слишком шепетильным», — убеждает он. Нью-Йорк стоит обедни; во имя «великого дела общественного порядка» можно слегка нарушить приличия, чтобы «не допустить атеиста в религии и фанатика в политике (Джефферсона. — В. П.) к рулю государства». «Предлагает меру для партийных целей, которую я не могу принять», — пометил на полях письма Джей. Старый федералист был слишком большим законником, чтобы пойти на откровенное жульничество.

На выборах 1800 года Гамильтон и его окружение намеревались вновь проводить прежнюю стратегию — выставить кандидатуры Адамса и Пинкни с последующим обезвреживанием Адамса. «Равная поддержка Адамса и Пинкни — единственное, что может спасти нас от лап Джефферсона, — инструктировал Гамильтон Сэдживика. — Поэтому необходимо, чтобы федералисты не раскалывались...» На этот раз план оказался еще более нереальным, чем четыре года назад.

По мере того, как гамилтоновцы осознавали неосуществимость своих планов, а Адамс разгадывал их интриги, борьба между фракциями делалась все ожесточеннее. Выведенный из равновесия Гамильтон пускается на крайнее средство. Он сочиняет злобный памфлет против Адамса, дабы очернить его в глазах федералистов и поднять шансы Пинкни. Предназначенный для узкого круга и подписанный самим Гамильтоном, памфлет был перехвачен Бэрром, и тот — к вящему удовольствию республиканцев — сделал его достоянием широкой публики, о чем автор, впрочем, вовсе не жалел.

В нем он припомнил все прегрешения Адамса и нарисовал портрет человека, «отличающегося отвратительным эгоизмом», «непомерной ревностью», «неуправляемой вспыльчивостью» и «безграничным тщеславием». Даже Джефферсон лучше, чем Адамс. «Если нам суждено иметь врага во главе государства, пусть это будет открытый противник, за которого мы не ответственны, который не навлечет на нашу партию позора своими глупыми никчемными действиями».

Это была роковая ошибка. Целя в Адамса, Гамильтон попал в самого себя. Популярность Адамса — не столько врага партии, сколько лично Гамильтона, — была, по существу, главным оставшимся капиталом федералистов. Гамильтон навлек на свою голову гнев единомышленников за то, что поставил личные счеы выше партийных соображений. По всеобщему признанию, нарисованный портрет больше походил на портрет самого Гамильтона, чем Адамса, о чем ему откровенно писал Кэбот. «Ваше тщеславие, гордость и властолюбивый характер обрекли вас быть злым гением страны», — вынес Гамильтону суровый приговор федералистский публицист Н. Вебстер. И последнее ироническое обстоятельство: республиканский журналист, жертва чрезвычайных законов Т. Купер предложил осудить Гамильтона за клевету на президента по закону «О подстрекательстве к мятежу». Адамс почему-то не дал хода этому делу.

Безрассудный выпад восстал против Гамильтона не только умеренных федералистских лидеров, но и часть экстремистов — таких как Харпер и Джей. А старая, лично преданная ему гвардия федерализма редела. Одни, как Кинг и Смит,

перешли на денежную дипломатическую работу; другие бесславно закончили жизнь — Р. Моррис в долговой тюрьме, Дж. Вильсон — в пьянстве и болезнях; остальные, как Сэджвик и Отис, готовились бросить политику. Гамильтон превращался в полководца без армии, да и остатки ее все неохотнее подчинялись ему.

Федералистскому разброду противостояла возросшая, как никогда, сплоченность республиканцев. Они вновь выдвинули Джефферсона и Бэрра — диумвират Вирджинии и Нью-Йорка. Сами кандидаты, как водится, в кампании не участвовали, но уже отлаженная партийная машина делала свое дело. Избирательные лозунги республиканцев, разработанные Джефферсоном, — политическая изоляция от полыхающей Европы, мир и торговля со всеми странами, роспуск армии и сокращение налогов, соблюдение конституции и демократических прав — отвечали настроениям народа. При этом республиканцы могли извлекать выгоды из промахов федералистов.

Республиканская пропаганда умело учитывала региональные различия и соответственно обрисовывала облик своего главного кандидата. В аграрных районах он изображался «другом фермеров», отчеканившим вешие слова о «богоизбранном народе»; в восточных штатах — «покровителем торговли и мореплавания», поборником религиозной свободы и освобождения рабов. Такая тактика оказалась небезопасной: на Юге прослышали о великом эмансипаторе. Другьям пришлось потратить немало сил, чтобы успокоить плантаторов относительно намерений Джефферсона: ведь не освободил же он собственных рабов!

Федералистская пресса старалась отыграть очки с помощью усиленных нападков на вице-президента, но даже нарисованная ими демоническая фигура «якобинца-философа-атеиста» не смогла заслонить всю неприглядность облика федералистов с их послужным списком.

Впрочем, вопреки страхам одной и надеждам другой стороны, выборная гонка проходила очень ровно. Новая Англия и Делавэр пошли за федералистами, а Нью-Йорк, Юг и Запад остались за республиканцами. Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина оказались расколотыми. Выборщики голосовали строго по партийному принципу, лишь один из делегатов Род-Айленда нарушил дисциплину, отдав свой голос Джею вместо Пинкни.

Решающим стало последнее по счету голосование в Южной Каролине, перед которым Джефферсон, Бэрр и Адамс имели по 65 голосов, а Пинкни — 64. Особые надежды на этот тур возлагал Гамильтон. Именно здесь намечалось «обезвреживание» Адамса в результате ожидаемого распределения голосов

между двумя южанами — Джефферсоном и Пинкни. Но Южная Каролина, во многом благодаря неустанным стараниям Чарльза Пинкни — однофамильца кандидата федералистов и сенатора от этого штата, отдала голоса всех своих выборщиков Джефферсону и Бэрру. Победа далась нелегко. «Хромые, калеки, больные и слепцы — всех вели или несли на носилках к урнам, — с воодушевлением докладывал Пинкни Джефферсону. — Проголосовавших на несколько сотен больше, чем налогоплательщиков».

Триумф республиканцев был изрядно подпорчен ничьей в соревновании Джефферсона и Бэрра, получивших по 73 голоса каждый. Право окончательного выбора, согласно конституции, принадлежало палате представителей, а это предвещало новые интриги и сделки. Джефферсон был чрезвычайно расстроен. Соратники твердо обещали «украсть» у Бэрра несколько решающих голосов. Он уже успел свыкнуться с мыслью о победе и даже начал формировать будущий кабинет. А теперь, «после столь энергичных усилий, увенчанных успехом, мы оказались в руках наших врагов», — жаловался он Мэдисону.

У федералистов, имевших незначительное большинство в палате, был в запасе весьма рискованный вариант — бойкотировать выборы, а в период междувластия избрать президентом спикера палаты или какое-нибудь другое послушное должностное лицо. Но такой план отдавал узурпацией власти и не нашел достаточно сторонников. Оставался тяжкий выбор между Джефферсоном и Бэрром.

Последний, было, объявил, что уступает первенство вирджинцу, но взял свои слова обратно, как только понял, что и сам может рассчитывать на президентское кресло. Многие федералисты палаты предпочитали делового оппортуниста Бэрра «нерешительному теоретику» Джефферсону. Люди более трезвомыслящие, близко знавшие обоих претендентов, — Г. Моррис, Джей, сам президент Адамс — высказались в пользу Джефферсона. «Неужели, — воскликнул Адамс, — все старые патриоты, подлинный опыт и таланты федералистов и антифедералистов должны подвергнуться унижительному лицемерию того, как этот ловкач Бэрр, подобно воздушному шару, наполненному горячим газом, поднимается над их головами?» Но главным адвокатом Джефферсона стал, как ни странно, сам «колосс федерализма».

Исход выборов развеял последние надежды. Трудно представить более стремительное и бесповоротное низвержение с высот власти, чем то, которое пережил Гамильтон. Всего только год назад он был влиятельнейшей политической фигурой страны, лелеял грандиозные планы, готовые вот-вот свершиться... А теперь он всего лишь обыкновенное частное

лицо и в свои сорок три года осужден на томительное прозябание в трясине штатской жизни. Особую горечь его личной трагедии придавали одновременный триумф двух самых лютых врагов и мука предстоящего выбора между ними. И в этот момент своей глубочайшей катастрофы, когда он, гордец и честолюбец, казалось бы, должен был потерять рассудок от ненависти и отчаяния, Гамильтон проявляет редкую твердость духа и дальновидность. Он находит в себе достаточно мужества для того, чтобы попытаться предельно объективно решить для самого себя, кому из двух врагов безопаснее доверить государственную систему, в которую он вложил столько сил и которую так стремился возглавить сам.

Для Гамильтона наступил момент испытания на прочность своих привычных узкопартийных установок во имя более высоких соображений. «Если и есть на свете человек, которого я должен ненавидеть, так это Джефферсон, — пишет он Г. Моррису. — С Бэрром у меня всегда были неплохие личные отношения. Но общественное благо должно преобладать над любыми частными мотивами». Оценка противника переносилась из привычной плоскости межпартийной склоки в новую, гораздо более ответственную плоскость передачи власти. В письме федералисту Джеймсу Байярду — одному из немногих, от кого зависел исход голосования в палате, Гамильтон излагает свои соображения наиболее полно.

В отзывах федералистов о Джефферсоне, начинает он, «я нахожу много преувеличенного. Пусть я буду первым, кто с ущербом для собственной популярности приоткроет завесу над подлинной натурой Джефферсона. Слишком поздно мне становиться его апологетом, да и нет на то желания». И все же. Пусть Джефферсон «чересчур серьезно относится к своей демократии», пусть он «был злобным врагом нашего правления», пусть он «презренный лицемер», зато в душе он «не противник исполнительной власти и не поступится ее правами, когда сам станет президентом». Далее Гамильтон дает очень реалистическую и прямо-таки пророческую характеристику своему противнику. «Неверно и то, что Джефферсон настолько фанатик, чтобы в следовании своим принципам пойти на что-нибудь противоречащее его интересам или популярности. Не менее любого другого он склонен к осторожности и приспособлению, расчетливости во всем том, что может послужить его выгоде и репутации. Вполне вероятным следствием такой природы является сохранение систем, хотя первоначально и отвергавшихся, но которые, будучи однажды установлены, уже не могут быть опрокинуты без опасности для инициатора таких действий. На мой взгляд, истинная оценка качеств мистера Джефферсона позволяет ожидать от него осторож-

ного приспособления, а не радикальной перестройки». Даже «пагубная предрасположенность» Джефферсона к Франции не так уж страшна, ибо это еще вопрос, «насколько она проистекает из его внутренних убеждений, а насколько из общей популярности Франции среди нас». А значит, по мере «сокращения этой популярности будет остывать и его пыл... Добавьте к этому, что нет разумных оснований подозревать его в продажности, а это дополнительная гарантия того, что он не выйдет за известные пределы».

По контрасту с осторожным и практичным Джефферсоном Бэрр для Гамильтона, напротив, — олицетворение произвола и насилия, «американский Катилина», «самый неподходящий в Соединенных Штатах человек для роли президента», который, как твердил Гамильтон Г. Моррису, «достаточно самоуверен, чтобы замахиваться на любые дела, достаточно смел, чтобы пойти на все, и достаточно безнравственен, чтобы ни перед чем не остановиться». «Хотя я убежден в его крахе, я также почти уверен, что он пойдет на узурпацию, и эта попытка приведет к немалым бедствиям». Трудно было предсказать точнее судьбу Бэрра.

Эти мысли Гамильтона в высшей степени выразительны. Они говорят о великой схватке больше, чем горы листовок и памфлетов. «Чувство обстановки (Гамильтона. — В. П.), скрытое признание того, что в конце концов «хорошие люди» есть в обоих лагерях, мощным лучом света пронзает мутные и темные глубины федералистской риторики, — отмечает историк Р. Хофстедер. — Около восьми лет федералисты поносили Джефферсона и его партию, дойдя в последние годы до того, что обвиняли лидера оппозиции, вице-президента Соединенных Штатов в якобизме, атеизме, фанатизме, безответственности, глупости, некомпетентности, личном вероломстве и политическом предательстве. Теперь этот «атеист в религии и фанатик в политике» должен был спокойно водвориться в новенький Белый дом благодаря любезности кучки федералистских конгрессменов. И хотя в партии федералистов вряд ли нашелся бы хоть один человек, доверявший ему, не нашлось в ней и такого, кто бы поднял на него руку. Федералисты... предпочли рискнуть с Джефферсоном, нежели с конституционной системой, созданной с таким трудом».

Но какая горькая ирония судьбы! Гамильтону приходилось использовать остатки своего влияния, чтобы выдвинуть своего величайшего врага на пост, которого он так желал для самого себя. Но даже это теперь не удавалось ему. Федералисты палаты не вняли его советам, оставаясь в плену собственной пропаганды, и продолжали рассуждать о «некомпетентности» и «радикализме» Джефферсона. Четыре дня и трид-

цать пять туров голосования не изменили первоначального результата: восемь штатов — за Джефферсона, шесть — за Бэрра, Вермонт и Мэриленд — расколоты. Сдвиг одного только голоса в делегациях двух колеблющихся штатов или Делавэра, чей единственный представитель — Байярд — голосовал за Бэрра, принесли бы победу Джефферсону.

Не известно, во что вылилось бы это рискованное состязание, если бы Байярд не прельстился ролью спасителя страны и «делателя президентов». Следуя совету Гамильтона, он решил предварительно получить от Джефферсона гарантии на будущее. Эти условия Гамильтона — Байярда интересны тем, что точно определяют параметры реальных расхождений между партиями к этому времени. Речь шла о сохранении финансовой системы, военно-морского флота, внешнеполитического нейтралитета и основного состава государственного аппарата, за исключением министерских постов. Госаппарат был насквозь федералистским, и его замена представлялась единомышленникам Гамильтона концом всякого упорядоченного правления.

Когда республиканец из Мэриленда С. Смит, взявший на себя роль посредника, сообщил Байярду о положительной реакции Джефферсона на предложенные условия, тот объявил, что покидает Бэрра. Поскольку исход борьбы стал ясен, федералисты решили хотя бы избавить себя от унижительной процедуры голосования за ненавистного вирджинца. Представители Южной Каролины и Делавэра, ранее голосовавшие за Бэрра, опустили чистые бюллетени, а федералисты Вермонта и Мэриленда воздержались от голосования. 17 февраля на тридцать шестом туре Джефферсон победил с результатом десять штатов против четырех.

Впоследствии Байярд заявлял, что Джефферсон выторговал себе президентство. Тот решительно протестовал. «Было много попыток заручиться моими обещаниями, — писал он. — Я отвечал всем, что не стану получать правительство через капитуляцию и не войду в него со связанными руками».

Нельзя не учитывать и то, что Джефферсон — без пяти минут президент — мыслил, естественно, уже иными категориями, чем Джефферсон — лидер оппозиции. Примеряясь к Белому дому, он, как и Гамильтон, был вынужден корректировать свои прежние установки с учетом подлинного соотношения политических сил. В конце концов победа над Адамсом была достигнута очень незначительным большинством, а семь северо-восточных штатов из шестнадцати не дали ему ни одного выборщика. Ограниченность региональной базы республиканцев очень беспокоила Джефферсона. «Если вся Новая Англия и дальше останется в оппозиции, наше правле-

ние будет очень нелегким», — писал он в августе. Соотношение сил между партиями было почти равным, и уже одно это предостерегало против крайних мер. Джефферсон свободно делился планами на будущее со своими сторонниками, включая того же Смита, и даже с некоторыми знакомыми федералистами — общий смысл его намерений не был тайной.

Много позже Смит признался, что вовлек Джефферсона в беседу по пунктам, интересующим Гамильтона и Байярда, «без малейшего ведома» вирджинца, который и не подозревал о его целях. Сделки «по рукам», как видно, не было. Да и существовала ли в ней необходимость, если уже наметилось обоюдное понимание возможных пределов партийных разногласий, необходимости политической преемственности во имя сохранения системы?

Пока это понимание оставалось привилегией немногих. На флангах федералисты и республиканцы, одурманенные собственной многолетней пропагандой, готовились к концу света и второму пришествию, причем радужные надежды одних лишь подкрепляли апокалипсические видения других, и наоборот. «Начинается XIX век...», — восклицал один республиканский публицист, — политический горизонт раскрывает прекрасные перспективы для правления Джефферсона — неодолимое расширение прав человека, ликвидация иерархии, гнета, предрассудков и тирании во всем мире». «Мы считаем, что великая работа только начинается, — пояснял один из вирджинских лидеров Дж. Рэндольф, — и что без коренных преобразований у нас мало оснований поздравлять самих себя по поводу простой замены одних людей другими». Радикальные республиканцы готовились и камня на камне не оставить от неприятельской системы.

«Трепещите все владельцы государственных бумаг, ибо конец ваш близок, — горестно откликнулась на перемены федералистская газета «Коламбия сентинел», — старики, удалившиеся на покой, чтобы провести вечер жизни, пользуясь плодами труда молодости; вдовы и сироты со своими скудными сбережениями; общественные банки, страховые компании и благотворительные учреждения, которые, полагаясь на замечательные принципы Гамильтона, одобренные конгрессом, а также на гарантии национальной чести и собственности, вложили свои средства в государственный долг...». Некоторые правоверные федералисты всерьез готовились к ссылке, конфискации имущества и началу якобинского террора. Все — одни со страхом, другие с надеждой — ожидали того, что сам Джефферсон назовет потом «революцией 1800 года».

Глава пятая

ТРИУМФ
И ПОРАЖЕНИЕ

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пятого ваяль,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

Б. Пастернак

4 марта 1801 г. стало днем первой в истории США передачи власти от одной партии к другой. Все вокруг подчеркивало новизну и необычность происходящего: сама новорожденная столица Вашингтон, растущая прямо из лесистых болот белоснежными, строгих классических линий зданиями Капитолия и Белого дома; небольшая горстка гостей и конгрессменов вместо привычного блеска светского общества Филадельфии; скромная процедура инаугурации и даже отсутствие экс-президента Адамса, сбежавшего с церемонии вопреки всем требованиям протокола.

Это было бы похоже на сотворение нового мира, если бы вновь избранный президент не говорил так много о сохранении и преемственности. «Борьба мнений... решена голосом народа, высказанным в соответствии с правилами конституции, и теперь, конечно, все последуют воле закона и объединятся в совместных усилиях для достижения общего блага». Джефферсон призвал покончить с политической нетерпимостью, тем более что она была занесена извне «агониями и конвульсиями старого мира», которые «породили различия во мнениях по вопросу обеспечения безопасности» страны. «Но каждое расхождение мнений, — продолжал он, — это еще не расхождение в принципах. Мы давали различные имена

собратьям по принципам. Все мы республиканцы, все мы федералисты... Если же найдутся среди нас желающие расторгнуть союз или изменить его республиканскую форму, пусть они останутся в неприкосновенности памятником той безопасности, с какой могут переноситься заблуждения, когда разум свободен бороться с ними».

В подтверждение излагалось «кредо политической веры» — не что иное, как своеобразный синтез республиканских и федералистских принципов: «...Мир, торговля и честная дружба со всеми странами, опутывающие союзы — ни с кем; поддержка властей штатов во всех правах..., сохранение федерального правительства во всей его конституционной силе как якоря нашего внутреннего спокойствия и внешней безопасности..., хорошо обученное ополчение — наша опора во время мира и первого момента войны до подхода регулярных частей; верховенство гражданской власти над военной; экономия в государственных расходах — дабы не слишком обременять труженика; честная выплата наших долгов и священное сохранение общественного доверия (читай: публичного кредита. — В. П.); поощрение сельского хозяйства и его служанки торговли..., свобода религии, прессы и личности».

Перечисляя благословения страны, Джефферсон называет главное — «мудрое и бережливое правление, которое будет удерживать людей от причинения вреда друг другу, во всем остальном предоставляя им свободу в стремлениях и совершенствовании, и не вырвет у труженика заработанного им хлеба. К этому и сводится суть хорошего правления...»

Речь заканчивалась почтительными реверансами в адрес Вашингтона — «величайшей революционной фигуры страны», обещанием сделать все для примирения оппонентов и обязательным, особенно для «атеиста в религии», обращением к помощи всевышнего. Согласно легенде, вернувшись после церемонии к обеду в гостиницу, Джефферсон обнаружил, что все места за столом заняты. Никто, кроме одного из присутствующих, не приподнялся, чтобы уступить место новому президенту Соединенных Штатов, и он кое-как примостился на самом углу стола. Граждане юной республики были не только невежливы, но и начисто лишены верноподданнического трепета.

Джефферсоновская идея гармонии политических интересов, выраженная крылатой фразой: «Все мы республиканцы, все мы федералисты», — имела глубокий и новаторский для своего времени смысл. Он сформулировал и публично высказал то, что уже зрело в головах политиков обеих партий и что стало главным правилом игры в американской политике: партийная борьба относительна, поскольку она ведется вокруг

методов использования власти; партийное согласие абсолютно, ибо оно распространяется на принципы и сущность государственного правления. Все участники политической игры достаточно глубоко заинтересованы в сохранении существующего порядка, чтобы прийти к пониманию необходимости компромисса для сосуществования друг с другом и примириться, в случае надобности, с поражением своих частных целей. Ибо все они — и победители и побежденные — имеют в конечном счете общие цели и общую судьбу.

В такой игре и поражение, и победа обладают, следовательно, сходным отрезвляющим воздействием; ничто не учит умеренности так, как приданная власть. И Джефферсон ощутил это в полной мере. «Я сознаю, насколько не в состоянии буду осуществить все преобразования, которые подсказал бы разум и одобрил опыт, будь я свободен делать все, что считаю наилучшим, — пишет он в марте У. Джонсу. — Но когда мы раздумываем над тем, как трудно сдвинуть с места или повернуть в сторону огромную машину общества, как невозможно резко поднять представления целого народа до идеала, мы начинаем понимать мудрость замечания Соломона о том, что нельзя пытаться сделать добра больше, чем общество сможет вынести».

Федералисты с радостью ухватились за то, что им показалось оливковой ветвью, протянутой президентом. Гамильтон услышал в инаугурационной речи, «по существу, откровенное отречение от прошлых заблуждений и зарок перед обществом в том, что новый президент не предастся опасным нововведениям, а пойдет в основном по стопам своих предшественников». Особенно порадовало его слегка завуалированное обещание сохранить систему государственного кредита. Такой курс, рассуждал Гамильтон на собрании нью-йоркских федералистов, предполагает готовность Джефферсона примириться «с потерей большей доли того расположения, которое возвело его на нынешнюю высоту». Но тогда, продолжал он, «в талантах, патриотизме и твердости федералистов он (Джефферсон. — В. П.) обретет больше, чем потеряет». Похоже, ему уже виделся пленительный мираж: блудный сын Джефферсон, забыв свою «демагогию», возвращается с покаянием в лоно федерализма.

Объективное положение нового президента исключало однозначное решение. О том, чтобы променять расположение своей партии на сомнительную милость федералистской верхушки, конечно, не могло быть и речи. Гамильтон явно переоценивал «пластичность» вирджинца. Не мог Джефферсон принять и противоположную альтернативу, предлагаемую южным аграрным крылом своей партии во главе с Рэндольфом

и Тэйлором. Их примерную платформу подробнее всего разработал старый друг президента Э. Пендлтон в брошюре «Опасность не миновала», одобренной нижней палатой Вирджинии в виде предлагаемых поправок к конституции страны. В полном соответствии с максималистскими партийными принципами и «духом 1798 года» они предусматривали решительное наступление на казначейство и банки, ослабление судебной власти, урезывание полномочий «монархической» исполнительной власти и «аристократического» сената, укрепление суверенитета штатов и т. п. Так представляли «революцию 1800 года» в Вирджинии, так подчас говорил и сам Джефферсон.

Но Вирджиния — это только часть союза, а ее «старая гвардия» — лишь небольшой сегмент в политическом спектре республиканской партии. Гораздо влиятельнее в ней умеренное течение, к которому принадлежали Мэдисон, Галлатин, Р. Ливингстон, Т. Маккин, А. Даллас и многие другие. Они никогда не выступали против сильной центральной власти как таковой, и лишь эксцессы федералистов оттолкнули их от партии Вашингтона. Рассматривая само пребывание у власти Джефферсона как достаточную гарантию исправления накопившихся ошибок, они не помышляли об изменении конституции или каких-либо других радикальных мерах. «Признаюсь, что мне не нравится, когда трогают установленную систему или форму правления, — заявлял, например, Маккин, — и скорее примирюсь с небольшими изъянами в них, чем рискну пустить все под откос. Я не желаю новых революций, а стремлюсь лишь к спокойствию и миру».

Умеренной политикой они рассчитывали привлечь на свою сторону рядовых федералистов и тем самым обеспечить абсолютное преобладание своей партии. Эти настроения выразил Галлатин в рекомендациях президенту: «Для окончательного утверждения тех республиканских принципов, за которые мы успешно боролись, чрезвычайно важно, чтобы они опирались не на зыбкое меньшинство, а на широкое народное основание. Поэтому лучше вызвать неудовольствие наших политических друзей, чем предоставить непримиримым врагам свободного правления склонить массу федералистских граждан на свою сторону».

Это было созвучно идеям самого Джефферсона. Он всегда считал, что почти все федералисты в душе республиканцы и теперь, когда дурман рассеялся, а подлинные взгляды его, Джефферсона, стали известны, заблудшие души вернуться в отчий дом республиканизма. «Когда они изучат подлинные принципы обеих партий, то, думаю, найдут мало различий.., — рассуждал он. — Если мы сумеем найти такую линию поведе-

ния, которая сможет умиротворить честных людей из тех, кого называли федералистами, и воздать по справедливости всем остальным, то, я надеюсь, нам удастся стереть или, скорее, слить названия «федералистов» и «республиканцев». Джефферсон делал исключение лишь для кучки «неизлечимых» во главе с Гамильтоном: «По ним тоскует сумасшедший дом», и «я не желаю ничего, кроме их вечной ненависти». Первое, что сделал Джефферсон, когда стал президентом, это распорядился произвести тщательный досмотр всех бумаг казначейства. Ничего компрометирующего Гамильтона не обнаружили, но для президента это было личным доказательством коварной изворотливости экс-казначей. Лишь много лет спустя, после смерти Гамильтона и незадолго до своей собственной, Джефферсон признает, что его старый враг был человеком «бескорыстным, честным и благородным во всех своих личных делах». При жизни мировая с ним совершенно исключалась.

Избранная линия поведения предусматривала умелое маневрирование, тщательную дозировку реформ и сохранения старого. «Мы будем продвигаться постепенно, взвешивая наши шаги в соответствии с тем впечатлением, которое они, на наш взгляд, производят». Эти слова из письма Мэдисону могут служить эпиграфом ко всей истории первого президентства Джефферсона.



Первым серьезным испытанием стал вопрос о назначениях. Уже выбор кабинета выявил осторожность президента и его заботу о поддержании регионального баланса в правительстве. Федералисты предрекали правление вирджинских радикалов, но таких в кабинете не оказалось. Дж. Мэдисон, самый умеренный из вирджинских республиканцев, стал государственным секретарем, Г. Дирборн из Мэйна — военным министром, балтиморский торговец Р. Смит — военно-морским министром, Л. Линкольн из Массачусетса — генеральным прокурором. Джефферсон оставил Р. Кинга послом в Лондоне, а двух бывших федералистов — Р. Ливингстона и Ч. Пинкни направил послами, соответственно, во Францию и Испанию. Единственным спорным назначением было выдвижение яростного критика гамильтоновской системы Альберта Галлатина на пост генерального казначей. Но и он на поверку оказался вполне благонадежным.

Подавляющее большинство государственных должностей занимали федералисты, но Джефферсон дал понять, что поголовной чистки не будет. «Отстранение от должности на основании одних только политических принципов, — писал

он сразу после вступления в должность Мэдисону, — оттолкнет от нас наших новообращенных и предоставит опору главарям, которые сейчас стоят в одиночестве». Он не собирался назначать новых федералистов, но надеялся, что отставки, смерти, увольнения по некомпетентности постепенно и безболезненно освободят места для республиканцев. Скоро выяснилось, что процесс естественной чистки протекает слишком медленно, а изголодавшиеся по добыче республиканцы усиливали нажим на президента, требуя очистить «авгиевы конюшни» госаппарата от федералистского зловонья. «Занятие освободившихся должностей было одной из привилегий, ожидаемых друзьями нового порядка вещей», — напоминал Джайлз, а с ним другие. Тогда Джефферсон стал придерживаться принципа распределения должностей между партиями в соответствии с их долей в конгрессе. Политика назначений варьировалась от штата к штату: больше всего смещений было на Юге, меньше всего — в северо-восточных штатах. Но и при этом Джефферсон не занимался чисткой в полном смысле слова. За все 8 лет своего президентства из 433 чиновников, назначаемых президентом, он сместил лишь 109 человек.

Джефферсон подходил к отбору чиновников очень серьезно, считая, что «достоинство и репутация администрации зависят от ее назначений не меньше, чем от политики». Здесь открывалась идеальная возможность испытания на практике его концепции «аристократии талантов». И он следовал ей, требуя от соискателей в первую очередь образованности. Но не только: нужны были еще и репутация, и вес в обществе. Идеальной кандидатурой на пост губернатора Луизианы представлялся ему, например, некто Самптер — «безупречный во всех отношениях, насколько вообще можно пожелать. Здравый ум, положение в обществе, знание мира, богатство, свободомыслие, знакомство с французским языком...».

Одного образовательного критерия было достаточно, чтобы предельно сузить круг претендентов. Не удивительно, что люди, выбираемые Джефферсоном из числа республиканцев, по социальному положению мало чем отличались от своих федералистских предшественников. Это были все те же «богатые и родовитые» — на 30% крупные землевладельцы, на 20 — торговцы, на 18% — юристы. Некоторое сокращение доли торговцев и юристов по сравнению с президентством Адамса компенсировалось увеличением доли плантаторов, в чем проявлялась особенность джефферсоновской демократии.

Энергичнее всего Джефферсон принялся за суды — последний оплот федералистов. Они традиционно придавали судам особое значение как конечному барьеру на пути демократии. Их монополия была усилена законом 1801 года, который

расширил и централизовал судебную систему. Адамс утвердил назначение нового, поголовно федералистского судебного персонала в последний вечер своего правления, откуда и пошло прозвище «полуночных судей». Тогда же маститый вирджинский федералист Джон Маршалл был назначен председателем Верховного суда. Федералисты готовились «к резкому порыву встречного ветра, — пояснял Гавернир Моррис, — и можно ли их осуждать за то, что они бросили несколько якорей, чтобы удержать свое судно во время бури?»

Федералистские суды попортили немало крови республиканцам, особенно во время истерии 1798—1799 годов, и потому ортодоксальная республиканская позиция в этом вопросе была непримиримой. «Революция не завершена до тех пор, пока этой сильной крепостью владеет враг., — гремел Джайлз, — ничто не исправит порочную систему, кроме абсолютной ее ликвидации, удаления нынешних должностных лиц и создания новой системы». Судьи назначались президентом пожизненно и могли быть смещены лишь в результате сложной процедуры импичмента, то есть особого расследования конгресса. Рьяные республиканцы требовали поставить их в полную зависимость от конгресса.

Джефферсон слишком уважал независимость судебной власти и слишком хотел мира, чтобы с порога бросаться в лобовую атаку на хорошо укрепленные федералистские суды. Для этого потребовалось бы принятие специальных поправок к конституции — дело хлопотливое и рискованное. Он поступил проще: предложил сократить количество федеральных судов якобы ввиду их незагруженности. И кто знает, пошел ли бы президент дальше, если бы Верховный суд вскоре не бросил ему открытый вызов.

Четверо мировых судей округа Колумбия из числа «полуночных» во главе с У. Марбури, чьи патенты президент отказался признать действительными, обратились в Верховный суд с просьбой опротестовать это решение и предписать госсекретарю Мэдисону выдать им патенты. Маршалл не побоялся принять дело к рассмотрению. Федералисты, писал в тот же день Джефферсон Дж. Дикинсону, «отступили в суды, как в крепость., и с этой батареи будут громить все завоевания республиканизма».

Маршалл объявлял войну в надежде на раскол республиканцев, но добился обратного — президент принял вызов и подключился к кампании в конгрессе за отмену судебного акта 1801 года. Даже при поддержке Белого дома этого удалось добиться с большим трудом: отмена закона вызвала крайнее озлобление федералистов и глухое недовольство умеренных республиканцев.

В итоге Маршалл формально уступил президенту, признав в данном случае невозможность обязать государственного секретаря подчиниться. Но в этом же впоследствии ставшем знаменитом деле «Марбури vs Мэдисон», изощренно используя аргументацию, развитую Гамильтоном в процессе «Рутгерс vs Ваддингтон» и 83-м номере «Федералиста», Маршалл одержал исторически более важную победу — окончательно доказал право пересмотра любого закона Верховным судом.

Отмена судебного акта 1801 года и дело «Марбури vs Мэдисон» зафиксировали примерно равное соотношение сил между федералистским Верховным судом и республиканским Белым домом. Обе стороны сочли за благо воздерживаться от крайних мер. Впоследствии только дважды с большими опасениями Джефферсон через республиканцев конгресса прибегнул к попытке изгнать федералистских судей единственно возможным конституционным путем импичмента. Первый раз с выжившим из ума судьей Пикерингом из Нью-Гемпшира это удалось, но в другом, гораздо более серьезном случае с членом Верховного суда С.Чейзом — самым неистовым из федералистских судей, вынесшим смертный приговор Джону Фрайсу, — президент потерпел полное поражение.

Тем и закончилась борьба Джефферсона с судебной системой. Ее независимость, полномочия и даже личный состав, по существу, оказались нетронутыми. Лишь в отставке Джефферсон обрушил на нее всю свою неизлитую ненависть. «Судебная власть Соединенных Штатов, — писал он через пятнадцать лет после оправдания Чейза, — это коварный корпус саперов и минеров, постоянно ведущих подкоп под основания нашей федеральной системы».

Как ни удивительно, но именно сердцевина системы Гамильтона — финансы, государственный долг, банки — вызвала у Джефферсона меньше всего затруднений. Фундирование государственного долга и принятие долгов штатов как злободневные проблемы давно уже, казалось современным, принадлежали прошлому и воскрешать их было бы политическим донкихотством. Как ни мучился Джефферсон собственной непоследовательностью, реалист в нем ясно понимал, что демонтаж финансовой системы чреват серьезнейшим расстройством экономики и неисчислимыми политическими осложнениями.

«Когда государство только что утверждалось, — открылся он в весьма примечательном письме Дюпону в начале 1802 года, — была возможность удержать его на истинных принципах, но узко английские, полуграмотные идеи Гамильтона разрушили эту надежду в зародыше. Мы можем в пятнадцать

лет выплатить его долги, но никогда не сможем избавиться от его финансовой системы. Оскорбительно укреплять принципы, которые я считаю неисправимо порочными, но этот грех навязан нам первоначальной ошибкой. В других сферах нашего государства мы, надеюсь, сможем постепенно ввести правильные принципы и сделать их привычными». Далее следует излюбленный афоризм: «То, что практично, зачастую должно управляться чистой теорией».

Даже банки — эти злые демоны республиканизма, вокруг которых было произнесено так много страшных слов и торжественных заклятий, — ликвидировать оказалось непрактично. Крупная буржуазия северо-востока уже не могла без них обойтись, а президент отнюдь не собирался изгонять «менял» из храма. Напротив, эти небогоугодные заведения можно было с успехом использовать для укрепления влияния республиканской партии среди капиталистов. «Я решительно за то, чтобы сделать все банки республиканскими путем распределения вкладов между ними в соответствии с их поведением, — наставлял Джефферсон Галлатина. — Для безопасности республиканизма важно отделить торговый интерес от врагов этого интереса и сделать его другом республиканизма. Торговец — это республиканец по своей природе...» Он, оказываясь, не хуже Гамильтона понимал, что буржуазной республикой нельзя править без поддержки капиталистов.

Но вирджинец далеко превосходил своего противника в понимании значения и владении искусством объединения разнородных экономических и политических интересов под эгидой одной партии. В этом смысле Джефферсона по праву можно считать первым американским партийным лидером современного толка. Весь его курс был направлен на расширение базы своей партии, превращение ее из чисто аграрной в аграрно-торгово-промышленную. Не случайно уже в своем первом ежегодном послании конгрессу Джефферсон, порывая с былым аграрным романтизмом, назвал фермерство, мануфактуры, торговлю и судоходство «четырьмя опорами нашего благосостояния».

Администрация Джефферсона не только сохранила имевшиеся банки, но и создала два новых — в Вашингтоне и Новом Орлеане. Общее количество банков выросло с 30 в 1801 году до 90 в 1811 году. В отношении Банка Соединенных Штатов Джефферсон таил былую неприязнь, по-прежнему считая его «непримиримо враждебным к принципам и форме нашей конституции», способным «в критический момент опрокинуть государство». Но он был готов примириться и с его существованием, покуда мог продолжать жаловаться и обличать его.

В целом, оценивая то, как распорядился Джефферсон

федералистским наследием, трудно не согласиться с выводом уже упоминавшегося Ч. Бирда: «Даже если федералисты действительно заключили бы предвыборную сделку с Джефферсоном, они не смогли бы добиться от него более определенного признания тех интересов, которые они представляли. Замышлял ли он когда-нибудь всерьез войну с огромным влиянием капиталистов, которое столь усердно осуждал, пришел ли позднее к пониманию тщетности такой кампании или же обнаружил, насколько легче использовать, чем разрушать, — все это дает богатую пищу для размышлений. Как бы то ни было, непосредственный результат, независимо от мотивов его политики, остался тем же».

Сказанное не означает, что перемен не было вовсе. Джефферсон и Галлатин вытащили из основания финансовой системы федералистов несколько заметных, но не самых существенных кирпичиков. Сокращение налогов и выплата государственного долга — здесь они должны были и могли себе позволить быть последовательными. Галлатин подсчитал, что для выплаты государственного долга в обозримом будущем — в течение 16 лет потребуется выделять ежегодно 7,3 миллиона долларов. Общий доход государства составлял к этому времени 10,6 миллиона, из них 9,5 миллиона давали таможенные сборы, а 650 тысяч — внутренние налоги, главным образом гамильтоновское обложение спиртных напитков. Ненавистный налог оставлять было нельзя, но без него и остальные не имели смысла — содержание инспекторов обошлось бы дороже.

Сокращение, а затем и почти полная ликвидация прямых налогов были очень умелым тактическим ходом. Именно возмущение налогами привело республиканцев к власти, и никакая другая мера в глазах фермерства не могла лучше доказать последовательность партии, преданность ее аграриям. «Какой фермер, ремесленник или работник видит когда-либо сборщика налогов Соединенных Штатов?» — мог с гордостью спросить Джефферсон в своем втором инаугурационном обращении в 1805 году. А стоило это не так уж дорого, особенно если учесть, что главный источник доходов — таможенные сборы — приносил все больше.

Сложнее обстояло дело с государственным долгом. Его форсированная выплата параллельно с ликвидацией налогов обрекала государство на голодный паек в 2,6 миллиона долларов. Это означало режим жесточайшей экономии. Государственный аппарат был несколько сокращен, ликвидированы некоторые второстепенные представительства за границей, а главное — урезаны государственные расходы на армию и флот. Вместо обычного уровня, существовавшего при феде-

ралистах, — в мирное время три миллиона долларов — они получили теперь в два раза меньше и обходились стране менее чем в 33 цента на душу населения.

Меры эти обладали двойным преимуществом: популярностью и идейной последовательностью, они не ущемляли непосредственных материальных интересов буржуазии и фермерства. Мирная, безоружная республика, главная сила которой в свободе и добродетелях граждан, — прекрасный джефферсоновский идеал, по сей день вдохновляющий в Соединенных Штатах тех, кто борется за демократизацию внешней и внутренней политики страны.

«Мудрое и бережливое правление» было рассчитано только на мир, который, как казалось Джефферсону, воцарился в Европе после амьенского договора между Францией и Великобританией. «Этот договор устраняет единственную опасность, которой нам следует бояться, — провозглашал Джефферсон. — Теперь мы можем без риска продолжать ликвидировать ненужные затраты, облегчать бремя граждан и укреплять принципы свободного правления». Джефферсон признавал, что вероятность войны нельзя исключить совершенно, но «истинные принципы не могут оправдать обложения налогами труда наших сограждан в целях накопления казны для войн, которые случатся неизвестно когда». Но можно ли было закрывать глаза на опасность войны?

«В то время, когда население было невелико, разбросано и окружено дикими и цивилизованными врагами, — писал известный американский историк Генри Адамс, — когда Миссисипи и Атлантическое побережье до самого Сент-Мэри находились в руках все еще мощной Испании, когда английские фрегаты захватывали американских матросов сотнями, а Наполеон Бонапарт, по слухам, уже купил Луизиану, когда Нью-Йорк мог стать добычей любого линейного корабля и не было ни единой дороги, чтобы подвезти даже легкие орудия к Великим озерам или пограничным крепостям, — в такое время 60 центов с каждого американца вряд ли были дорогой ценой за защиту от опасностей, серьезность которых подтвердило само время».

Судьба милосердно избавила Джефферсона от решающего испытания жизнестойкости его заветного мирного идеала. В 1812 году, во время президентства Мэдисона, грянула война с Англией, и тогда стране пришлось дорого заплатить за прекраснодушные упования своего предыдущего президента.

Впрочем, во всей полноте этот идеал так и не был воплощен в жизнь. Через несколько месяцев после прихода Джефферсона к власти США оказались в состоянии войны с пиратскими государствами Северной Африки, которые заломили непомер-

ную цену за то, чтобы Североамериканская республика могла вести торговлю в этом районе. Морская война, длившаяся четыре с лишним года, потребовала мобилизации всего военно-морского флота. Закончилась она полной победой американского оружия и частичным поражением режима экономии. Расходы военно-морского министерства к 1806 году подскочили почти вдвое и вынудили администрацию прибегнуть к налогам. За «триполитанской» войной последовали немалые дополнительные расходы на покупку Луизианы и эмбарго, в свою очередь повлекшее за собой огромные финансовые потери.



Джефферсону везло. Успеху его планов национального примирения во многом способствовала «передышка» в европейских войнах, продолжавшаяся с весны 1801 до лета 1803 года. Впервые за последние десять лет внешнеполитические вопросы не вклинивались во внутреннюю политику, раскалывая классы и партии и отвлекая внимание от внутренних задач. Позабыв на время о политической междоусобице, американцы всецело предали сугубо мирным занятиям: бурно развивалась торговля и сельскохозяйственное производство, росли города.

Капиталисты восточных штатов, в прошлом опора федералистов, приспособлялись к новой власти, привечаемые бывшими «якобинцами». «Торговцы и промышленники, — констатировала одна из федералистских газет, — пребывают в спокойствии, считая, что все не так плохо, как ожидалось». Республиканцы тоже пожинали плоды процветания: в результате выборов в конгресс 1802 года доля федералистов в нем сократилась до одной четверти. Господство республиканцев было теперь подавляющим, а престиж президента высок, как никогда.

Обстановка, наконец, позволила, и Джефферсон дал народу все то, чего тот, по его мнению, хотел: экономное государство, минимальные налоги, сокращение армии, внутреннее спокойствие. Изменился сам стиль правления. Джефферсон мудро привел его в соответствие с демократическими представлениями народа. Показная элитарность столичного общества и дворцовый этикет президентства сменились безыскусной атмосферой и рутинной государственного делопроизводства. Президент резко урезал число торжеств, званых обедов и парадов, поручил клерку зачитывать свои послания конгрессу, стал доступен всем, отказался от цуга и кареты и подъезжал к Белому дому верхом, собственноручно привязывая лошадь у

подъезда. Такая разительная перемена во многом объяснялась чисто внешними обстоятельствами и привычками самого президента: деревенский Вашингтон не мог тягаться в блеске с Филадельфией, Джефферсон не выносил помпезности, а прогулки верхом оказывали целительное воздействие на здоровье президента. Но психологический эффект этих перемен был, тем не менее, силен.

Среди всеобщего довольства скорбно звучали голоса одиноких закоренелых федералистов. Умеренный курс Джефферсона не умиротворил их, а надежды на скорое возвращение к власти быстро улетучивались. Война президента с судебной властью, сокращение армии и налогов, а главное — сам политический триумф республиканцев настраивали их на самый мрачный лад. Гамильтон не был исключением.

Первым серьезным разочарованием, постигшим его после мимолетной иллюзии примирения, стала отмена судебного акта 1801 года. «У нас больше не будет конституции, — объявил он, — она станет одной из многих жертв демократического безумия». К концу первого года после обнародования финансовой программы правительства разочарование стало уже полным. Где они, былая сила, энергия и величие государства? С каждыми выборами, предсказывал он Г. Моррису, государство будет хиреть все больше — до тех пор, пока «кумиры фракций не продадут себя и свою страну зарубежным державам, если те позарятся на такой товар».

Разочаровавшись в Джефферсоне, Гамильтон, как и другие федералистские деятели, поначалу предавался химерическим надеждам на «пробуждение» народа при виде «гибельной» политики республиканцев. Сторонники Джефферсона, утешал Гамильтона Ч. Пинкни, «пойдут по своему порочному и безумному пути, и глаза народа откроются». Но время шло, а народ и не думал «пробуждаться». Напротив, он все охотнее поддерживал их противников. «Глупости и пороки администрации до сих пор не произвели невыгодного для нее впечатления, — с прискорбием констатировал Гамильтон в конце 1802 года. — Наоборот, в наших северных районах болезнь скорее прогрессирует, нежели ослабевает... Человечеству навек суждено быть жертвой дерзкого и хитрого обмана».

Что еще обиднее — страна благоденствовала, государственная машина функционировала, бизнес процветал, и все это — без их руководства! Для федералистской верхушки, сроднившейся с мыслью о своей исключительной монополии на разумное управление государством, осознание этого было мучительнее всего, горше самого факта поражения. Страна, в которую они вложили столько сил и на признательность которой они так рассчитывали, отвернулась от них, забыла об

их существовании и шла своей, неучтенной ими дорогой. Тем хуже для нее, но что же остается им?

«Пора бросать помпы и перебираться на баркас, — писал У. Смит, — большинство вольно и будет делать все, что захочет. Бумажная конституция не обеспечивает безопасности». Последние вожаки федерализма — Джей, Кэбот, Ч. Пинкни, Сэджвик, Г. Моррис покидали политическую арену и расползались по своим углам, чтобы оттуда наблюдать за близким концом американской республики. Рухнул их тесный мирок, а им казалось, что рушится весь мир. Надрывнее всех, как всегда, стенал Эймс: «Мы слышим лязг цепей и шепот наемных убийц. Мы слышим чудовишную смесь ярости и торжества в воплях обезумевшей толпы; мы видим зловещие отсветы их костров и ловим зловонный запах человеческих жертв». Ничего этого не было — ни лязга цепей, ни наемных убийц. Просто федералистская партия тихо уходила в небытие. Она была связующим звеном между иерархическим колониальным прошлым и буржуазным будущим Америки. Федералисты сделали свое дело — запустили государственный механизм в действие, придали ему прочность и гибкость. Но со своим аристократическим стилем и упрямой сословной спесью они не могли долго держаться у власти в фермерской стране. «Ведущие джентльмены школы Вашингтона совершили одну большую ошибку, — подметил Н. Вебстер. — Они пытались силой противодействовать общественному мнению, вместо того чтобы плыть по течению в надежде направить его. В этом они выказали больше цельности, чем сообразительности».

Гамильтон не посыпал публично голову пеплом и не рвал на себе волосы, как Эймс, но и для него мир рушился. Никто так тесно не связывал свою судьбу с государством, и потому никто не мог больше страдать от крушения надежд; он видел, как страна, которой он уготовливал роль воинственной торгово-промышленной империи, под водительством Джефферсона превращалась в скучную беззубую фермерскую республику, не проявляя при этом ни малейших признаков недовольства. «Перспективы нашей страны отнюдь не блестящи, — пишет он Р. Кингу. — Массы блуждают в потемках, а командование передается самым химерическим теориям... Нет ни армии, ни флота, ни активной коммерции; вместо национальной обороны силой оружия — эмбарго и торговые ограничения; внутри страны — чем меньше правительство, тем лучше». Плоха надежда и на собратьев-федералистов: «не излечившись от старых болезней», они тоже живут в мире иллюзий. «Все будет прекрасно (говорят они), как только власть снова окажется в руках федералистов, — народ, убедившийся на опыте в собственных ошибках, навсегда доверится

хорошим людям». Ни малейшего просвета вокруг. В голову лезли страшные мысли: неужели все было напрасно? «Странная моя судьба, — пишет он другу. — Возможно, никто в Соединенных Штатах не пожертвовал большим и не сделал больше для нынешней конституции, чем я — вопреки всем моим ожиданиям на ее счет... Я до сих пор прилагаю все усилия для укрепления этого хилого устройства. Но в качестве вознаграждения получаю лишь ворчание друзей и проклятия врагов. Что я могу придумать лучшего, чем удалиться со сцены? Каждый день все больше доказывает мне, что этот американский мир не создан для меня».

Осенью 1801 года он решил, что больше никогда не вернется в политику. Катастрофа смиряла даже этого неукротимого человека, делала его другим. Он как-то неожиданно постарел. С портрета тех лет на нас глядят усталые глаза немолодого лысеватого мужчины с тяжелым, резко очерченным носом и подбородком. По свидетельству сына Джона, Гамильтон теперь «искал и находил отдохновение от тягостных раздумий, вызванных растущими заблуждениями страны, в религиозных обязанностях, кругу домашних радостей и украшении своего сельского приюта». В том же году Гамильтон приобрел за чертой города 17 акров земли с домом, который назвал, как и дом своих далеких шотландских предков в Эйршире, «Грейндж».

Кусок земли, хоть и небольшой, требовал забот, и Гамильтон переквалифицируется в землевладельца или, вернее, садовода. Вот он уже просит Пинкни прислать семян дыни и смущенно поясняет: «Сад, знаете ли, весьма обыкновенное прибежище для разочарованного политика».

Потерпев крушение в бранных стремлениях к власти и славе, Гамильтон возвращается к простым и вечным ценностям — семье, друзьям. Он и сам чувствует, что происходит с ним. «В то время как все другие страсти умирают во мне, жажда любви и дружбы только крепнет. Я стремлюсь отвлечься от всего, что мешает привязанностям души». Никогда еще он не был таким любящим мужем и отцом семейства, как в эти последние годы жизни. Таким и запомнят его дети. «Опыт все больше убеждает меня в том, — делится он с Моррисом, — что подлинное счастье можно обрести только в лоне семьи».

Но и это счастье выскальзывает из рук. В ноябре 1801 года его старший сын Филипп — гордость и надежда семьи, был убит на дуэли. Он хотел защитить имя отца в политическом споре с республиканцем Д. Икером, но, не желая тому смерти, выстрелил в воздух. Однако беда не приходит одна: гибель Филиппа вызвала помешательство старшей дочери Гамильтона — 18-летней Анжелики. Мучительнее кары было не

придумать. То ураганное прошлое, которое сломало его самого и которое он так хотел забыть, отозвалось гибелью детей. Помнил ли он строки, написанные им, 15-летним клерком, под впечатлением урагана на Сен-Круа? «Где же теперь, о жалкий червь, вся твоя хваленая решимость и стойкость? Что стало с твоей надменностью и независимостью: отчего ты стоишь трепещущий и ошеломленный?.. Учись сознавать свою главную опору. Презирай себя и поклоняйся богу».

От земли, где он потерял почти все, мысли Гамильтона, полного смирения, вины и покаяния, обращались теперь к небесам. Он заново перечитывает священное писание, начинает регулярно посещать церковь и каждодневно молится дома.

Посторонние с удивлением замечают в нем незнакомые черты — мягкость, сдержанность. Новые нотки появляются и в его письмах. «Не гневайся на козни провидения, — утешает он неизвестного друга. — В их основании — мудрость и великодушие, а если они нам не по душе, так это оттого, что в нас самих есть изъян, заслуживающий наказания, или же налицо благое намерение исправить в нас порок или слабость, которых мы сами, возможно, не замечаем... В таких случаях наш долг — совершенствоваться в покорности и смирении, памятуя слова поэта о том, что именно «гордость теряет все лучшее». Как это не похоже на прежнего, донельзя самонадеянного и равнодушного к религии реалиста Гамильтона, который даже на конституционном съезде предложение Б. Франклина открывать каждое заседание молитвой встретил каламбуром — нет, мол, нужды призывать «иноземную помощь»!

Впрочем, старые страсти отмирали не сразу. Гамильтон еще следит за обстановкой в стране, поддерживает связь с коллегами по партии и даже создает в Нью-Йорке новую федералистскую газету «Нью-Йорк ивнинг пост», в которой иногда выступает со статьями. Кроме юридической практики он занялся еще и земельными спекуляциями, встав на опасный путь Р. Морриса и Д. Вильсона. Так великий пропагандист мануфактур еще раз признал поражение своих планов индустриализации.

Жизнь продолжала приносить сюрпризы. В начале 1804 года Гамильтон выступил еще в одной новой для него роли защитника свободы печати, но для этого Джефферсону пришлось прежде взять на себя роль ее гонителя. Как когда-то федералистам, оппозиционная пресса доставляла президенту много неприятностей, но один из ударов оказался особенно болезненным. Его нанес тот самый Каллендер, которого Джефферсон сам пригнул во времена борьбы с федералистами. Признавая его заслуги на этом поприще, те оштрафовали его и посадили за решетку по закону «О подстрекательстве к

мятежу». Став президентом, Джефферсон амнистировал Каллендера, но отказался полностью возместить ему штраф и назначить на истребованную им должность почтмейстера в Ричмонде, чем и вызвал у «мученика партии» глубокое отвращение к себе и всему делу республиканизма.

Мстительный Каллендер поселился в Вирджинии, обследовал окрестности Монтичелло и скоро нашел то, что искал. В сентябре 1802 года в ричмондской газете «Рекордер», редактором которой он был, появилась небольшая заметка «Снова о президенте». «Хорошо известно, — говорилось в ней, — что Томас Джефферсон — человек, которого народ так любит превозносить, уже давно содержит в качестве наложницы одну из своих рабынь. Ее зовут Салли. Имя ее старшего сына Том. Чертами лица, по имеющимся сведениям, он чрезвычайно напоминает самого президента. От этой девки наш президент имеет нескольких детей... Африканская Венера, как говорят, исполняет обязанности экономки в Монтичелло». «Опровержения быть не может», — заключил сообщение Каллендер. И в этом он оказался прав.

Конкубинат среди плантаторов был очень распространен. Что же касается сведений об отношениях Джефферсона со светлокожей мулаткой Салли Хэмингс, то они так противоречивы, что полтора столетия споров и исторических изысканий до сих пор ни к чему не привели. Даже профессор Джулиан Бойд, авторитетнейший знаток и поклонник Джефферсона, вынужден был признать, что не может ни доказать, ни опровергнуть обвинение Каллендера.

Появившись на свет, оно было с восторгом подхвачено федералистской прессой, которая к прежнему избитому списку « пороков и злодеяний » Джефферсона добавила теперь наличие « черного гарема » в Монтичелло. Благодатная тема обростала подробностями, муссировалась в бесчисленных статьях, стишках, песенках и т. п. Президент хранил молчание и, стиснув зубы, изыскивал средства к обузданию оголтелых газетчиков. « Пресса должна быть восстановлена в доверии, — писал он Т. Маккину, — в этой связи я уже давно подумываю о том, что несколько судебных процессов над наиболее известными оскорбителями окажут целительное воздействие на восстановление чести прессы ». Несколько позже он резюмировал: « Грустная правда заключается в том, что подавление прессы не сможет нанести стране больше вреда, чем ее отъявленная продажная ложь. Сама истина начинает внушать подозрение, попадая в этот оскверненный сосуд ». Далеко ушел Джефферсон-президент от того ярого максималиста, который в 1787 году утверждал, что выбрал бы скорее газеты без правительства, чем правительство без газет.

Поскольку Каллендер вскоре утонул и тем избежал еще одного суда в своей жизни, несколько «целительных» процессов были устроены над другими газетчиками, подхватившими его версию. На одном из них, где рассматривалось дело Г. Кросвелла — издателя небольшой нью-йоркской газетенки — и выступил адвокат Гамильтон.

Будучи не в силах доказать, что Каллендер клеветает на президента, обвинение инкриминировало Кросвеллу «злонамеренное нарушение мира и спокойствия». Гамильтон избрал твердую позицию: фактическое соответствие версии Кросвелла действительности освобождает его от обвинения в клевете, правда есть реабилитация — при условии добрых побуждений автора. «Свобода печати заключается в праве безнаказанной публикации правды с достаточными мотивами и во имя законных целей». Оговорка весьма существенная. Чистоту намерений Кросвелла доказать не удалось, и Гамильтон добился лишь смягчения приговора. Зато представление получилось на славу. «Если не дать простора критике должностных лиц, — взывал адвокат, — лучшие люди умолкнут, а коррупция и тирания шаг за шагом будут вести к узурпации и наконец в стране не останется ничего, о чем стоило бы говорить и писать, за что стоило бы бороться». Не от хорошей жизни вспомнил Гамильтон о демократических идеалах.

Волей-неволей он долго размышляет над причинами собственного поражения, пока его не посещает запоздалое прозрение — тактика была неправильной. «Республиканцы, — пишет он весной 1802 года Байярду, — добились поддержки масс разговорами о равенстве, потакая, таким образом, самой сильной и действенной страсти человеческой души — тщеславию». В отличие от большинства других крайних федералистов, закосневших в своем догматизме, Гамильтон признает необходимость приспособления партии к новым условиям и даже предлагает кое-какие рецепты. «Мы должны перенять тактику своих врагов, — внушает он коллегам, — и научиться презренной науке заигрывания с народом и завоевания его расположения».

Слишком поздно пришел Гамильтон к пониманию правил обхождения с «большим зверем», как он именовал народ. Для исправления положения он предложил проект «Христианского конституционного общества» — широкой сети политических клубов по всей стране для защиты религии и конституции от джефферсоновцев. Помимо религиозной пропаганды и поддержки федералистских кандидатов они должны были заниматься благотворительностью, оказывая помощь иммигрантам и профессиональному обучению ремесленников.

Этот странный проект говорит о многом: новом интересе

Гамильтона к религии, определенной переориентации в политическом стиле, но еще больше — о его противоречивом и надломленном состоянии. Если он всерьез рассчитывал, что этот угрюмый казарменный проект христианско-федералистско-профессионального обучения избавит массы от их демократических «заблуждений», значит, он утрачивал чувство реальности. Его политическое чутье временами еще срабатывало, иногда он пытался вмешиваться в партийные дела, но теперь ему не хватало энергии, последовательности, страстной убежденности в своей правоте — всего того, что отличало прежнего Гамильтона. Что-то очень важное внутри оборвалось навсегда.



Во внешней политике президентство Джефферсона оставило две глубокие отметины — покупку Луизианы и эмбарго. Первая была настолько же успешной, насколько вторая — неудачной, но обе обнаружили очень многое в существе его политики.

Территориальная экспансия с первых дней существования США была чем-то само собой разумеющимся. Бескрайние свободные просторы континента (их исконные хозяева — индейцы, конечно, не принимались в расчет) непреодолимо притягивали американцев, и все первое столетие существования государства было временем бурной колонизации Запада. Особым смыслом она была наполнена для Джефферсона. Осуществление его идеала великой фермерской республики предполагало необходимость территориальной экспансии. Только она могла позволить стремительно растущему населению страны продолжать оставаться «богоизбранным народом» земельных собственников, обеспечивая сравнительную однородность и стабильность общества. Мирная республика фермеров оказывалась ненасытной и имманентно-агрессивной.

Видение этой «империи свободы», как он ее именовал, преследовало и вдохновляло Джефферсона всю жизнь. В своей инаугурационной речи он говорил о Соединенных Штатах, как об «избранной стране, достаточно просторной для наших потомков в сотом и тысячном колене». Через полгода, отвечая на предложение нижней палаты Вирджинии о переселении мятежных и прочих «излишних» негров куда-нибудь в глубину континента (что соответствовало его старому плану депортации), он, тем не менее, возразил: «Как бы ни сдерживали нас нынешние интересы в современных наших пределах, невозможно не заглядывать вперед — в далекое будущее, когда наше быстрое размножение преступит эти пределы и заполнит весь

северный, если и не южный, континент народом, говорящим на одном языке, управляемым сходными законами и государственными формами. Мы не можем представить себе пятно на этом пространстве». «Империя свободы» мыслилась, стало быть, белой и англосаксонской. Только куда все же девать «лишних» черных: может быть, в Вест-Индию? Или в Африку? Знаменитый джефферсоновский изоляционизм — боязнь «опутывающих союзов», отстранение от Европы и т. п., столь превозносимый его апологетами и по сей день, на деле был лишь изнанкой того же экспансионизма, ограничиваемого пока пределами Западного полушария. Двудеиная сущность этой политики впоследствии получила законченное концептуальное воплощение в известной «доктрине Монро», постулирующей полную свободу рук для США в Западном полушарии в обмен на их невмешательство в европейские дела, — доктрине, выросшей из тезиса самого Джефферсона о запрете перехода колониальных владений европейских держав в Америке из рук в руки.

К началу века американская экспансия на Запад ограничивалась двухтысячемильной полосой, определяющей испанские владения, протянувшиеся от Нового Орлеана на юге до озера Вудс на севере континента. Барьер этот был весьма условным, поскольку малонаселенные и плохо охраняемые испанцами Луизиана и Флориды не могли противостоять американскому торговому, а кое-где и территориальному проникновению. Через главные «ворота» в Карибское море — Новый Орлеан — вывозилось, например, около 40% всей экспортной продукции США, и американская торговля здесь в два раза превосходила испанскую. Так что эта территория, как говорил Джефферсон, «не могла находиться в лучших руках». Единственным его опасением было то, что испанцы «слишком слабы и не продержатся до тех пор, пока наше население достаточно вырастет, чтобы отобрать у них все — кусок за куском». Главная опасность, таким образом, состояла в возможности вторжения союзника Испании — Франции в ее владения.

Вступая в должность президента, Джефферсон еще не знал, что его опасения уже стали реальностью. В октябре 1800 года Наполеон и Талейран, решив использовать передышку в европейских войнах для восстановления французской колониальной империи в Новом Свете, заключили сан-ильдефонский договор с Испанией. По этому договору Испания тайно уступала Луизиану Франции в обмен на королевство Эртрурия для шурина испанского короля Карла IV. Вскоре Наполеон направил десятитысячный корпус генерала В. Леклерка на покорение черного государства Сан-Доминго — в прошлом

ключевого пункта всей колониальной империи Франции в Америке.

Приобретение Луизианы французами окончательно излечило Джефферсона от остатков былой привязанности к Франции, развязав ему руки — теперь он мог хладнокровно проводить политику в духе «баланса сил». «На земном шаре есть одно место, владелец которого неизменно является нашим естественным и традиционным врагом. Это Новый Орлеан, — инструктировал он посла в Париже Р. Ливингстона в апреле 1802 года. — Момент захвата его Францией... скрепит союз двух стран, которые совместно могут поддерживать абсолютное господство над океаном. С того момента мы должны соединиться с британским флагом и нацией».

Даже со скидкой на дипломатический блеф это было сильно сказано, особенно для слывшего англофобом Джефферсона. Того же — союза с Англией и захвата обеих Флорид — требовали и федералисты. Ситуация обострилась после того, как в сентябре 1802 года испанцы неожиданно закрыли Новый Орлеан для американских судов вопреки испано-американскому договору 1795 года. Страна вступила, по словам президента, в «самый серьезный кризис за время независимости».

Кризис всегда был стихией Гамильтона, и этот тоже не обошелся без его участия. В серии статей в «Нью-Йорк ивнинг пост», подписанных «Перикл», он выдвинул план действий: немедленно захватить обе Флориды и Новый Орлеан, а затем уже вступить в переговоры. Он желал войны и пристально, со злорадством следил за действиями президента. Джефферсон попал в «трудный переплет». «Изрядным-таки затруднением будет вести войну без налогов, — писал он Пинкни в конце 1802 года. — Очаровательный план замены налогов экономией здесь не пройдет. Война явится ужасающей иллюстрацией всех последствий отказа от внутренних источников дохода. Но как Джефферсону сохранить популярность на Западе, если принести в жертву его интересы? Будет ли применена уловка смелых слов и нерешительных действий? Время покажет... Я же считаю, что в таких случаях, как теперешний, сила есть мудрость...»

Предлагая свой план, «Перикл» признавался, что возлагает очень слабые надежды на Джефферсона: «Если бы президент принял этот курс, он еще смог бы восстановить свою репутацию, заставить лучшую часть общества взглянуть с одобрением на свою политическую карьеру, возвысить себя в глазах Европы, спасти страну и обрести непреходящую славу. Но этого Джефферсону, увы, не дано». Быть может, это была его последняя надежда на «исцеление» своего противника. Но Джефферсон лишь отчасти оправдал ее.

Он отнюдь не считал, что в создавшейся ситуации «сила есть мудрость», и, резервируя вариант весьма проблематичного союза с Англией, решил прежде испытать все прочие дипломатические средства. К тому располагал и внимательный анализ обстановки. Джефферсон проницательно разглядел два главных препятствия на пути осуществления французских планов в Америке. Первое — завоевание Сан-Доминго, которое «будет нелегким делом. Оно отнимет много времени и поглотит огромное количество солдат». Второе — неизбежность новой войны в Европе. Она отвлечет Францию от американских дел и развяжет руки Соединенным Штатам в этом районе.

В ожидании этих событий он затеял длинные и бесплодные переговоры о покупке Флорид и Нового Орлеана через Ливингстона.

Президент рассчитал правильно. К исходу 1802 года корпус Леклерка на Сан-Доминго был сражен черными повстанцами и желтой лихорадкой. Погиб и сам Леклерк. Это сообщение пришло в январе 1803 года, накануне отправки следующей экспедиции для захвата Луизианы под командованием генерала Виктора. Сан-Доминго обходился слишком дорого даже для могущественной Франции, а без него французская колониальная система в Америке была немыслима. К тому же все внимание Наполеона вновь сосредоточилось на подготовке войны в Европе. Катастрофа Леклерка дала основания со свойственной ему решимостью поставить крест на всем американском проекте.

В конце марта на очередной встрече с Ливингстоном, который уже много месяцев тшетно выпрашивал у Франции Западную Флориду и Новый Орлеан, Талейран вдруг прервал его излияния: «Сколько вы хотите за все вместе?» 1 мая Франция объявила войну Англии, а 2 мая, после непродолжительных торгов, был подписан договор о покупке не только Нового Орлеана, но и всей Луизианы.

Эпизод европейской дипломатии стал эпохой в развитии США. За 15 миллионов долларов, включая оплату частных французских долгов американцам, Соединенные Штаты получали около 1 миллиона квадратных миль территории, ограничиваемой на востоке Миссисипи, на юге — Мексиканским заливом, на севере — границей с Канадой и на западе — практически не ограниченной ничем. Теперь, когда на каждого американца приходилось по 120 акров земли, Джефферсон мог с полной уверенностью заключить, что закон Мальтуса, «к счастью, не применим» к США. «Наше продовольствие, — писал он, — может расти в геометрической прогрессии к росту численности работников».

Подписание Декларации независимости
(с картины Дж. Трамбелла)



It Declares by the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA in General Congress assembled

When in the course of human events it becomes necessary for the people to dissolve the political bands which have connected them with a former government, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature & of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to separate.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty & the pursuit of Happiness; that to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, & to institute new Government, laying its foundation on such principles & organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety & Happiness. In extending this rule to all that governments long established should not be changed for light & transient causes, and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses & usurpations, beginning at a distant period & growing progressively worse, tends to the same object, evinces a design to reduce us to absolute Despotism, it is their Right it is their duty to throw off such Government, & to institute new Guards for their future security. Such has been the patient suffrage of these colonies: & now is our the occasion which requires them to lay aside their former systems of government. The history of the present ^{long or last duration} is a history of unrelenting injuries and oppressions [namely, what appears to be a list of grievances] to contradict the uniform tenor of the ^{entire} ^{of which} ^{part} - direct object the establishment of a ^{new} ^{system} ^{of} ^{government} ^{is} ^{the} ^{only} ^{way} ^{to} ^{prevent} ^{the} ^{repetition} ^{of} ^{such} ^{injuries} ^{and} ^{oppressions} ^{as} ^{have} ^{been} ^{submitted} ^{to} ⁱⁿ ^{the} ^{past} ^{and} ^{for} ^{the} ^{length} ^{of} ^{which} ^{we} ^{pledge} ^a ^{faith} ^{which} ^{shall} ^{never} ^{be} ^{forfeited}



Остров Сен-Круа — родина
Гамильтона

◀
Прембула Декларации
(рукописный вариант
Джефферсона)

Прием у главнокомандующего
Вашингтона в честь Гамильтона
и его невесты



Парад в Нью-Йорке
по случаю принятия конституции



Американский орел не дает Джефферсону принести конституцию США в жертву на «алтарь французского деспотизма» (федералистская карикатура)



Заседание конституционного съезда под председательством Вашингтона





Томас Джефферсон — первый
государственный секретарь США
(1790 г.)



Альберт Галлатин



Филипп Френно



Джеймс Монро



Джеймс Мэдисон

Мария Косуэй



Монтичелло





Джон Джей



Роберт Моррис

Джон Лоуренс



Джон Маршалл





Гамильтон — генеральный казначей



Гавернир Моррис



Банк
Соединенных
Штатов
в Филадельфии

Празднование 4 июля в Филадельфии





Тридцатилетний
Гамильтон

Столица США — Вашингтон (1800 г.)

Третий
президент
страны — Томас Джефферсон







Последний портрет Гамильтона



Аарон Бэрр



Вирджинский университет

▶
Американский флаг
над Новым Орлеаном
(после покупки Луизианы)





could the great feet any or lateral on them
 made or other circumstances of them, also, as
 American says. Cases of the same kind
 have, ever noticed
 the following would be to say the same
 gradings
 On this system
 a prism die or cube of 2/3 without any
 moulding, surrounded by an Obelisk
 of 6/7 height, each of a 6. up stone.
 on the base of the Obelisk the following
 inscription, & with a word more
 "He was buried
 Thomas Jefferson

Author of the Declaration of American Independence
 of the State of Virginia
 & Author of the University of Virginia

By order of the Board of Trustees, that Thomas Jefferson
 be interred in the vault of the University of Virginia
 in the following manner: That a stone monument
 be erected to destroy it for the value of the
 money lent by Congress with the pedestal and
 column on each side, might be given to
 the Board of Trustees of the same of the State
 on the 22^d of the month of August
 Done April 2 1769. O.S.
 Ed. —



На пороге вечности:
 прижизненная маска
 Джефферсона и его эскиз
 собственного надгробия
 с эпитафией

На форзаце 1 — Батальон Гамильтона штурмует
 английский редут у Йорктауна

На форзаце 2 — Уолл-стрит в конце XVIII века

Федералисты для острастки подсчитали, что 15 миллионов долларов — это 433 тонны чистого серебра, которые, загруженные в 866 фургонов, составят процессию длиной в 5 с лишним миль, тогда как Манхаттан был куплен за 24 доллара, а Пенсильвания — за 5 тысяч фунтов стерлингов. Республиканцы, со своей стороны, справедливо указывали, что 15 долларов за квадратную милю — тоже не так уж много, тем более что в результате сделки США почти удвоили свою территорию и по площади вышли на второе место в мире после России. Историческое значение приобретения Луизианы трудно было отрицать даже федералистам.

Не отрицал этого значения и Гамильтон. Вновь разойдясь с большинством федералистов, он приветствовал исполнение своих давних планов — пусть даже коммерческим, а не героически-завоевательным путем. Он, правда, не собирался наделять лаврами самого Джефферсона и объяснял происшедшее стечением непредвиденных обстоятельств. «Смертоносному климату Сан-Доминго, мужеству и упорному сопротивлению его черных обитателей обязаны мы препятствиями, отсрочившими колонизацию Луизианы до того благоприятного момента, когда разрыв между Англией и Францией придал новое направление планам последней...» «Поэтому, — заключил Гамильтон свою статью о покупке Луизианы в «Нью-Йорк ивнинг пост», — давайте со всей надлежащей скромностью признаем в этом еще один из тех выдающихся случаев счастливого вмешательства всемогущего провидения, которое мы особенно явственно ощутили в годы революционной войны и которое не раз спасало нас от последствий собственных ошибок и глупого упрямства».

В словах Гамильтона было много правды, но он явно принижал успех дипломатии Джефферсона, который сумел так предвидеть «непредвиденные обстоятельства» и использовать их. «Не мы своими интригами вызвали войну, — отвечал на подобные обвинения президент, — но мы воспользовались ею, когда она началась». В истории с Луизианой, как в капле воды, вновь и в последний раз отразилось различие темпераментов и тактических установок Гамильтона и Джефферсона. Первый торопил события, любил силовое противоборство; второй предпочитал осторожность и выжидание, сторонился военных решений, стремился в первую очередь играть на разногласиях между противниками. Освободившись от радикализма и пристрастий оппозиционера, Джефферсон принялся с удивительным бесстрашием проводить политику балансирования между Англией и Францией. Американцам, по его словам, надлежало наблюдать за «битвой львов и тигров безо всякого пристрастия». «Мы абсолютно одинаково привязаны к Англии

и Франции, — писал он Джеймсу Монро в начале 1804 года. — Мы считаем каждую из них необходимым инструментом сдерживания стремления другого к тирании над прочими странами... Мы хотим видеть Англию сохраняющей свое положение..., и мы не безразличны к конфликтам, угрожающим существованию Франции». Не мудрено, что даже полтора с лишним столетия спустя ведущие теоретики нынешней внешнеполитической элиты США в своем юбилейном обзоре «200 лет американской внешней политики» поставят в пример этот курс первого госсекретаря, который «реагировал на чрезвычайные ситуации позитивно, реалистически и с большим дипломатическим искусством, безо всяких угрызений совести прибегая к методам, за которые в иные времена сурово осуждал политиков Старого Света. По существу, он стал весьма изощренным мастером политики запугивания, маневрирования и блефа, расчетливым в предвидении новых неожиданных факторов в меняющейся обстановке и в оценке их последствий, стремительным в использовании возможностей продвижения американских интересов путем демонстрации готовности к поддержке борющихся сторон или противодействию им...»

И все-таки история с Луизианой не оправдала всех надежд Гамильтона. «Вмешательство провидения», ловко использованное дипломатией Джефферсона, предотвратило военное решение вопроса, а значит, — реставрацию прежней финансовой системы в полном объеме. Гамильтон мог утешаться лишь тем, что расходы на покупку новой территории затруднили режим экономии. Не мог он также не отметить тот знаменательный факт, что для достижения своего самого большого триумфа республиканцы вынуждены были воспользоваться плодами его, Гамильтона, первой большой победы: ведь оплата Луизианы осуществлялась 6-процентными государственными облигациями. Но больше всего его должно было удовлетворить конституционное оформление этой «сделки века».

«Конституция, — озабоченно писал Джефферсон Брикенриджу 12 августа 1803 года, — не предусматривает нашего владения чужой территорией и еще меньше — включения иностранных территорий в наш союз». Поэтому он предложил принять специальную поправку к конституции, легализующую присоединение Луизианы. Тут же президент с удивлением обнаружил, что остался последним из буквалистов среди своих соратников. Мэдисон, Галлатин и другие дружно восстали против громоздкого проекта президента, стараясь убедить его в том, что такое право включено в конституционные полномочия конгресса заключать договоры с иностранными государствами. К чему затевать возню вокруг конституции и давать

лишний повод федералистам для отсрочки или срыва ратификации договора?

Это был типичный пример излюбленного Гамильтоном расширенного толкования, с которым пурист в Джефферсоне не мог смириться. Принцип буквального толкования всегда был, как он сам говорил, «дыханием» его политической жизни. «Я бы скорее запросил расширения полномочий у народа, когда это необходимо, чем присваивать их с помощью расширенного толкования, что сделает нашу власть безграничной, — возражал он Николасу. — Вся наша безопасность основывается на наличии писаной конституции. Не будем превращать ее толкованием в клочок бумаги».

Но с пуристом уживался практик, который понимал, как опасно дразнить федералистов и нарушать единство своей партии. Поэтому, описав в одном абзаце печальную судьбу конституции в случае принятия точки зрения оппонентов, в следующем Джефферсон уже уступает им: «Если все же наши друзья окажутся другого мнения, я, разумеется, с удовольствием подчинюсь, веря, что здравый смысл нашей страны исправит зло толкования, когда оно будет вызывать дурные последствия».

На том и порешили. В своем послании конгрессу по поводу Луизианы Джефферсон обошел конституционную сторону дела молчанием. Федералисты попытались раздуть вопрос, но безуспешно. Расширение территории расширило и конституцию. Еще меньше сомнений у президента вызывал вопрос управления новой территорией. Ее население, в отличие от чистокровных англосаксов, представлялось Джефферсону явно недостойным американского самоуправления. Вместо «справедливой власти», «заимствованной из согласия управляемых», Луизиана получила режим военного губернаторства, контролируемого из Вашингтона. Коренные жители — индейцы подлежали беспощадному изгнанию.



Покупка Луизианы имела и непосредственные политические последствия. Она подняла престиж республиканской администрации на небывалую доселе высоту. Популярность меры была тем более неотразимой, что Галлатину удалось покрыть расходы на нее, не прибегая к новым налогам. Триумф республиканцев обернулся жестоким поражением федералистов. Такое расширение страны означало неминуемое сокращение удельного веса и политического влияния Новой Англии — последнего оплота федерализма. Покупка Луизианы совпала с другим тяжелым ударом. К лету 1804 года штаты

ратифицировали двенадцатую поправку к конституции, предусматривавшую раздельное голосование за кандидатов в президенты и вице-президенты. В результате федералисты потеряли последний шанс на избрание своего президента путем повторения тупика 1800 года. Вдобавок начались импичменты федералистских судей. Тогда крайние федералисты и решились на отчаянную попытку отделения северо-восточных штатов от союза и создания Северной конфедерации.

Душой заговора стали конгрессмены из Новой Англии — Т. Пикеринг, У. Трейси, У. Плумер, Р. Грисвольд, С. Хант, главой — неумный Пикеринг. «Народ северо-востока, — заявлял он, — не может примирить свои привычки, взгляды и интересы с таковыми на Юге и Западе. Последние начинают править с помощью железного прута». План действий, составленный к началу 1804 года, был предельно прост. В июне легислатура Массачусетса первой объявит о выходе из союза, за ней последуют Коннектикут и Нью-Гемпшир. Проект казался настолько рискованным, что большая часть влиятельных новоанглийских федералистов отпрянула от него, по-прежнему полагаясь на «большой кризис», вроде войны с Англией и «отрезвление» народа. Зато Пикеринг нашел поддержку у нью-йоркских федералистов, донельзя озлобленных засильем республиканцев в штате и готовых на все. Нью-Йорк был лакомым куском для заговорщиков, и завоевать его для них мог только один человек — Аарон Бэрр.

Его отношения с республиканскими лидерами были очень натянутыми, и они не собирались терпеть его на посту вице-президента дольше одного срока. Когда в начале 1804 года он обратился к Джефферсону с просьбой помочь ему стать губернатором Нью-Йорка, то получил вежливый, но недвусмысленный отказ. Тогда Бэрр решил порвать с республиканцами и присоединиться к заговору Пикеринга. В середине февраля нью-йоркские друзья Бэрра объявили о предстоящем выдвижении его кандидатуры на пост губернатора.

Для Гамильтона это был сигнал тревоги. 16 февраля на специальном совещании федералистов города он выступил с резкими возражениями против кандидатуры Бэрра. Как и четыре года назад, им двигала отнюдь не только личная вражда. Он отлично понимал всю опасность выдвижения Бэрра в тревожной обстановке оживших раскольнических настроений. Возможность возглавить отколовшийся Север толкнет Бэрра на все, предостерегал он федералистов, а, «находясь во главе Нью-Йорка, ни один человек не будет иметь больше шансов на успех в таком деле».

Гамильтон, если у него и оставались еще какие-нибудь честолюбивые планы, не связывал их с отделением и решитель-

но выступал против него. Даже свое последнее предсмертное письмо он посвятил сдерживанию заговорщиков. «Расчленение нашей империи, — писал он Сэдживуку, — будет явным принесением в жертву великих преимуществ без получения чего-либо взамен. Оно не излечит нашу подлинную болезнь — демократию, яд которой в случае расчленения будет только больше сосредоточен в каждой части и оттого более опасен».

Двойная угроза — выдвижение Бэрра и раскол — вызвала последний спазм политической активности Гамильтона. Некоторые из его отзывов просочились в газеты, в частности разговор с судьей Кентом, в котором он назвал вице-президента «опасным человеком, которому нельзя доверять бразды правления». Весной того года Нью-Йорк бурлил, сотрясаемый столкновениями двух гроссмейстеров партийной борьбы. Гамильтона поддерживали вернувшийся из Англии Р. Кинг, Г. Моррис и сын заклятого врага — сенатор Джон Квинси Адамс. Ему удалось предотвратить официальную поддержку кандидатуры Бэрра федералистами, но он не мог помешать большинству членов партии голосовать за него. 25 апреля на выборах в Нью-Йорке Бэрр получил 28 тысяч голосов штата против 35 тысяч, поданных за ставленника Клинтонна. Это поражение сорвало все планы заговорщиков. Легислатуры федералистских штатов разошлись на каникулы, не приняв никаких мер.

Скорее всего, Бэрр проиграл бы и без вмешательства Гамильтона, но вполне понятно, почему все его бешенство обрушилось на человека, уже дважды преграждавшего ему путь к власти и, судя по всему, готового продолжать это делать и впредь. 18 июня Гамильтон получил послание вице-президента, содержащее вырезки из газет о его разговоре с судьей Кентом и требование объяснений. Гамильтон ответил довольно уклончиво, заключение, однако, было неожиданно резким: «Полагаюсь на то, что по зрелом размышлении вы увидите ситуацию в том же свете; если нет — я могу только сожалеть о случившемся и должен подчиниться последствиям». Последняя фраза была стандартным выражением готовности поднять перчатку, брошенную противником. Бэрр проявил еще большую готовность, и после соответствующего обмена любезностями дуэль была назначена.

Почему, несмотря на колебания, Гамильтон все же принял вызов? Кодекс дуэльной чести в США не был настолько строгим, чтобы Гамильтон не смог отказаться от поединка без большого ущерба для своей репутации. Кроме того, к концу жизни он пришел к твердому убеждению о несовместимости практики дуэлей с христианской моралью. К счастью, Гамильтон сам изложил свои мотивы в записке, написанной перед

самой дуэлью: «Способность быть полезным в будущем, противясь злу или совершая добро в тех кризисах наших общественных дел, которые, видимо, произойдут, окажется неотделимой от подчинения общественным предрассудкам, и в частности — этому».

Снова, и в последний раз, ирония судьбы: Гамильтон рисковал жизнью для сохранения своей политической репутации, которая была нужна ему меньше, чем когда бы то ни было. Уже надломленный и истощенный человек, он все еще готовил себя для будущих кризисов и великих дел, по странной психологической инерции продолжая считать себя необходимым.

Но если на дуэльную площадку Гамильтона привело его прошлое, то исход дуэли предопределило его настоящее — вновь рожденное религиозное чувство. В той же предсмертной записке он писал: «Мои религиозные и моральные принципы решительно против практики дуэлей. Вынужденное пролитие крови человеческого существа в частном поединке, запрещенном законом, причинит мне боль». Накануне дуэли у него даже появляется чувство вины перед Бэрром за «крайне суровые» и «очень неблагоприятные» отзывы о нем. После долгих раздумий он решает: «Если господу будет угодно предоставить мне такую возможность, я выстрелю в сторону первый раз и, думаю, даже второй».

Трудно сказать, что здесь сказалось больше — благоприобретенное милосердие или просто паралич воли. Одно ясно: бессмертие души было для него в этот момент важнее, чем будущая земная слава и сама жизнь.

4 июля 1804 г., в годовщину независимости, ветераны войны — члены нью-йоркского филиала «Общества Цинцинатта» собрались на традиционный праздничный обед. Председательствовал президент общества генерал Гамильтон. Слева от него за соседним столом сидел полковник Бэрр. «Странность их поведения была замечена всеми, — вспоминал художник Трамбелл, присутствовавший на обеде, — но мало кто подозревал о причине. Бэрр против обыкновения был молчалив, мрачен и угрюм, меж тем как Гамильтон с радостью предавался застольному веселью и даже спел старую военную песню».

Бэрр, до этого сидевший в мрачном оцепенении, при звуках песни поднял голову и, вперившись взглядом в Гамильтона, напряженно слушал, пока тот пел. Как и все ветераны, он хорошо знал эту старую солдатскую песню, которую, по рассказам, пел генерал Вольф перед своим последним боем. Но сейчас давно знакомые слова вдруг поразили его:

Зачем, солдат, зачем
Мы будем горевать?

Зачем, скажи, солдат,
Чье дело — умирать?
Возвращение ни к чему, — служивым.
Коль завтра враг пошел на небеса —
Исчезнет боль. А если будем живы,
Спасут вино и женская краса.

Вешая песня: одному из них было суждено скорое избавление от боли, а другому — долгие бесцельные скитания и единственное забвение — в женщинах и вине.

В следующий раз они встретились через неделю, ранним утром 11 июля, на крохотной лужайке, с трех сторон окруженной стеной из скал, а с четвертой — заканчивающейся лесистым обрывом, выходящим на Гудзон. Это были холмы Вихоуен — излюбленное место нью-йоркских дуэлянтов. В Нью-Йорке дуэли были запрещены законом, и этот заброшенный, удаленный от города уголок, куда добраться можно было только по реке, предоставлял идеальные условия для подобного джентльменского метода разрешения споров.

Противники разошлись на десять шагов, и Гамильтон последний раз огляделся вокруг. Было тихое солнечное утро. Впереди за зелеными макушками леса блестя под ласковыми лучами восходящего солнца воды Гудзона, за ним в утренней дымке проступали дома Нью-Йорка, в бездонной синеве неба парили птицы. Все дышало вечностью и покоем, все звало к жизни, но так ли хотел он жить?

Наверное, он думал о своем мальчике, три года назад упавшем на этом самом месте со свинцом в сердце. И о другом юноше с далекого Сен-Круа, которому все удавалось на заре жизни и который так много ждал от этого огромного, залитого солнцем мира.

Прозвучала команда. Гамильтон, замешкавшись, надел очки и смотрел, как Бэрр медленно наводит на него пистолет и нажимает курок. Падая, он непроизвольно рванул спуск, и пуля его срезала ветку старого кедра. Пуля Бэрра пробила ему печень и задела позвоночник. «Рана смертельна, доктор», — успел сказать он подбежавшему доктору Госаку и потерял сознание. Его переправили в дом Байярда на другом берегу Гудзона. Придя в себя, он послал за священником, но епископ Мур согласился прийти только после того, как умирающий заверил его, что вышел на дуэль с твердой решимостью не причинять Бэрру вреда и не таит против него зла. После причастия он был совершенно спокоен и успел проститься с женой и всеми детьми. На следующий день в два часа пополудни Гамильтон умер.

Федералистская Новая Англия и Нью-Йорк погрузились в траур. «Геркулес сражен среди незаконченных трудов, оставив

мир кишашим монстрами», — писала одна из газет. Федералисты понимали: лидера, подобного Гамильтону, больше не будет. «В тех «кризисах» наших общественных дел, которые, видимо, произойдут, — писал Генри Адамс, — он должен был быть их Вашингтоном, и даже больше — их Бонапартом с добродетелями Вашингтона». Вся масса федералистов, мало считавшихся с его желаниями при жизни, оплакивала его смерть и устроила похороны, каких не удостаивался ни один уроженец Новой Англии.

Своей смертью Гамильтон второй раз завоевал Нью-Йорк. Первый раз — летом 1788 года — город в шумном праздничном шествии чествовал «Публия» — Гамильтона и новую конституцию; теперь по улицам мрачно ползла траурная процессия, в которой шли все магнаты города. Они прощались с героем своего класса.

Но благодарность буржуа редко затрагивает его карман. Гамильтон умер по уши в долгах, все имущество пошло с молотка, и ближайшие друзья смогли сохранить для осиротевшего семейства только загородный дом. На воспитание и образование детей почти ничего не осталось. Старшего сына Джона пришлось отдать учеником в контору торговца Хигинсона. Все вернулось на круги своя.



Выстрел Бэрра рассеял темные тучи над Нью-Йорком и Новой Англией, за скоплением которых с тревогой следил Джефферсон. Два его смертельных врага уничтожили друг друга, план раскола страны рухнул, влияние федералистов упало, как никогда, а его собственный авторитет поднялся на небывалую доселе высоту. Здоровье было еще настолько отменным, что Джефферсон всерьез опасался прожить больше, чем хотелось бы. Все говорило в пользу выдвижения его кандидатуры на второй срок, и президент без особых уговоров решает остаться в Белом доме на следующие четыре года. «Если мы сможем твердо удержать корабль государства на правильном курсе еще четыре года, — пишет он Джерри, — моя земная цель будет достигнута, и я буду свободен наслаждаться, как вы сейчас, семейными радостями, фермой и книгами».

Выборы 1804 года принесли ему невиданный со времен Вашингтона триумф. В паре с Клинтонем он получил 162 голоса выборщиков против 14, поданных за Ч. Пинкни и Р. Кинга. Федералисты смогли удержать за собой только два штата — Делавэр и Коннектикут. Даже сердце федерализма — Массачусетс — стал республиканским, и ничто не могло пора-

довать Джефферсона больше: сбывались его мечты о республиканском союзе. Умеренный компромиссный курс оправдал себя.

Безмятежно начиналось второе правление Томаса Джефферсона. «Великая реформация» проведена, страна возвращена к республиканским принципам. Что оставалось делать в этих условиях «мудрому и бережливому правительству», кроме как сидеть сложа руки и наблюдать за расцветом страны? «Наш путь настолько ровен и спокоен, — не без гордости писал Джефферсон Дюпону, — что нам почти нечего предложить конгрессу. Если мы сможем удержать государство от пустой траты труда народа под предлогом заботы о нем, то он должен быть счастлив».

Процветание предвещает лишь одну серьезную проблему для государства — что делать с излишком средств, который вскоре появится? Галлатин обещает с 1808 года высвобождать ежегодно 3—4 миллиона долларов. Открывается простор для импровизации. «Освобождаемые таким образом средства, — заявил Джефферсон при втором вступлении в должность, — в мирное время могут быть использованы на улучшение навигации, дорог, искусства, мануфактур, образования и другие великие цели в каждом штате. Во время войны... они могут покрыть необходимые военные расходы без ущемления прав грядущих поколений бременем долгов прошлого. Война тогда будет лишь приостановкой полезных работ, а приход мира — возвращением к прогрессу усовершенствования».

Джефферсон предлагал создать постоянный федеральный фонд для нужд войны и мирного общественного развития, который правительство распределяло бы по штатам. Из пассивного созерцателя государство превращалось в активного участника и покровителя экономического и культурного развития. Истовый апологет государственного невмешательства шагнул дальше Гамильтона; его план государственного участия включал, помимо прочего, поощрение искусств и образования. Подхватив предложение президента, Галлатин к 1808 году подготовил план развития внутренних коммуникаций, в котором предусматривалось связать воедино все части страны сетью водных и наземных путей. По своим масштабам и возможным последствиям двадцатимиллионный план Галлатина стоит в одном ряду с планом Гамильтона, изложенным в знаменитом «докладе о мануфактурах», и дополняет его, образуя единую программу развития национальных ресурсов. Вернее, мог бы дополнить, ибо, как и тот, не был осуществлен. Война с Англией 1812 года и порожденные ею трудности заставили положить его под сукно, а развитие железнодорожного транспорта похоронило окончательно.

Но республиканская эйфория продлилась недолго. Бывший вице-президент Бэрр, оказавшись не у дел и безо всяких надежд на продолжение политической карьеры, затеял новую гигантскую авантюру — отколоть от союза западные штаты, с тем чтобы самому стать во главе западной конфедерации. За помощью деньгами и оружием он обратился к Англии, а живую силу для осуществления своих планов стал искать среди любителей приключений всех мастей на Западе, прельщая их захватом новых земель на севере Мексики и другой добычей. Получив отказ англичан, Бэрр предложил такой же проект другому противнику США — Испании, умолчав, естественно, о его второй части — захвате испанских владений. Но даже отсутствие испанской поддержки не остановило Бэрра, который продолжал готовить заговор и вербовать сторонников, страстно уверяя их в близкой помощи из-за рубежа и правоте начатого дела.

Одновременно в силу какой-то параноидальной особенности своей психики он сам распускал слухи о готовящемся заговоре и его конечной цели — «захватить Вашингтон, убить Джефферсона, а труп его выбросить в Потомак». Он как-то раз даже предупредил самого Джефферсона, очередной раз отказавшего ему в должности, что сможет «причинить ему много вреда». Когда президент получил соответствующие подтверждения от предавших Бэрра генералов У. Итона и Дж. Вилкинсона (губернатора Луизианы), он решил действовать: 27 ноября 1806 г. была объявлена президентская прокламация о заговоре, а сам его организатор вместе с кучкой сторонников вскоре был арестован и предан суду в Ричмонде. Джефферсон, не дожидаясь приговора, публично поспешил объявить его виновным в измене, но доказать его виновность оказалось не так просто. Самообладание и изворотливость, проявленные на суде самим Бэрром, сумевшим представить себя жертвой политической мести президента, мастерская поддержка его федеральным судьей, давним противником президента Джоном Маршаллом, наконец, сама фантастичность заговора, не укладывавшаяся в головах обывателей, — все это сделало возможным его оправдание.

Усилия Джефферсона, вплоть до попытки незаконного вмешательства в судебный процесс, были напрасны. Аарон Бэрр вскоре покинул страну, пообещав «вскоре вернуться, только во главе пятидесятитысячного войска», но вернулся лишь много лет спустя — одиноким, старым и забытым на родине человеком.

Новый тур наполеоновских войн привел к крайней поляризации противоборствующих сил в Европе: Трафальгар утвердил английское господство на море, а Аустерлиц сделал Наполеона

властелином на европейском континенте. Титаны готовились к смертельной схватке и подчиняли своим целям все, включая права нейтралов. Англичане довели захват моряков с американских судов до тысячи человек в год. Эту обиду еще можно было терпеть, пока процветала прибыльная нейтральная торговля. Но когда летом 1805 года Англия запретила Соединенным Штатам реэкспортную торговлю между колониями и Европой, составлявшую около половины объема всей торговли США, и арестовала десятки американских судов, все торговое побережье от Норфолка до Бостона всколыхнулось и потребовало ответных мер.

Вскоре конгресс уже обсуждал план бойкота английского импорта на случай провала переговоров, которые вел Монро в Лондоне относительно отмены ограничений. Однако договор, который смог заключить Монро, настолько напоминал бесславный «договор Джея», что Джефферсон даже не решился представить его конгрессу. В довершение ко всему в ноябре 1806 года император французов берлинским декретом объявил континентальную блокаду Англии и ее колоний. В ответ английский кабинет установил блокаду портов Франции и союзных с ней государств. Отныне вся американская торговля с Европой должна была идти через Англию. Соединенные Штаты опять оказались стиснутыми между двумя колоссами, но блокада со стороны Англии была гораздо более ошутимой. Отношения между двумя странами особенно обострились в результате инцидента с американским военным судном «Чезапик». После того, как его капитан отказался выдать трех английских дезертиров, «Чезапик» был неожиданно обстрелян фрегатом королевского флота «Леопардом». Этот скандал поставил США и Англию на грань войны, а новые переговоры заходили в тупик из-за надменного упрямства англичан.

Тяжелое положение, в котором оказались США, заставляло американское правительство искать поддержки России — единственной из великих держав, настроенной благожелательно по отношению к США. «Я убежден, — писал Джефферсон в июле 1807 года редактору филадельфийской «Авроры», — что из всех стран Россия наиболее дружественна нам... и больше других заслуживает расположения».

В свою очередь, для России, особенно после тильзитского мира 1807 года, лишившего ее прямого выхода на британский рынок, сближение с США представлялось удобным способом найти хотя бы частичную замену торговле с Англией и, что не менее важно, усилить позиции заокеанской республики как потенциального противника Англии. «Я стремлюсь иметь в США соперника Англии», — инструктировал Александр I своих дипломатов.

Почва для такого сближения была подготовлена всем ходом развития торговых и культурных связей между двумя странами, включая и установившийся с 1804 года личный контакт между Джефферсоном и Александром I, в котором президент-республиканец хотел видеть приверженца просвещения. Поэтому, когда американская сторона в августе 1807 года через своего посланника в Лондоне Дж. Монро заявила о своем стремлении установить дипломатические отношения с Россией, русское правительство не замедлило ответить принципиальным согласием. В июне 1808 года был подписан указ императора Александра об учреждении консульств в Филадельфии и Бостоне. Придавая большое значение развитию отношений с Россией, Джефферсон решил направить полномочным посланником в Санкт-Петербург своего давнего доверенного друга Уильяма Шорта. Начинался новый этап русско-американских отношений, у истоков которого стоял третий президент США.

Но укрепление отношений с Россией не освобождало Джефферсона от тяжелого выбора в отношениях с Англией и Францией: война с одним из «тиранов», подчинение двойному диктату или прекращение торговли с ними по принципу: «чума на оба ваши дома». Президент выбрал эмбарго — полное прекращение всей внешней торговли. Оно могло помочь избежать войны и спасти национальную честь. Джефферсон давно уверовал во всемогущество мирного торгового давления, и эмбарго стало для него не просто печальной необходимостью, а великим экспериментом в поисках философского камня — «мирного заменителя войны». «Я придаю огромное значение полному развертыванию этого эксперимента для проверки того, насколько эффективным оружием может быть эмбарго как в этом случае, так и в будущем».

Расчет был двойной — «предохранять нашу собственность и моряков от захвата и морить голодом страны-обидчики», пока они не откажутся от своих притеснений. Схема, казалось бы беспроигрышная, на поверку оказалась насквозь идеалистической, ибо Джефферсон переоценивал не только значение американской торговли для Европы, но и покорность своего народа, его способность к жертвам во имя национальных целей. Просчет, естественный для истинного патриота-республиканца, был тем более понятен, что за семь лет правления президент успел твердо уверовать в непререкаемость своего авторитета и единодушие народа. Он не удосужился ни разъяснить народу необходимость этих жертв, ни привести мотивы своих действий конгрессу. Даже кабинет узнал о решении лишь за день до его объявления и не выказал большого энтузиазма. Практичный Галлатин сразу разглядел огромную трудность всего предприятия. «Со всех точек зрения — учиты-

гая лишения и человеческие страдания, государственные доходы, воздействие на противников, внутреннее политическое положение и т. п., — заявил он, — я предпочитаю войну постоянному эмбарго. Государственные запреты всегда приносят больше зла, чем предполагалось...» Тем не менее через несколько дней, 22 декабря 1807 г., без всякого обсуждения в конгрессе эмбарго стало законом.

Значение происшедшего стало вырисовываться очень скоро. Остановить стомиллионный ежегодный экспорт страны без серьезнейших последствий было невозможно. Тяжелее всего они сказались на торговых штатах Новой Англии, особенно Массачусетсе, на долю которого приходилась треть всей торговли и тоннажа страны. Для этих краев эмбарго стало всеобщим бедствием, но если торговцев оно лишало барышей, то у трудового люда — моряков, рыбаков, рабочих портов и верфей — отнимало последний кусок хлеба. «50—60 тысяч моряков и многие тысячи других людей, всецело зависящих от торговли, — гремел в сенате новоиспеченный народный защитник Т. Пикеринг, — не станут покорно голодать ради глупости нашего правительства, осуществляющего эксперимент, бесполезность которого очевидна всем, в ком есть здравый смысл». Если даже война за независимость не могла заставить американцев забыть о собственном кармане, то этого тем более нельзя было ожидать от такой малопонятной меры, как эмбарго. «Поскольку народ сбит с толку сложностью проблемы, королевскими указами, декретами, эмбарго и ему не хватает единой и ясной цели, которая смогла бы разбудить патриотизм, — рассуждал Галлатин в письме президенту, — в некоторых районах властвует эгоизм, и народ здесь целиком настроен против этого закона».

Нарушения начались с первых же дней. Часть судов сумела выйти из портов без разрешения властей. Многие торговцы прибегли к более безопасному приему: поскольку каботажное торговое плавание поначалу не ограничивалось, ничто не мешало находчивым капитанам «попасть в шторм», «заблудиться» и оказаться где-нибудь в Вест-Индии или Новой Скотии, а то и просто повстречаться в открытом море с английскими судами и спокойно переправить на них свой груз. Еще более уязвимым местом стала северная граница с Канадой, через которую хлынул поток запрещенной торговли.

Для успеха эмбарго необходимо было закрыть морскую и сухопутную границу — недостаток патриотизма приходилось восполнять принуждением. Особенно трудную проблему представляло каботажное плавание. Оно обеспечивало междугосударственную торговлю, и его запрет обрек бы десятки тысяч людей на голод. А как отделить контрабанду от внутренней торговли,

если и та и другая имели дело преимущественно с продовольствием?

В апреле 1808 года президент ввел жесткий надзор над каботажной торговлей. Контролировались погрузка и выгрузка, маршрут судов, которым разрешалось плавание. Заход в порты, примыкающие к границам, мог разрешить только сам президент. Таможенные чиновники имели право задерживать любое подозрительное судно до решения президента. Нарушителей ожидал штраф в размере стоимости судна и груза. Дополнительный заслон в море выставлял военно-морской флот.

Чтобы предотвратить нелегальный экспорт продовольствия, прежде всего муки, Джефферсон уполномочил губернаторов выдавать специальные лицензии-заказы на ее доставку. Но и это не помогло. Некоторые губернаторы, особенно Дж. Салливан из Массачусетса, раздавали заветные лицензии щедрой рукой, не желая портить отношения с торговцами. В ответ на требование президента прекратить раздачу Салливан сослался на опасность хлебных бунтов и волнений. Скоро Джефферсон с присущей ему обстоятельностью уже рассчитывал продовольственный паек для жителей Массачусетса. «Я не хочу лишать хлеба и еды ни одного гражданина штатов, — писал он в мае, — но считаю торговлю для прибыли пустым делом, если она угрожает цели эмбарго».

Коль скоро даже на побережье таможня и флот не могли полностью сдерживать напор нарушителей, на северной границе дело обстояло еще хуже. В апреле обстановка на озере Чэмплейн настолько обострилась, что Джефферсон в специальной прокламации объявил, что район находится в состоянии бунта, и использовал ополчение против контрабандистов. Мера оказалась явно непопулярной и малоэффективной. Население кляло «военный деспотизм» администрации, и даже республиканские суды отказывались предъявлять обвинения нарушителям.

Джефферсон поступил точно так же, как Вашингтон с «бунтом из-за виски» и Адамс с бунтом Фрайса, — но то были лишь единичные локальные очаги недовольства. Сейчас же волнения вспыхивали постоянно по всей линии северной границы. Беспорядки на Чэмплейн еще не были подавлены, когда участились стычки в Освего, на берегу озера Онтарио. На этот раз президент решил прибегнуть к использованию регулярных войск. Губернатор Нью-Йорка Д. Томпкинс попробовал было усомниться в серьезности обстановки, но был тут же одернут президентом, который категорически заявил: «Я считаю, что подавить эти наглые действия и дать нарушителям почувствовать последствия вооруженного сопротивления закону будет

настолько важным примером, что следует не шадить сил для достижения этой цели».

Знакомые, гамильтоновские слова. Они, правда, гораздо менее известны, чем те, сказанные о другом бунте — восстании Шейса: «Пусть берут в руки оружие. Противоядие — предоставить им все факты. Просвещайте и информируйте массы народа. Докажите им, что в их интересах сохранять мир и порядок, и они сохраняют его». Впервые в истории США в Освего без всякой прокламации, в нарушение закона против нарушителей были брошены регулярные части. Не полагаясь более на ополчение, Джефферсон добился от конгресса увеличения регулярной армии вдвое. Федералисты язвили, что шеститысяч солдат маловато для защиты от Англии, но вполне достаточно для войны с собственными гражданами.

К осени президент уже был готов использовать армию для умирения бунтовщиков без всяких формальностей. Он словно брал реванш за свое вирджинское губернаторство, являя собой саму решительность. Военному министру президент наказывал «быть наготове броситься туда, где возникает противодействие, чтобы подавить его в зародыше». Самоуверенность, доктринерская увлеченность идеей эмбарго усыпляли его обычную чувствительность к настроениям народа. Он не верит в серьезность оппозиции и призывает конгресс принять «любые меры для достижения этой цели». Прочь все конституционные тонкости! После ожесточенной перепалки в январе 1809 года конгресс принял закон, разрешающий президенту использовать регулярные части в целях соблюдения эмбарго по своему усмотрению — уникальный в американской истории случай расширения военных полномочий президента в мирное время! Тем более уникальный для убежденного противника сильного государства, каким слыл Джефферсон. Поистине «его боязнь власти», как признает Д. Мэлон, «убывала по мере пользования ею». Во избежание войны с Европой Джефферсон был готов пойти войной на собственный народ, решившись, по словам одного из американских историков, на, «видимо, самое массированное нарушение прав собственности в американской истории». И все это для того, «чтобы нынешний эксперимент прошел через такие полноценные испытания, дабы в будущем наши законодатели знали наверняка, насколько можно на него рассчитывать».

Англия и Франция и не думали становиться на колени; исходя из американского опыта «ограниченной войны», Джефферсон явно недооценил стойкость англичан в тотальном европейском конфликте. Зато Новая Англия оказалась на грани восстания. Первая годовщина эмбарго — 22 декабря 1808 г. — зловеще отмечалась там как день всеобщего траура: под погре-

бальный звон колоколов по улицам шли процессии матросов, рыбаков, портовых рабочих с крепом на рукавах и воинственными лозунгами в руках. Джон Квинси Адамс предупреждал, что продолжение эмбарго приведет к гражданской войне.

В выборах 1808 года федерализм восстал из пепла и победил в четырех штатах Новой Англии. Испуганные местные республиканцы дрогнули и тоже поспешили встать в оппозицию президенту. Партийная дисциплина рухнула, и в начале февраля конгресс отменил эмбарго так же стремительно, как и принял. Джефферсон даже не успел собраться с силами. «Я считал, что конгресс твердо решил продлить эмбарго.., — жаловался он Дюпону, — но на прошлой неделе произошла стремительная и необъяснимая революция во мнениях, в основном среди конгрессменов Новой Англии и Нью-Йорка, и они в панике проголосовали за отмену эмбарго с 4 марта».

Правление, начатое столь успешно, заканчивалось расколом партии, всеобщим недовольством и крахом смелых планов самого президента. Финал был безнадежно испорчен. Но, к счастью, в жизни еще оставались «семья, книги и ферма», поэтому глубокое разочарование смягчалось чувством долгожданного раскрепощения. «Никогда еще узник, освобожденный от цепей, не ощущал такого облегчения, как я, сбрасывая оковы власти», — писал Джефферсон Дюпону. На этот раз он говорил вполне искренне. Политик в последний раз уступал место плантатору и философу. Джефферсон навсегда возвратился в Монтчелло.

Вместо эпилога

ОТШЕЛЬНИК МОНТИЧЕМО

Позади 66 лет напряженной жизни, из которых без малого 40 отдано служению государству. Впереди — ее закат, оказавшийся продолжительностью в 17 лет, который надлежало встретить как подобает истинному философу и патрицию: в духе заветов Цицерона и Горация о мудрой, счастливой старости. Джефферсон отрешился от мира большой политики с ее суетой и распрями, тем более что целиком полагался на своего друга и преемника в Белом доме Джеймса Мэдисона. Тацит, Евклид и Ньютон, по словам экс-президента, с успехом заменили ему газеты, а окружение родных, друзей и соседей — светское общество столицы. Наконец-то можно было быть просто самим собой. «Я веду разговор со своими соседями о плугах и боронах, о севе и сборе урожая, а если они того захотят — то и о политике, причем безо всяких стеснений и околичностей, как и остальные мои сограждане, — писал Джефферсон своему старому приятелю Талеушу Костюшко. — Наслаждаюсь блаженством свободы говорить и поступать по своему хотению, не отвечая за это ни перед кем из смертных». Никогда больше он не покинет пределы своего родного штата, да и в его столицу выберется только раз за все эти годы.

Не имея охоты ворошить недавнее прошлое, он предоставил будущему и потомкам судить о своем времени и собственных заслугах, — может быть, еще и потому, что был уверен в их благосклонности. Многочисленные просьбы друзей засесть за мемуары неизменно встречали отказ: «На службе обществу у меня не было времени, а сейчас, в отставке, время мое уже прошло. Для того чтобы писать историю, требуется целая жизнь наблюдений, исследований, труда и переделок». Когда же нако-

нец в семьдесят семь лет он начал было писать автобиографию («для собственного пользования и сведения моей семьи»), занятие это ему быстро наскучило и после нескольких десятков страниц сухого перечисления фактов было оставлено навсегда: «Я уже устал говорить о своей собственной персоне».

Но хотя Джефферсон и ограничил сознательно свою жизнь домашним кругом, для его неутомимой природы и здесь находилось немало дел. «Ферма» — свыше 10 тысяч акров земли и около 200 рабов — требовала неусыпного личного надзора, особенно в те «тошние» для Вирджинии годы. Много хлопот старейшине рода Джефферсонов доставляла семья, особенно многочисленные внуки от любимой дочери Марты, для которых величавый патриарх американской государственности был любящим опекуном и отменным воспитателем. Во все концы Америки и многие страны мира тянулись из Монтичелло нити переписки, связывающие самого, пожалуй, знаменитого из живущих американцев с сотнями ученых, писателей, политиков, а то и просто безвестных людей, надумавших вступить в контакт с самим Томасом Джефферсоном. Дом его уже при жизни стал музеем и местом паломничества друзей, знакомых и незнакомых почитателей, которых неизменно поражали изысканность обстановки, французская кухня и обилие достопримечательностей, в том числе стоящие друг против друга мраморные бюсты хозяина дома и Александра Гамильтона — тонкой итальянской работы.

И, конечно же, как и всю свою жизнь, Джефферсон много читал, только вместо естественных наук, политики и современных авторов он все больше обращается к мыслителям античности, которых с юности читал в оригинале и в которых теперь черпал твердость духа и спокойствие перед лицом неизбежного, столь необходимые в старости. «Когда изъяны возраста ослабляют полезную энергию ума, — говорил он в 76 лет, — страницы классики заполняют вакуум и сладко примиряют с покоем могилы, в который все мы рано или поздно должны погрузиться».

Из всего этого и складывался обычный день Джефферсона, как он сам описал его в 1810 году в письме Костюшко: «Утро я посвящаю переписке. Между завтраком и обедом бываю в мастерских, саду или объезжаю поля верхом; время после обеда до темноты я отдаю развлечениям и обществу моих друзей и соседей, а затем при свечах читаю до самого сна». Вскоре к этому прибавилась и еще одна большая забота. Старость — время подведения итогов и уплаты последних долгов, в том числе и самому себе. Поэтому Джефферсон возвращается к своему заветному и не осуществленному еще

плану «всеобщего распространения знаний», сосредоточившись на его посильной высшей ступени — создании университета Вирджинии. Начиная с 1814 года и до конца жизни он отдает любимому детищу львиную долю своего времени и сил, успев довести его до заветного дня открытия.

Еще одним даром судьбы на склоне лет стало возобновление старинной дружбы с Джоном Адамсом, ставшей жертвой французской революции и межпартийной борьбы 90-х годов. Время залечивало старые раны и стирало давние обиды, сближая двух последних столпов американской революции, второго и третьего президентов республики. И хотя встретиться им было уже не суждено, четырнадцатилетняя переписка отшельников Монтичелло и Квинси с ее высоким интеллектуальным накалом, широтой затронутых тем и литературным блеском стала украшением не только их собственной жизни, но — со временем — и всей эпистолярной литературы США.

Этической формулой этого этапа жизни Джефферсон избрал своеобразную смесь разумного эпикурейства и стоицизма, которые он считал не противоположными, а «взаимодополняющими способами достижения достойной жизни». Эпикуровское «легкость тела и спокойствие ума» стало любимым девизом состарившегося Джефферсона, долго сохранявшего духовное и физическое здоровье. На вопрос Адамса о том, хотел ли бы он снова прожить свои семьдесят лет, Джефферсон без колебаний ответил положительно. «Мой темперамент — сангвинический. Я веду свой челн курсом надежды, оставляя за кормой страх. Правда, надежды мои подчас не сбываются, но не чаще, чем мрачные предчувствия меланхоликов».

И все-таки финал жизни великого вирджинца, особенно последние несколько лет, никак не укладывались в эту идиллическую картину безмятежно-величавого угасания. «Легкость тела и спокойствие ума» давались все труднее. Телесные недуги еще можно было снести, обладая стоицизмом и оптимизмом Джефферсона, всегда умевшего и в самом плохом находить что-то хорошее. Так, даже постепенное отмирание органов чувств («в прошлом году — зрения, нынче — слуха, в следующем — чего-нибудь еще») имело свою утешительную сторону: «Так уж устроено природой, что, лишая нас одного за другим способностей и друзей, она подготавливает нас к собственному уходу с меньшими сожалениями». Но вот справиться с рассудком было сложнее. Хотя Джефферсон и уверял друзей, что «больше знает о героях Трои, войнах Афин и Лакедемона, Помпее и Цезаре», чем о текущих событиях, полностью отгородиться от внешнего мира он не мог, а мир этот разви-

вался по-своему, далеко не оправдывая возлагавшихся на него надежд.

Не мог уже хотя бы в силу чисто экономических причин. Получая свой денежный доход почти исключительно от продажи сельскохозяйственной продукции (пенсий для бывших президентов еще не придумали), Джефферсон, как и другие плантаторы, целиком зависел от капризов рынка, в те годы весьма немилосердного к американскому Югу. Резкий спад внешней торговли в ходе большой европейской и англо-американской войн сбил цены на продовольствие. В результате в Монтчелло и по соседству отборную пшеницу приходилось скармливать лошадям, и Джефферсон сравнивал себя с Танталом, который, стоя по грудь в воде, мучился от жажды. Если прибавить к этому частые неурожаи, истощение почвы, низкую производительность рабского труда при полной неспособностью хозяина Монтчелло расстаться с привычным образом жизни на широкую ногу, то станет ясно, почему Джефферсон все глубже влезал в долги, ставшие настоящим проклятием его последних лет.

Жизнь превращалась в процесс постоянного поиска денег, порой весьма унижительного, когда доводилось сталкиваться с отказами в займах или брать все новые кабальные ссуды (в том числе и в ненавистном Банке Соединенных Штатов) для выплаты процентов по старым долгам. Пришлось продать часть рабов и даже самое ценное имущество — книги. В 1814 году Джефферсон предложил свою богатейшую библиотеку из 6,5 тысячи томов конгрессу США, чтобы восполнить утрату первого книжного фонда при Капитолии, сгоревшего во время набега английских войск на Вашингтон. Нехотя, по дешевке купленные прижимистыми законодателями собрание Джефферсона положило начало знаменитой впоследствии библиотеке конгресса. Однако вырученных таким образом средств хватило ненадолго, экономический кризис 1819—1820 годов привел хозяйство в окончательное расстройство, и осажденный кредиторами Джефферсон незадолго до кончины решился на отчаянный шаг в этом, по его словам, «вопросе жизни и смерти»: униженно, с перечислением всех своих заслуг, он просил у штата разрешения устроить лотерею по продаже большей части своей собственности (иначе она пошла бы с молотка за бесценок), с тем чтобы сохранить для дочери хотя бы дорогой сердцу Монтчелло. При том, что в финансовых трудностях Джефферсона была доля и его собственной вины, большей частью они были вызваны силами, ему неподвластными.

Упадок Монтчелло был частицей упадка Вирджинии, которая из самого богатого и населенного штата, каким она

была в начале революции, неумолимо превращалась в бедное захолустье, все дальше отходящее от столбовых дорог развития страны. Жизнь кипела на Западе, где шло бурное освоение новых земель фермерами-пионерами, и на Северо-Востоке с его растущими промышленностью и торговлей, наукой, культурой и образованием. Рабовладельческий Юг стоял на месте и замыкался в себе, постепенно утрачивая свое экономическое, политическое и интеллектуальное первенство. Лучшие сыны Вирджинии покидали родной штат ради университетов Новой Англии и Европы, а ее бедные фермеры уходили на Запад. Внучка Джефферсона — Эллиен, вышедшая замуж за отпрыска знатной фамилии из Бостона, с изумлением и восторгом писала деду об открывшемся ей там новом мире, который «по крайней мере на целое столетие опережает нас». Будущее Америки было там, а не в Вирджинии, все больше жившей воспоминаниями о своем славном прошлом.

Ощущал это и Джефферсон. В самой его идее университета было заложено стремление спасти любимый штат от жалкой участи превращения (по его собственному выражению) в «варвара Союза». Под влиянием развития американской промышленности и растущих издержек торговли с Европой он пересматривает свое бывшее убеждение в целесообразности сохранения строгого разделения труда — на промышленный и аграрный — между Старым и Новым Светом, приходя к мысли о необходимости «самим производить все, в чем мы нуждаемся, и свести к минимуму свои связи с Европой, находящейся в состоянии разложения». «Мы, — заключает Джефферсон в 1816 году, — должны теперь поставить промышленника рядом с аграрием». В достаточной степени реалист, чтобы понять неизбежность промышленного развития, Джефферсон, однако, оставался слишком убежденным сторонником аграрной республики, чтобы полностью принять его. Одно дело — мастерские в патриархально-сельском обрамлении Монтичелло («домашние мануфактуры — вот что действительно ценно»), совсем другое — дым и копоть больших промышленных городов с их нищим, буйным плебсом, торгашеской моралью и прочими атрибутами индустриальной цивилизации. «Рядом» — да, но не «над» и уж, разумеется, ни в коем случае не «вместо». Но будет ли это возможно на практике? Уже война с Англией 1812 года вслед за эмбарго дала новый толчок созданию собственной военно-промышленной базы. «Наш противник, — горестно комментировал Джефферсон, — подобно сатане, добившемуся изгнания наших прародителей из рая, может радоваться тому, что из страны мирной и аграрной превращает нас в военную и промышленную». Его Америка, изначально предназначенная свыше стать «садом радости и размноже-

ния для человечества», шаг за шагом утрачивала свою «невинность» и «неповторимость».

Война с Англией нанесла тяжелый удар и по экспансионистским планам Джефферсона. Он с воодушевлением встретил ее в начале, предсказывая легкий захват Канады, а затем и «окончательное изгнание Англии с американского континента», после которого можно будет вплотную заняться присвоением испанской Флориды. Ему уже виделось скорое воплощение давней своей мечты о создании «империи свободы», «великой американской системы» в противовес не только Англии, но и всему враждебному Старому Свету. В конце концов, «что такое вся эта европейская система по отношению к Америке, как не злодейская и оскорбительная тирания?» Поэтому он очень надеялся, как писал Адамсу, что война завершится «сведением счетов за прошлое, достижением безопасности на будущее и полным освобождением от англomanии, галломании и всех других маний развращенной Европы».

Вместо этого война обернулась для американцев новыми поражениями и унижениями, лишь отчасти искупленными победой генерала Эндрю Джэксона под Новым Орлеаном в 1814 году. Дальнейшее раздвижение границ США, к большому неудовольствию Джефферсона, пришлось на долгое время отложить.

Но самым критическим периодом стали для вирджинского затворника 1819—1820 годы. Экономический кризис, предворенный волной биржевых спекуляций, поставил его на грань банкротства, в чем он винил банковскую систему во главе с гамильтоновским детищем — Банком Соединенных Штатов. К старой идеологической неприязни теперь примешивались и личные счеты должника, находившего единственное утешение в том, что, похоже, сбывались его мрачные пророчества давних лет. «Мы сеяли ветер и теперь пожинаем бурю. Гамильтон... открыл дорогу этому потоку мошеннических институтов, который разнес разорение и пороки по всей стране».

Наследие Гамильтона ожило и в серии решений Верховного суда тех лет, окончательно закрепивших его верховенство в конституционных вопросах над legislатурами и судами штатов. Важнейшим из них, прозвучавшим на всю страну, стало решение по делу «Маккулох vs Мэриленд», в котором Дж. Маршалл, повторяя — местами почти дословно — гамильтоновское «Мнение о конституционности Банка Соединенных Штатов» 1791 года (он натолкнулся на этот трактат в архиве Дж. Вашингтона, работая над биографией первого президента), с блеском развил доктрину широкого толкования конституции и главенства федеральной власти. Джефферсону все это представлялось опасным продолжением узурпации власти

невыборными судами, с которыми он боролся, будучи президентом.

Однако если даже тогда, в зените власти, ему не удавалось добиться желаемого, то что же можно было поделать сейчас? Оставалось только отводить душу в частной переписке.

Но, пожалуй, самым большим политическим ударом для отшельника Монтичелло стали события, разыгравшиеся вокруг вопроса о предоставлении территории Миссури статуса штата.

Противники рабства в конгрессе из числа северян решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы запретить рабство на всей территории недавно приобретенной Луизианы. Законопроект о включении нового штата в союз на правах свободного от рабовладения вызвал яростную затяжную борьбу в конгрессе, где силы обеих сторон — Севера и Юга — были примерно равны. В конечном итоге в феврале 1821 года она завершилась компромиссом: Миссури был принят как рабовладельческий штат, Мэн — еще один претендент — как свободный (что сохраняло региональный баланс сил в конгрессе), а рабовладение запрещалось на всех территориях к северу от параллели 36°30'.

Вошедшее в историю под названием «миссурийского компромисса», это соглашение вызвало глубокую тревогу и возмущение Джефферсона и прозвучало, по его собственным словам, «набатом в ночи». Хотя во время конфедерации он сам был сторонником запрещения рабства на новых территориях, на сей раз, в иной исторической обстановке, эта проблема обернулась для него совсем другой стороной. В действиях северян, среди которых было много бывших федералистов (в конгрессе ими руководил старый гамильтоновец Р. Кинг), он усмотрел прежде всего циничное стремление последних к расширению своего влияния, а наложение межпартийного конфликта на межрегиональный грозило уже расколом самого союза. «Совпадение отчетливого морального и политического принципа с линией на карте, стоит ему лишь утвердиться, боюсь, никогда уже не сотрется в умах людей, — писал Джефферсон У. Шорту. — Оно будет вновь возникать при каждом удобном случае, подстегивая обоюдное раздражение, пока наконец не возбудит такую смертельную ненависть обеих сторон, что отделение станет предпочтительнее вечных раздоров».

В своем мрачном прогнозе Джефферсон оказался весьма близок к истине: через 40 лет вопрос о рабстве действительно расколол страну. Однако он оценивал ситуацию не только как патриот, но еще и как южанин, опасавшийся нарушения привычного для плантатора строя жизни. Если признать за конгрессом право запретить рабовладение в новых штатах, то

что помешает ему сделать то же самое и в остальных? А в таком случае, писал Джефферсон А. Галлатину, «все белые к югу от Потомака и Огайо должны будут эвакуироваться из своих штатов — и чем быстрее, тем лучше». «Можем ли мы вручить нашим рабам свободу вместе с кинжалами?» — вопрошал он в письме Дж. Адамсу. Единственным путем решения проблемы Джефферсон продолжал считать свой давний план депортации, хотя и понимал, что обозримое будущее не сулит никаких шансов для его воплощения в жизнь. Стране, видимо, суждено было и дальше нести бремя рабства, все более угрожающее ее единству, без особых надежд на избавление от него.

«Набат в ночи» в сочетании с другими бедами побудил Джефферсона к последней вспышке его политической активности. Но это возвращение в политику было возвращением к принципам прошлого — смеси ортодоксального республиканизма и вирджинского сепаратизма образца 1798 года, от которых он сам отошел в период своего президентства. Для Джефферсона, лишившегося умеряющего воздействия власти и столкнувшегося на склоне лет с новыми горькими разочарованиями, события последнего времени сложились в знакомую картину 90-х годов: ожила недобитая гидра федерализма, который, используя банки, судебную власть и проблему рабства, вел дело к централизации власти под своей собственной эгидой. Он был очень разочарован правлением последнего представителя вирджинской династии в Белом доме — Джеймса Монро, который одобрил «миссурийский компромисс», не сумел оторвать от Испании Техас, поощрял протекционизм и стирание межпартийных различий.

На этой основе Джефферсон сблизился со своими бывшими оппонентами — вирджинскими сепаратистами Дж. Рэндольфом, Дж. Тэйлором, У. Джайлзом и другими, благословляя их яростные нападки на Верховный суд и федеральное правительство. Его рвение в отстаивании прав штатов, по признанию даже такого почитателя, как Д. Мэлон, начинало «граничить с фанатизмом». В президентских выборах 1824 года он, к немалому удивлению Мэдисона и других умеренных коллег по партии, поддержал республиканца «старой школы» У. Крауфорда из Джорджии против представителя республиканцев-националистов Джона Квинси Адамса — сына своего старого друга. Президентом все же стал молодой Адамс, и его энергичная националистическая программа еще более углубила опасность Джефферсона относительно будущего страны.

Переписка Джефферсона последних лет окрашена пессимизмом и полна горьких упреков в адрес «поднимающегося поколения, на которое я когда-то возлагал большие надежды». «К сожалению, — писал он, — мне, видимо, суждено умереть с

убеждением в том, что жертвы, принесенные поколением 1776 года во имя самоуправления и счастья своей страны, окажутся напрасными по вине недостойных и неразумных устремлений его сыновей». Эти политические разочарования последних лет — не просто старческое брюзжание человека, чувствовавшего себя все более одиноким в новом изменяющемся мире, подобно «дереву с отвалившимися ветвями, вокруг которого — пустота вместо когда-то окружавших его зеленых соседей». Это и расплата за розовый оптимизм, твердую веру в непрерывный прогресс, всепобеждающую силу разума и просвещения. Джефферсон пережил свое время, он прожил достаточно долго, чтобы увидеть собственными глазами, как отклоняется Америка от созданного им идеала. Да только ли Америка?

В Европе в эти годы великая пора революционных потрясений сменилась застоєм монархической реставрации. Джефферсон прекрасно понимал, что утверждение «Священного союза», окрещенного им «союзом тиранов», означало торжество реакции на долгие годы. Это подтвердила участь борцов за свободу Греции, а затем и Испании. Стрелки часов мировой истории, казалось ему, повернули вспять, и не могло быть большего удара для просветителя, свято верившего, что время всегда на стороне свободы и разума. «Скажите откровенно, мой друг, — не без злорадства допытывался у него Джон Адамс, давно предрекавший мрачный финал французской революции, — где они сейчас... — это совершенство природы человека или хотя бы ее способность к совершенствованию? Где прогресс человеческого разума? Где улучшение общества?» Джефферсон признавал, что пока пессимист Адамс оказывался лучшим пророком, и даже готов был пересмотреть главную из своих просветительских заповедей — «моральное усовершенствование закономерно идет рука об руку с прогрессом науки». И все же полностью расстаться с убеждениями всей своей жизни он не мог: просто воплощение заветного идеала отодвигалось для него все дальше в будущее. «Прольются еще реки крови и минуют годы отчаяния... Но мир справится со смятением от первой катастрофы». И пусть Америка осталась одинокой республикой в мире монархий — это в глазах Джефферсона только подчеркивало особую ответственность его страны как «единственной хранительницы священного огня свободы», призванной спасти мир уже одной силой своего примера.

В этих упованиях просветителя-патриота мессианские претензии неразрывно слились с искренними, хотя и слабеющими, надеждами на сохранение Америкой верности идеалам 1776 года, а значит, и на увековечение своего собственного имени в истории и памяти потомков. «Не верю, что наши

труды были напрасны, — писал он в 1821 году Адамсу. — Я не умру без надежды на то, что дело света и свободы уверенно подвигается вперед... Пламя, зажженное 4 июля 1776 года, охватило уже слишком большую часть планеты, чтобы слабеющее дыхание деспотизма смогло погасить его».

...По удивительному совпадению, в котором современники недаром увидели волю провидения, сердце его остановилось ровно через 50 лет после того памятного дня. «Сегодня четвертое?» — были последние слова великого вирджинца, мечтавшего дожить до этой славной годовщины. Джон Адамс пережил своего друга всего на несколько часов, успев перед смертью промолвить только одно: «Томас Джефферсон еще живет». И в этом была своя правда, ибо жизнь его продолжалась — но уже как миф и легенда.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Глава I

- Аптекер Г.** Американская революция, 1763—1783. М., 1962.
- Болховитинов Н. Н.** Россия и война США за независимость 1775—1783. М., 1976.
- Война за независимость и образование США. (Под ред. Севостьянова Г. Н.). М., 1976.
- Согрип В. В.** Идеиные течения в американской революции XVIII в. М., 1980.
- Якобс Н. Н.** Вашингтон. М., 1976.
- The Correspondence of American Revolution. J. Sparks (ed.), vols. 1-4. N.Y., 1970.
- The Correspondence and Public Letters of John Jay. H. Johnston (ed.), vols. 1-4, N.Y., 1971.
- Diary and Autobiography of John Adams. L. Butterfield (ed.), vols. 1-3. Cambr., 1961.
- The Diary of the American Revolution, 1775-1781. Compiled by F. Moore. N.Y., 1967.
- The Federalist. B. Wright (ed.). Cambr., 1961.
- The Law Practice of Alexander Hamilton. J. Grebel, Jr. (ed.), vols. 1-2. N.Y., 1964.
- Letters of Members of the Continental Congress. E. Burnett (ed.), vols. 1-8. Wash., 1921-1936.
- The Papers of Alexander Hamilton. H. Syrett (ed.), vols. 1-26. N.Y., 1961-1979.
- The Records of the Federal Convention of 1787. M. Farrand (ed.), vols. 1-2. New Haven, 1966.
- Sources and Documents Illustrating the American Revolution, 1764-1788. S. Morrison (ed.). N. Y., 1965.
- The Spirit of Seventy-Six. H. Commager, R. Morris (eds.). N. Y., 1967.
- The Works of Fisher Ames, vols. 1-2. N.Y., 1969.
- The Writings of George Washington. J. Fitzpatrick (ed.), vols. 1-39. Wash., 1931-1944.

*

- Adair D.** Faine and the Founding Fathers. N. Y., 1974.
- American Revolution: The Critical Issues. R. Berkhofer, Jr. (ed.). Boston, 1971.
- The Antifederalists. C. Kenyon (ed.). N.Y., 1966.
- Beard Ch.** Economic Interpretation of the Constitution of the United States, N.Y., 1960.
- Becker C.** The History of Political Parties in the Province of New York, 1760-1776. Madison, 1960.
- Carson C.** The Rebirth of Liberty, 1760-1800. N.Y., 1973.
- Currey C.** Code Number 72. Ben Franklin: Patriot or Spy? Englewood Cliffs, 1972.
- Diplomacy and Revolution. The Franco-American Alliance of 1778. R. Hoffman, R. Albert (eds.) Charlottesville, 1981.

- Dunbar L.** The Study of "Monarchical" Tendencies in the United States from 1776 to 1781. N.Y., 1970.
- The Era of American Revolution. R. Morris (ed.). N.Y., 1965.
- Ferguson J.** The Power of the Purse. A History of American Public Finance, 1776-1790. Chapel-Hill, 1961.
- Flexner J.** George Washington in the American Revolution (1775-1783). Boston, 1968.
- Flexner J.** The Young Hamilton. A Biography. Boston, 1978.
- Alexander Hamilton. A Profile. J. Cooke (ed.). N.Y., 1967.
- Higginbotham D.** The War of American Independence. N.Y., 1971.
- Hockett H.** The Constitutional History of the United States. 1776-1826. N.Y., 1939.
- Jensen M.** The New Nation. A History of the United States during the Confederation, 1781-1789. N.Y., 1959.
- Labaree L.** Conservatism in Early American History. N.Y., 1962.
- Main J.** The Antifederalists: Critics of the Constitution, 1781-1788. Chapel-Hill, 1961.
- Martin J., Lender M.** The Respectable Army: The Military Origins of the Republic. Arlington, 1982.
- McDonald F.** The Formation of American Republic, 1776-1790. Baltimore, 1965.
- Miller J.** Alexander Hamilton. Portrait in Paradox. N.Y., 1959.
- Mintz M.** Gouverneur Morris and the American Revolution. Norman, 1970.
- Mitchell B.** Alexander Hamilton, vols. 1-2. N.Y., 1957-1964.
- Morris R.** Seven Who Shaped Our Destiny. N.Y., 1973.
- National Unity on Trial, 1781-1816. J. Ferguson (ed.). N.Y., 1970.
- Nettels G.** The Emergence of a National Economy, 1775-1818. N.Y., 1962.
- The Revolution in America, 1754-1788. J. Pole (ed.). L., 1970.
- Rossiter C.** Alexander Hamilton and the Constitution. N.Y., 1964.
- Schlesinger A.** The Colonial Merchants and the American Revolution. N.Y., 1957.
- Smelser M.** The Winning of Independence. Chi., 1972.
- Stinchcombe W.** The American Revolution and the French Alliance. Syracuse, 1969.
- Wills G.** Explaining America: The Federalist. N.Y., 1981.
- Wood G.** The Creation of the American Republic, 1776-1787. Chapel-Hill, 1969.

Глава II

- Американские просветители (Избр. произведения), тт. 1-2. М., 1968-1969.
- Болховитинов Н. Н.** Становление русско-американских отношений, 1775-1815. М., 1966.
- Каленский В. Г.** Мэдисон. М., 1981.
- Севостьянов Г. Н., Уткин А. И.** Томас Джефферсон. М., 1976.
- Another Secret Diary of William Byrd of Westover, 1739-1741. M. Woodfin (ed.). Richmond, 1942.
- Autobiography of Thomas Jefferson. N.Y., 1959.
- Burke E.** Selected Speeches and Writings. P. Stanlis (ed.). Gloucester, 1968.
- The Family Letters of Thomas Jefferson. M. Belts, J. Bear, Jr. (eds.). Columbus, 1966.
- The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson. A. Koch, W. Peden (eds.). N.Y., 1944.
- The Papers of Thomas Jefferson. J. Boyd (ed.), vols. 1-19. Princeton, 1950-1974.

- The Writings of Thomas Jefferson. P. Ford (ed.), vols. 1-10. N.Y., 1892-1899.
 The Writings of Thomas Jefferson. A. Lipscomb, A. Bergh (eds.), vols. 1-20. Wash., 1903.

*

- Alden J.** The South in the Revolution, 1763-1789. Baton Rouge, 1957.
Becker C. The Declaration of Independence. N.Y., 1942.
Binder F. The Colour Problem in Early America. P., 1968.
Bridenbaugh C. Seat of Empire. Charlottesville, 1958.
Brodie F. Thomas Jefferson: An Intimate History. N.Y., 1974.
Brown R., Brown K. Virginia 1705-1766: Democracy or Aristocracy? Michigan, 1964.
Commager H. S. Jefferson, Nationalism and Enlightenment. N.Y., 1975.
Green J., e.a. Society, Freedom and Conscience. N.Y., 1976.
 Thomas Jefferson: A Profile. Petersen M. (ed.). N. Y., 1967.
Kaplan L. Jefferson and France. New Haven, 1967.
Kimball M. Jefferson: The Scene of Europe. N.Y., 1950.
Malone D. Thomas Jefferson and His Times, vols. 1-2. Boston, 1948-1951.
Martin E. Thomas Jefferson—Scientist. N.Y., 1961.
McColley R. Slavery and Jeffersonian Virginia. Urbana, 1973.
Miller J. The Wolf by Ears: Thomas Jefferson and Slavery. N. Y., 1977.
Petersen M. Thomas Jefferson and the New Nation. N.Y., 1970.
Sydnor C. Gentlemen Freeholders. Political Practices in Washington's Virginia. Chapel-Hill, 1952.
Tucker G. The Life of Thomas Jefferson, vols. 1-2. L., 1837.
Wills G. Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence. N.Y., 1978.

Глава III

- The Journal of William McClay. N.Y., 1965.
 Industrial and Commercial Correspondence of Alexander Hamilton. A. Cole (ed.). Chi., 1928.
 Leading Constitutional Decisions. R. Cushman (ed.). N.Y., 1966.
 The Reports of Alexander Hamilton. J. Cooke (ed.). N.Y., 1964.

*

- Ammen H.** The Genet Mission. N.Y., 1973.
Beard Ch. The Economic Origins of Jeffersonian Democracy. N.Y., 1927.
Bowers C. Jefferson and Hamilton. N.Y., 1925.
Bowmann A. The Struggle for Neutrality. N.Y., 1974.
Boyd J. Number 7: Alexander Hamilton's Secret Attempts to Control Foreign Policy. Princeton, 1964.
Chambers W. Political Parties in a New Nation. N.Y., 1963.
Charles J. The Origins of the American Party System. N.Y., 1961.
Combs J. The Jay Treaty. Berkeley, 1970.
Conde de A. Entangling Alliance. Durham, 1958.
Dorfman J., Tugwell R. Early American Policy. N.Y., 1960.
Hofstadter R. The Idea of a Party System. Berkeley, 1969.
Gilbert F. To the Farewell Address. Ideas of Early American Foreign Policy. Princeton, 1970.
Kaplan L. Colonies into Nation. American Diplomacy, 1763-1801. N.Y., 1972.
Koch A. Jefferson and Madison. N.Y., 1950.

- Link E.** *The Democratic-Republican Societies, 1790-1800.* N.Y., 1965.
The Makers of American Diplomacy. Merli F., Wilson T. (eds.). N.Y., 1974.
The Makers of Modern Strategy. E. Earle (ed.). Princeton, 1944.
Miller J. *The Federalist Era, 1789-1801.* N.Y., 1960.
Morgenthau H. *In Defense of the National Interest.* N.Y., 1951.
Stewart D. *The Opposition Press of the Federalist Period.* Albanv. 1969.

Глава IV

- Богарт Э.** *Экономическая история Соединенных Штатов.* М., 1927.
Рочестер А. *Американский капитализм. 1607—1800.* М., 1950.
Трофименко Г. А. *США: война, политика, идеология.* М., 1976.
Ширяев Б. А. *Политическая борьба в США: 1783—1801.* Л., 1981.
Bemis S. *Jay's Treaty.* N.Y., 1962.
Conde de A. *The Quasi-War. The Politics and Diplomacy of the Undeclared War with France, 1797-1801.* N.Y., 1966.
Cunningham N., Jr. *The Jeffersonian Republicans.* Chapel-Hill, 1957.
Dauer M. *The Adams Federalists.* Baltimore, 1969.
Goodman P. *The Democratic Republicans of Massachusetts.* Cambr., 1964.
Kurtz G. *The Presidency of John Adams.* Philadelphia, 1957.
Lycan G. *Alexander Hamilton and American Foreign Policy.* Norman, 1969.
Malone D. *Jefferson and His Times, vol. 3.* N.Y., 1962.
Risjord N. *The Old Republicans.* N.Y., 1965.
Smith J. *Freedom's Fetters. The Alien and Sedition Laws and American Civil Liberties.* N.Y., 1956.
Smith P. *John Adams, vols. 1-2.* N.Y., 1962.
Stinchcombe W. *The XYZ Affair.* Westport, 1981.
Varg P. *Foreign Policies of the Founding Fathers.* East Lansing, 1963.

Глава V

- Adams H.** *History of the United States during the Administrations of Jefferson and Madison, vols. 1-2.* N.Y., 1930.
Aronson S. *Status and Kinship in the Higher Civil Service.* Cambr., 1964.
Chidsey D. *Louisiana Purchase.* N.Y., 1972.
Dabney V. *The Jefferson Scandals: A Rebuttal.* N.Y., 1981.
Eitlis R. *The Jeffersonian Crisis: Courts and Politics in the Young Republic.* N.Y., 1971.
Fisher D. *The Revolution of American Conservatism.* N.Y., 1965.
Koch A. *The Philosophy of Thomas Jefferson.* Gloucester, 1957.
Levy L. *Jefferson and Civil Liberties: The Darker Side.* Cambr., 1963.
Logan J., Jr. *No Transfer: The American Security Principle.* New Haven, 1961.
Malone D. *Thomas Jefferson and His Times, vols. 4-5.* Boston, 1971-1974.
Parton J. *The Life and Times of Aaron Burr.* N.Y., 1958.
Sears L. *Jefferson and the Embargo.* N.Y., 1966.

Stuart R. *The Half-Way Pacifist. Thomas Jefferson's View on War.* Toronto, 1973.
Two Hundred Years of American Foreign Policy. W. Bundy (ed.). N.Y., 1977.
White I. *The Jeffersonians.* N.Y., 1951.

★

The Adams-Jefferson Letters. L. Capen (ed.), vols. 1-2. Chapel-Hill, 1959.
Malone D. *Thomas Jefferson and His Times*, vol. 6. Boston. 1981.

Печатнов В. О.

П23 Гамильтон и Джефферсон. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 336 с.

В книге освещается жизнь и деятельность известных политиков США, стоявших у истоков американского государства, — государственного секретаря, а затем президента Т. Джефферсона (1743—1826 гг.) и министра финансов А. Гамильтона (1757—1804 гг.). Показывается, как в противоборстве двух политических деятелей и возглавляемых ими партий (республиканцев и федералистов) складывались исходные установки американской буржуазии на международной арене — политика «баланса сил», «свободы рук», ставшие фундаментом всего последующего внешнеполитического курса Америки. Становление молодой буржуазной республики, ее государственных институтов и внешнеполитической традиции раскрывается в занимательной форме политической биографии этих деятелей. Работа написана на основе критического анализа широкого круга источников, включая полное американское академическое издание документального наследия Гамильтона и Джефферсона.

Для специалистов-международников, читателей, интересующихся историей США и формированием внешнеполитических традиций американского империализма.

П 0504030000—008 50—84
003(01)—84

ББК 63.3(0)52

Владимир Олегович Печатнов

ГАМИЛЬТОН И ДЖЕФФЕРСОН

Редактор

М. Ю. СИТНИНА

Оформление художников:

Е. П. СУМАТОХИНА и В. В. СУРКОВА

Технический редактор

И. Г. МАКАРОВА

Корректор

Л. А. СУРКОВА

OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

ИБ № 936

Сдано в набор 20.07.83. Подписано в печать 02.12.83.
А 12177. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарни-
тура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64 + вкл.
0,84 на офсетной бумаге. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд.
л. 22,33. Тираж 40 000 экз. Заказ № 522. Цена 1 р. 80 к.
Изд. № 56И/82.

Издательство «Международные отношения»
107053, Москва, Б-53, Садовая Спасская, 20.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговле.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

стр.	строка	напечатано	следует читать
36	15-я снизу	неблагородной	неблагодарной
48	21-я сверху	зетах	газетах
115	1-я снизу	родовольствия	продовольствия
116	12-я сверху	назначение	назначения

